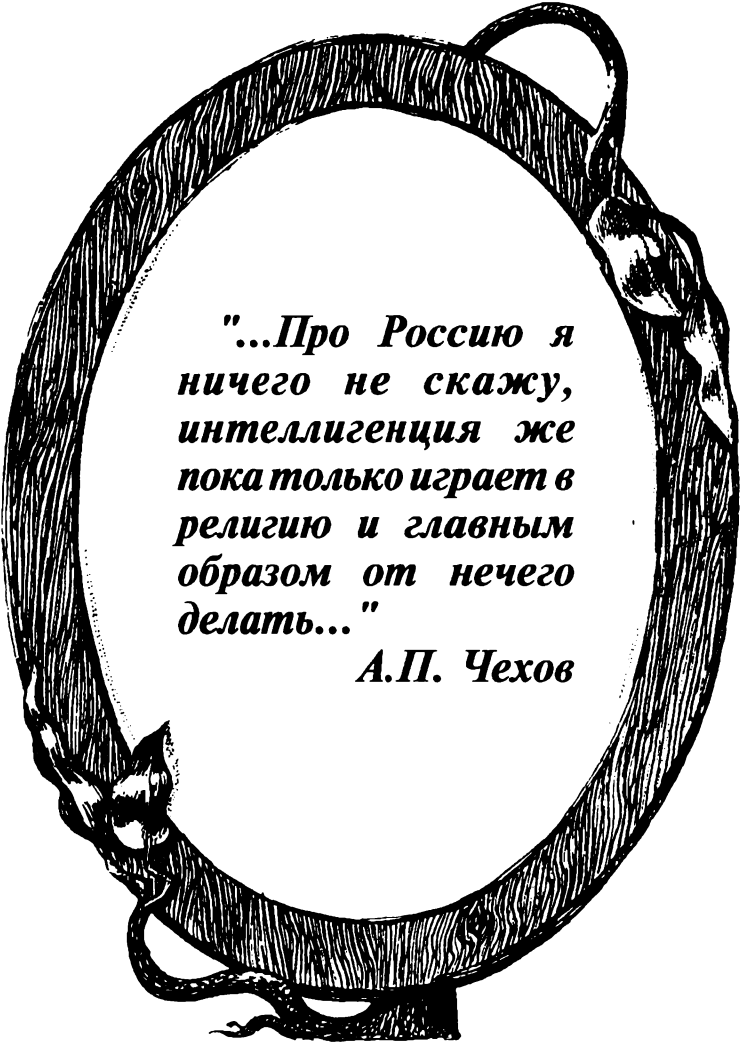


ДЯДЯ ВАНЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ДЯДЯ ВАНЯ



*"...Про Россию я
ничего не скажу,
интеллигенция же
пока только играет в
религию и главным
образом от нечего
делать..."*

А.П. Чехов

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧАРОВАННЫЕ СТРАННИКИ

Ю. Красавин. Хуторок 3

ГОРЕЧЬ БЫЛОГО

В. Кондратьев. Покушение 26

К. Уманский. Мертвая зона 98

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

А. Макаров. Римма из Ривердейла 125

ВОКРУГ ЧЕХОВА

И. Бразжников. Неоткрытый Чехов или осколки распавшегося мира. 176

А. Турков. Чеховский звук 179

М. Роговская. "Я навсегда москвич..." 184

Л. Хейфиц. Все враздробь 202

С. Ивашкин. Подробности из архива 206

Ю. Скобелев. Зарубежные и русские марки в собрании дома-музея А.П. Чехов в Ялте 211

А. Шевляков. А.П. Чехов на московской сцене 218

Чеховские конференции 222

Библиография диссертаций о творчестве А.П. Чехова 225

ЗАМЕТКИ О РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Г. Шурмак. Образ еврея в русской литературе 226

Р. Киреев. Нечаянная тайнопись "Особенной повести" 239

Из почты редакции 245

Название альманаха "Дядя Ваня"

© В. Шугаева

Главный редактор: В. Шугаев

Заместитель главного редактора: Н. Музруков

Над номером работали: Т. Музрукова, Н. Рукина

Обложка и шмуцтитулы: О. Арнаутов

Рукописи не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает.

Произведения публикуются в авторской редакции.

При перепечатке ссылка на альманах обязательна.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации.

ISSN0132-8204

Д 4702010200 - 001

583(03) - 94

© Чеховское общество 1994 г. - 1(6)



ЮРИЙ КРАСАВИН ХУТОРОК

Рассказ

Попасть в него можно только так: вот если пойти в лес, к примеру, за грибами, и подступят к тебе со всех сторон непроходимые болота... Тут главное - что такие болота есть. Евгению Вадимычу достаточно было глянуть на карту, висевшую над диваном: вон хотя бы за Волгой от Московского моря до реки Медведицы на десятки километров ни одной ниточки-дороги, ни одного кружочка-селения - только шпрых, будто рябь на воде да неверные очертания озер, безымянных и с именами: Светлое, Великое, Песчаное.

Ну, озера - это особая статья, потому что по ним можно ездить на лодке, а зимой они покрываются льдом, значит, любой берег достаем; нужны же вот именно болота, непроходимые и непроезжие в любую пору года - человек среди них живет, как на другой планете, которая недостижима. Вот эта недостижимость была главным условием и залогом того, что так, как вообразилось, может быть, и на самом деле, мечта вполне исполнима.

А это ли плохо - жить далеко ото всех! Не видеть людей, которые тебе надоели, примелькались. А надоели и примелькались, признаться, все без исключения, каждый в отдельности и общим своим присутствием за стенами ли квартиры, на улице ли, в соседних ли домах. Городок небольшой, даже незнакомые лица скучны, и хоть нет с ними тягостных отношений, но они создают тоскливый фон этой обыденной жизни.

А вот отправиться бы, скажем, по грибы, а там...

Так и плывет перед глазами: редколесье, водные заркала, затянутые ряской или покрытые стрелолистом; ряска местами вскипает клочками ядовито-зеленой пены; на кочках телорез с осокой да аир, да высокая колючая травка; а кочки шаткие, неверные: шагнешь на иную - и ухнешь в воду; топь заколыхается, запузырится, забурчит; жутковато станет от этого колыхания и бурчания, необъяснимый страх мгновенно объедет душу и тело. Уж тут не до грибов, а лишь бы выбраться на верную дорогу к дому. Но в какую это сторону - к дому?

Если день пасмурный, немудрено и заблудиться. Бывают такие глухие дни: ветер есть, но откуда, не поймешь; и облака то ли плывут, то ли остановились и закрыли солнце наглухо, будто войлочной пеленой. Так где юг, где север?.. Дальний шум города затих, только ветер шелестит в осоке да в трепетных осинках.

И вот по трясине этой бултыхаешь, бултыхаешь, поворачивая туда и сюда, - топь все глубже, глубже, все безнадежней; бредешь, а вода уже выше колен... уже по пояс!.. и нет конца-края гиблому болоту! Запах багульника лурманит голову, болотный газ поднимается из топких ям, и не от этих ли испарений да запахов уже кружится голова? Мертво все вокруг. Где-то в отдалении прокаркает ворона, а поблизости ни единой птахи, разве что сорока, пролетая высоко, засмеется над тобой, бедолагой: куда, мол, тебя черти завели!

В водных зеркалах среди листьев водокраса и рдеста отражаются скелеты деревьев: хилые сосенки да робкие осинки умирают тут в ранней молодости из-за скудных условий жизни. Все они стоят криво-косо, и на них тоже не обопрешься, и они не выручат в случае чего. А болотная вода тебе уже до подмышек - и вот уже по самое горло. Судорожно хватаешься заломкий валежник и корневища аира, за багульник и осоку, уже в панике, уже с отчаянным криком, готовым вырваться из горла! И вдруг ноги нащупывают спасительную твердь. О, радость! Дно полого поднимается, скоро становится даже и не топким, а песчаным, и вода чиста, без ряски и гниющего лесного мусора.

И вот тут выбравшегося из трясины Евгения Валдимыча встречала громким заразительным смехом молодая женщина с тяжелым узлом волос на затылке, туго перехваченная в талии фартуком, с полойником или тазом выстиранного белья. Она смеялась, изгибаясь полным станом и приговаривая:

- А я-то... Я-то испугалась: кто это... там пыхтит да фыркает? Не болотный ли делушко?

Он сокрушенно обирал с себя опутавшие его плети рдеста, отжимал полы куртки - вода стекала зеленая от мелкой ряски и мутно-коричневая от ила. И уж полный конфуз: лягушка выпрыгивала из кармана, шлепалась на землю. Тут женщиной овладевал новый приступ веселости, а Евгений Вадимыч только улыбался смущенно:

- Заблудился вот... чуть не утонул. Гиблые у вас места.

Хотя что же тут гиблого, если стоял он на живописном берегу: сосны поднимались по пологому склону, заводи тихие...

Она замечала, что ладонь у него порезана осокой до крови, и тотчас переставала смеяться, брала его руку, озабоченно осматривала, сразу перейдя на заботливый, сердечный лад:

- Ишь, угораздило его! Ну, пойдем ко мне, горе ты мое...

Да, именно так, ласково и сердечно: "Горе ты мое..."

Это была негородская женщина, с говором особенным, напевным, какой бывает только у тех, кто проживает в далекой глубинке и не испорчен телевизором да радио.

Ивовые кусты клонились с берега, тропка восходила меж папоротниками; а в папоротничках тех черничник с брусничником в россыпях ягод, ночные фиалочки-любки тут и там; а по подлеску спелые рябиновые грозди, еще не склеванные дроздами. Сам же лес подпирал небо высоченными стволами сосен; и воздух лесной, смолистый, бодрый, уже без багульникового дурмана, потому и голова ясна, и глаза зоркие, и на слуху даже слабый треск веточки под ногами.

Тут и день из пасмурного каким-то образом становился ведреным: солнечный свет прямыми потоками падал меж кронами сосен, высвечивая стволы и рябиновый подлесок; и небо голубело среди вершин и пухлых облаков, и видно было, как величаво плывут они, откуда и куда.

- А я нынче баню топила, - говорила эта ласковая женщина, мягко ступая впереди. - И кошка у меня с утра пораньше умывалась нынче уж так-то старательно! А ночью сон приснился: будто нашла в крапиве гнездо с куриными яйцами, да большое - десятка на два. К чему бы, думаю, этот сон. А верно говорят: яйца приснятся - это уж точно кто-то явится. Вещий был сон, надо же! Вот и не верь после этого приметам!

Шагая сзади, он отмечал, что походка у нее этакая... залюбуешься! Всякое движение - взмах ли руки, поворот ли головы, просто ли то, как она ставит ногу, - все соразмерно, в лад, как звуки музыки. Это не изломанная обувь на высоком каблуке да твердым тротуарным покрытием походка - женщина, что встретила его, ступала свободно, мягко, как-то очень легко. Столь свободно и красиво могут ходить только дикие звери... да молодые женщины.

Банька у нее старенькая, покосившаяся с одним окошком и обомшелой кровлей; мосточек возле баньки нависал над чистой и спокойной заволью, а на глади этой - чашечки кувшинок белых на

зеленых листьях-блюдах. Встанешь на мосточке - и НАД тобой, и ПОД тобой бездна с плывущими облаками!

Он лежал на полке, в сухом пару, когда открывалась дверь и входила эта женщина... нет-нет, не раздетая... А впрочем, иногда и обнаженная совсем. Вель это случилось не раз: как он тонул, потом выбредал на сухой берег, как встречал ее и оказывался в баньке, куда и входила хозяйка, не жеманясь, а попросту, как жена.

- Ну, как ты тут? А вот я венчиком тебя похлещу... Пару поддавай! Пар костей не ломит.

Плескала ковшиком воду на раскаленные камни - от удара горячего воздуха вздрагивала входная дверь - и венником его, венником березовым, зеленым, приговаривая:

- А уж худой-то худой, как сто лет некормленный! Это ж до чего мужика довели! И скотина-то в хороших руках добреет, а ты, знать, в плохие руки попал. Горе ты мое...

Тело разламывалось на части от горячего пара и от блаженства, а она опять плескала на камни, прибавляя жару. И уж совершенно изнемогшего дружески спихивала с полка. Евгений Вадимыч выбежал нагишом на мосточек, взмахнув руками, лихо кидался в бездну, всем телом разом ощущая студеность и целительную чистоту воды. Он чувствовал себя воскресшим, бодрым каждой жилочкой; плавал среди кувшинок, а эта женщина стояла возле баньки и опять смеялась:

- Ты у меня из болотного роду-племени. Вишь, лысына-то блестит! Истинно, как у водяного.

Сколь ласкало ему слух это "ты у меня"! Он чувствовал себя "попавшим в хорошие руки", и не было в этом для него ничего унижительного. Напротив! Он был избранным ею, ото всех отличенным, заслужившим любовь и ласку. Да, и любовь. А почему бы и нет!

Она и сама бесстыдно выходила на мосточек, закручивая мокрые волосы, - тут он видел ее всю, и сердце замирало, того и гляди остановится вовсе. Она так же сильно и отважно кидалась в студеную воду - видно, данные роднички бьют в той заводи - и оказывалась рядом с ним; он до страстного содрогания чувствовал ее близость, даже не касаясь. Если же касался, тело ее казалось ему обжигающе холодным и одновременно горячим... Как-то так. Колени, груди, локти, плечи... Это была его женщина, ему принадлежащая! Одному ему.

Выходили на бережок, заворачивались в махровые простыни - хорошо-то как! - и она вела его к себе домой, что-нибудь весело рассказывая. А он и не слушал, что она говорит, только улыбался в ответ, потому что глаза ее говорили в это время другое.

А дом ее - вот он, рядом, - избушка небольшая упятилась под сосны и ели и словно бы не построена, а выросла из земли, как вырастает естественным порядком гриб-боровик.

В домике том на столе ждали гостя кушанья, давно им забытые: топленик сметана в горшке, еще горячая, с пенкой румяной; щи с костью мозговой; потрошки бараньи жареные; крупеник, истомлен-

ный в масле коровьем; хлеб домашний, караваем, с хрустящей корочкой...

От сытного обеда ли, ужина ли, да после банного-то пару он и засыпал счастливо.

А проснувшись, Кузовков Евгений Вадимыч видел себя в своей небольшой квартирке, в комнатке с выцветшими обоями, (раньше-то дешевые обои не достать было, теперь вот лежат в магазине свободно и очень красивые, так цена какая!) А уж пора, пора обновить комнатку свежими обоями!

Итак, он просыпался в меньшей из двух комнат-каморок, где из мебели помещался диван, платяной шкаф да столик со швейной машинкой, а больше ничего. Ну, еще два стула. Оттого, что для второго дивана тут не было места, а заменить первый на кровать вовремя не спроворили (теперь и кровать не купишь, и она не по карману), жена Татьяна спала на надувном матрасе, прямо на полу: Кузовковы уже не молоды, чтоб тешиться всю ночь в объятиях друг друга. Жена привыкла и редко уступала свой матрац мужу. Ей казалось, что это временно, однако, сказано же, что временное и есть постоянное. Да ведь и на диване спать радости мало: с некоторых пор стала выпирать сквозь обивку сломанная металлическая пружина, и как раз в ребра спящему.

Проснешься поутру, откроешь глаза - и видишь прежде всего трещину вдоль стыка потолочных плит с высохшими дождевыми потеками. Трещину эту он, хозяин, не раз заделывал и пгукатуркой, и шпаклевкой, заклеивал марлечкой да подбеливал, но дом дышал, как живое существо, потому, смотря по погоде, трещина становилась то пошире, то поуже, и, как ее не заделывай, она появлялась вновь и вновь. Думается, что и от слабого землетрясения силой в один-два балла это панельное сооружение распадется, подобно карточному домику. Что поделаешь! Ладно, хоть не бывает тут землетрясений, потому и стоит дом, не разваливается, лишь подрагивает пугливо, когда мимо проезжает тяжелый грузовик или высоко в небе скоростной самолет пересечет звуковой барьер. Вот еще при сильном дожде досаждала вода; с верхнего балкона она стекала прямо в шов между бетонными наружными плитами, а потом на плиты перекрытий. Верхние соседи в этом не виноваты, они уж пытались что-то там законопатить - виной тому строители, спешившие когда-то сдать дом к очередному празднику и отрапортовать об очередной трудовой победе столичному начальству.

А в большой комнате, где сыновья, хватило места двум старым диванам, столу письменному (уж изрезан стол и испятнан чернилами до безобразия); телевизор там, залитый в новогоднюю ночь воском да так и неотчищенный; на телевизоре - аквариум без рыбок, только с водорослями; на полу - книги рваные, гантели, футбольный мяч с опавшими боками, постели, собранные комом и затиснутые в угол...

Чем взрослей становились сыновья, тем грубей, независимей, хамоватей - к порядку их призвать большого труда стоило. Теперь

одному пятнадцать, другому тринадцать, и уж порода явно сказывалась: не в смиренного отца оба, а в мать - у той в роду все бузотеры да горлопаны, все без царя в голове. Когда женился, как-то не приходили в голову проблемы возможной наследственности, а теперь вот стал докапываться до причин - как не вспомнить женину родню!

В Татьяне эти наследственные гены проявлялись, между прочим, в своеобразной "доброте": вот покупает она копченую колбасу - ну и загляни в кошелек, сообрази, надо ли еще что-то! Но она непременно хочет быть доброй, потому купит еще и сыру кило... Мало того, глядишь, на последние деньги еще и окорока. Все это она, придя домой, тотчас шмяк на стол - и нарезает толстыми ломтями: ешьте, мол, на здоровье.

- Слушай, ну ты хоть не сразу все, - урезонивал жену Евгений Вадимыч. - Не праздник, ведь, нынче.

- Ну да, буду я тут... трястись над этим, - в сердцах отвечала Татьяна.

- Чего хорошего - все за один присест съедим? А потом зубы на полку?

- Ну и черт с ним! Съедим, и спрашивать не будем.

- По одежке протягивай ножки, по одежке! - сердился он.

Тут и она поднимала голос:

- Ты под старость совсем сквалыгой становишься!

- Таня, капитал наш велит нам быть бережливыми, - тихо и виновато говорил он.

- Зарабатывать надо уметь, а не беречь, как Плюшкин.

Вот и весь разговор. Даже литературный примёр привлечен. Сыновья при этом осуждающе смотрели на отца, но ведь и к матери они особого уважения не испытывали! Оба родителя, по их мнению, лыком шиты. Она учительница, он инженер, а зарабатывают тот и другой меньше последнего дворника с начальным образованием.

Сыновья жили в соседнем, сопредельном пространстве, то есть по-своему. Совсем рядом, но поди-ка до них докричись. Вадику с Петькой, видимо, нравилось, что в их комнату можно заходить с улицы, не снимая обуви, и сразу ложиться на диван; иной раз, глядишь, сухие комья грязи тут и там - подмести или, уж тем более, помыть пол обитатели этой комнаты считали для себя делом зазорным.

- Мне легче самой убраться, чем их заставлять, - тоскливо говорила жена и добавляла, - а самой-то некогда.

И он знал, что легче; если прикрикнуть на сыновей, старший не отзовется - окрысится:

- Только и знаешь ругаться! Больше ты ничего не умеешь.

В этом был явный упрек: раз отец мало зарабатывает, значит, человек он неспособный, а потому и не должен рассчитывать на их повиновение.

Иногда сыновья приводили с собой компанию приятелей, некоторые были с отвратительно выбритыми головами и крашеными волосами, с

прическами в виде петушиных гребней; компания приносила с собой магнитофоны, открывала окно на улицу и врубала музыку. Именно врубала, другого слова не подберешь. От музыки этой щель в потолке становилась явно пошире, стекла дребезжали, мелкие вещи падали со стола... Как было выдержать это долго? Кажется, продлился испытание еще полчаса, и с ума можно свихнуться.

- Ну, что у вас тут? - раздраженно говорил Евгений Вадимыч, входя в сыновнюю комнату; а говорить приходилось в повышенном тоне, иначе его не услышали бы. - Притон устроили? Малину?

Уж какое недовольство отражалось на их лицах в ответ на его слова! Словно он творил сущую несправедливость из-за неспособности постигнуть красоту этой музыки. Но сколь противно было видеть хотя бы то, как видели они, разложив и развесив части своих бранных тел по подлокотникам диванов, по спинкам стульев, по полу и на столе.

- Жалко тебе? - окрызлся Вадик. - Кому мы мешаем?

Соседей пожалейте! Вы не одни в этом доме.

- Мы музыку слушаем. Пусть и они кайф ловят.

- Это не музыка, а крест для распятия! Это дыба! Это приспособление для пытки!

Компания с нарочитой ленью поднималась. Последним уходил Петя и тоже огрызлся на ходу:

- Куда мы пойдем? По подъездам шататься?

Не было сил отвечать, доказывать, воспитывать...

После их ухода в квартире надолго оставался запах курева, которого Евгений Вадимыч тоже не переносил; окурки валялись в туалете, в цветочных горшках, на балконе. Оставались и припрятанные бутылки из-под пива, и воздух, возмущенный рок-музыкой, басистыми неокрепшими голосами, хамским смехом.

Что за проклятая жизнь!

Тоска была в душе, когда шел домой. Хотелось приткнуться где-нибудь, пересидеть до следующего рабочего дня. Потому, как лекарство от недуга, были грезы о домике том, что кпятились в сухой лесной сумрак... Герань стояла на окнах, солнечные пятна лежали на чистых половичках, белый рушник с красными петухами висел над зеркалом, кружевная накидка на подушках; пахло там цветущей геранью, теплой печью, липовым медком, сдобным тестом... Хозяйка ступала по чистому половичку босыми ногами мягко и неслышно, приносила в решете пироги с пылу, с жару.

- Что-то нынче не задались, - говорила она озабоченно. - Боюсь, перестояло мое тесто. Да и подгорели, кажется: вишь, жарко печь натопила.

Ничего не подгорели: просто хорошо зарумянились те пироги, каждый цветом - ее щекам подстать. Ах, какие пироги! С яйцом, с лучком, с гречневой кашей, с яблоками или лесной ягодой.

- Нет, нынче с грибочками, - говорила стряпуха, разламывая один из пирогов. - Прямо за огородом, на канавке, два белых нашла. А в

осинничке возле бани, гляжу, стоят подберезовички - веришь ли? - один к одному, восемь штук. Этакие черноголовенькие, на толстых ножках. Я их поджарила, с лучком да и в начинку. Ну-ка, гость дорогой, выручай хозяйку, ешь на здоровье.

Гость "выручал", а беседа шла своим чередом.

- Что же, грибов нынче много? - спрашивал он с полным ртом.

- Сначала-то коровочки пошли - это, как ржи заколоситься, - отвечала она. - Ну, этот случай уж к Иванову дню и пропал, разве что моховики остались да маслята, а то и коровик попадетя - я их не беру.

- Постой, чтс это за коровочки да коровики?

- А белые же! Мы их так зовем. Которы молоденьки - те коровки, а если шляпка сразу позеленела, ну, это дед-коровик.

- Впервые слышу, - вел свою игру Евгений Вадимыч.

- Уж потом, в августе, после Спаса яблочного коровок да коровиков бывает ужасть сколько. Ну, и подосиновиков тоже, подберезовичков - это за протокой, в березнячках. Там же грузди, рыжики, волнушки...

- Грузди белые или черные? - уточнял Евгений Вадимыч, замирая сердцем.

- А толстые такие, самые настоящие. Я их прямо в кадке солю, не отваривая, и в погреб спускаю. А в маленькую кадущку - рыжики. У меня еще прошлогодних в тоей и в другой кадках осталось, ужотко достану...

- М-да... Красиво жить не запретишь, - качал головой Евгений Вадимыч и принимался за следующий пирожок.

- Рыжиков бывает тьма-тьмуца, - продолжала хозяйка. - Иной раз приду в Белоусово - лошinka такая за бором сосновым - их там столько, что большущую корзину наберу, а они все стаями, стаями... Я с жадности-то даже разревуся: жалко оставлять, а и себе уж довольно.

Признавшись в этом, она засмеялась, потом добавила:

- А с белыми замучаюсь сушить!

Он слушал ее, как слушают волшебную сказку. В этой сказке было так много отрады, что на душе и легчало, и светлело.

Они сидели рядом; он чувствовал плечом ее плечо и, чуть повернув голову, видел ее блестящие глаза, голую полную руку в коротком рукавчике, завиток волос на виске.

Хозяйка хуторка обращалась к нему попросту "Вадимыч", и это тоже нравилось ему. Такое могла позволить себе, если не жена, то очень близкая женщина, та, которая имела доступ к его сердцу, и с которой было вот это полное сердечное согласие.

- У вас там, в городе, еда, небось, получше моей, - ревниво говорила она. - Я тут живу попросту, по-деревенски, как умею... пряники ем неписанные. А вы там причиндали всякие любите, пирожные, мороженое. Так, да?

Дома у Кузовковых пироги не пеклись: Татьяна не любила с'ряпать. Если что-то и затсвала, то отнюдь не по доброму желанию,

а понуждаемая сыновними или мужниными упреками. И если уж принималась, то непременно с ворчанием, с сердитым стуком, бряком и звяканьем.

В последнее время Евгению Вадимычу понравилось заходить в маленький частный магазинчик, что открылся недавно возле магазина большого, государственного; там, помимо всего прочего, можно было взять стакан кофе с коржиком к нему. А подавала, между прочим, женщина по имени Людмила - это была одна из тех вальяжного вида женщин, которых называют слобными: крупная, белотелая, полнокровная, ей всегда было жарко, в любую погоду. У нее красивые руки с ямочками на локтях, и на щеках тоже ямочки, лицо это такое приветливое и всегда спокойное. Нет, она не годилась на то, чтоб поселиться в хutorке среди болот, но... какие у нее плечи!

Евгений Вадимыч заходил сюда в обеденный перерыв и всегда огорчался, если вместо Людмилы работала другая, пожилая уже; эта тетка была проворней, но при ней почему-то неуютно становилось в магазинчике.

А Людмила двигалась замедленно, шелкала на счетах, шевеля губами, будто говоря: "Ох, считать-то мне - нож острый!" При ней он непременно брал кофе с пирожком и, отдыхая за единственным столиком, посматривал на эту женщину с грустью, как на витрину валютного магазина: не ахти что, а все-таки недоступно.

Каждый раз с обидой неизвестно на кого ему думалось: вот ведь замужем, конечно, эта Людмила... А муж кто? Небось, какой-нибудь замызганный мужичок, который запивает по выходным дням и тискает эти белые плечи, белую грудь нечистыми лапами. А пахнет от него скверным куревом или чем-нибудь похуже.

"Нет, - снова и снова говорит он себе, - эта женщина негодна для хutorка - грузновата слишком... от хороших харчей да хорошего аппетита. В ней нет живости, огня, воодушевления! Она живет, чтобы есть, а надо наоборот: есть, чтобы жить. Жить! Вольно, свободно, не подчиняясь чьим-то прихотям, приказам, не оглядываясь на кого-то, кто над тобой начальствует, - вот что такое жить по-настоящему. А не затем, чтоб служить собственному желудку".

Но это было несправедливо - думать о Людмиле так: ведь, было же в ней что-то, навевавшее успокоение, утишавшее досаду и раздражение. Уж наверняка мужу спокойно живется возле такой доброй крупной женщины.

"Как за каменной стеной", - усмехаясь, думал он, следуя за нею глазами.

Конечно, она и в любовных утехах ленива да неповоротлива; уж сама не поцелует, не обнимет... но мужу покорна, податлива, пусть даже от той же лени.

Как бы там ни было, в этом магазинчике Евгений Вадимыч чувствовал себя корабликом, зашедшим в уютную гавань после долгого плавания по бурному морю. И жаль, что неловко было стоять тут со стаканом кофе долго, и тем более неловко затевать

пошлое ухаживание: как-никак летами он за сорок, и уж лысина ото лба до затылка, и морщины на лбу, резкие складки у рта, да и вообще неказист - что за ухажер! Но вина ли это, что не потерял он интерес к молодым делам?

Жена Татьяна с годами утратила женскую округлость и обрела угловатость и в фигуре, и в повадке; ей стало свойственно постоянное беспокойство, она стала нервной, по всякому поводу, даже мелкому, готова поднять крик. Особенно же ее раздражали дела кухонные; тут она давала себе волю, и тут уж лучше к ней не подходить.

И Татьяну можно понять: кухня тесная, газовая плита работает кое-как - может, заржавела, а может, просто неспособна к этому со дня своего появления на свет. Слесари-газовщики, навещавшие ее, говорили обычно: "Хотите пироги испечь - ставьте другую, эта не годится". Но сначала ему не до того было, а теперь вот, где взять другую плиту? В комиссионном магазине продается, да цена ей - если не есть и не пить, этак, полгода или месяцев восемь, тогда только накопится нужная сумма.

В последнее время то, что творилось с ценами, способно довести до сумасшествия или до самоубийства. Не только они, Кузовковы, в отчаянии - весь городок придавлен и угнетен, будто каждый из жителей несет на плечах невидимую тяжесть, как мешок с песком или цементом. И не сбросишь с себя эту ношу, даже когда спишь.

Месяц назад в соседнем доме девушка повесилась: не могла купить сапоги, в старых ходить стыдно. Ну, что-то еще ее толкнуло. Записку, однако, оставила такую: родители, мол, обеднели вконец, а сама заработать не может, потому не хочет жить. В записке той она прокляла жизнь, в которой все усилия идут на то лишь, чтоб наполнить собственный желудок. У нее там было сказано резче, так что даже и не повторишь без внутреннего содрогания.

Признаться, случай этот так поразил Евгения Вадимыча с женой, что они теперь уж не решались делать выговоры сыновьям за беспорядок в их комнате, за поздние возвращения домой, за школьные "подвиги" в виде двоек, прогуливания уроков и прочего. Пусть творят, что хотят, лишь бы живы были. Вот только с музыкой бум-бум-бум и блям-блям-блям, с истошными воплями их любимых рок-певцов Евгений Вадимыч примириться не мог. Легче было повеситься, чем терпеть это. А упреки, что ж, вынести можно.

- Зачем вы нас на свет родили, если не можете одеть-обуть? - заявлял старший уже не раз.

Он спрашивал не интересу ради - нет! Упрекал. И в таком тоне, что Татьяна справедливо называла его словом "буркнуть": не сказал, а буркнул.

- Откуда мы знали, что так будет! - пыталась она защищаться.

- Надо было знать, - огрызнулся сын. - Вы при социализме жили, то есть при плановом хозяйстве. Что же так плохо планировали?

- Мы вас не просили нас родить, - буркал и младший, подражая старшему.

Евгений Вадимыч в разговор обычно не вступал, сдерживался, только потирал ладонью то место в груди, куда больно стучало сердце.

А в городе новая мода пошла у молодежи: по вечерам бить витрины магазинов. Что-то в них просыпалось, в этих молодых вандалах: протест? отчаяние? озлобление? Просто швыряли канем в стекло, которое побольше, и убежали. У каждой витрины милиционера не поставишь, а сами жители из квартир не высовывались: страшно. По некоторым замечаниям той компании, которая приходила к Вадику и Петьке, можно было догадаться, что ребята каким-то образом к этому делу причастны. Если не били стекол, то уж видели и знали, кто разбойничал. Расколошматили все газетные киоски, вдребезги разнесли витрины книжного и спортивного магазинов и даже широкие окна зала бракосочетания. Местные частники свои торговые будочки стали одевать железными листами, как в броню, а спортивный магазин уже закладывал свои витрины кирпичной кладкой. Впрочем, это раньше был он спортивным, а теперь в нем и банки с рыбными консервами, и перьевые подушки, и сковородки с кастрюлями. То же и в книжном.

- Вадя, если узнаю, что ты хулиганишь, - пощады от меня не жди, - пригрозил Евгений Вадимыч не очень уверенно.

- Сначала застучай на месте преступления, а потом говори про пощаду, - заявил тот в ответ. - Сходи к юристу, узнай свои права.

Сказано было таким тоном, что пришлось прикладывать ладонь к груди и поглаживать, утишая сердечную боль.

- Ты как с отцом разговариваешь? - заступилась Татьяна, заметив, что мужл взял за сердце.

- А как? Нормально, - огрызнулся сын хамским голосом.

В таких случаях Евгений Вадимыч запирался в ванне, открывал кран, чтоб ничего не слышать. Он сознавал себя слабохарактерным, безвольным, и потому тоска была в душе.

"Зачем я их родил? - думал он о сыновьях. - Что за странная прихоть у людей: производить на свет себе подобных? Насколько лучше было бы без них!"

С некоторых пор ему казалось, что он потерял сам себя. Словно лучшая его половина отделилась и исчезла, и оттого теперь нет у него ни решимости, ни воли.

А ведь когда-то был орел! Ну, если не орел, то уж во всяком случае не мокрая курица. В институте учился - кто лучший танцор, ухажор, гитарист, волейболист? Случись драка - и в драке был неплох. А поехать куда-нибудь и уговаривать не надо: со студенческим отрядом где только не побывал: и на туркменском хлопке, и на рязанской картошке, и на астраханских арбузах. На байдарках ходили по Каме и Витиму, и по Катуню; в пещеры лазили... Во всяком предприятии он был самый заводной, самый предприимчивый. Каждое такое путеше-

ствии, каждое событие поднимало его в собственных глазах, потому и был он - орел! Теперь же духом упал и дерзость утратил; даже стал как бы ниже ростом, голосом тоньше, глаза обрели собачью грусть; от завтрашнего дня уж не ждет ничего отрадного.

Укладываясь спать, он слышал, что жена ворочалась на своем надувном матрасе, шмыгала носом. К концу-то дня она выматывалась на работе так, что сил не хватало на ссоры, только на слезы. Пожалуй, лишь в слезах проявлялась ее женская сущность, а больше-то ни в чем.

- Не плачь, - сказал он, жалея ее.

- Обидно, - отозвалась она. - Маешься-маешься... все ради них, а они...

- Ты не думай об этом.

- Как же не думать! Что я завтра на стол поставлю? Мясо нынче две тыщи за кило, колбаса - три да четыре тыщи, масло сливочное - две тыщи. Наши зарплаты сложить да купить этих продуктов - за неделю все съестся. А дальше что? Вот и варю пшеничную кашу да картошку, картошку да пшеничную кашу. А они попрекают - каково слушать!

По образованию учительница, она работала в детском садике; там у нее полторы ставки, значит, каждый день полторы смены отработать надо. Приходила домой охрипшая, усталая - целый день на ногах!

Да ведь и он тоже поздно приходил, и у него работа - не сахар. И лихорадило то, что на его заводе третий месяц не выдавали зарплату, к тому же всех будоражили слухи: вот-вот сокращение грядет.

- Не думай об этом, - повторил он, вздыхая.

- Я удишляюсь на тебя, Женя: ты какой-то спокойный.

- А кабы мне за беспокойство деньги платили, я б только и делал, что беспокоился.

- Не платят, ты и спишь крепко?

- У меня снотворное, - сказал он и признался, ее жалея, словно поделился последним. - Я вот лягу и представлю себе... будто пошел в лес за грибами да и заблудился. Обступили меня болота со всех сторон!.. И уж тонуть начал - никак не выберусь! - но выбрел на сухое. А тут женщина стоит и смеется, глядя на меня, облепленного тиной. Встречает, будто знакомого.

- А женщина эта с тонкой талией и широкими бедрами, - хмыкнула Татьяна.

- Ну!

- И что потом?

- А потом... Представь, живет она на острове, этакий хуторочек, и нет к ней ниоткуда пути, ни по воде, ни по суку. Это вот примерно между Волгой и Медведицей - там болотный край. Не знает она ни телевизора, ни газет с этими гнусными политическими новостями, и знать не хочет. Ей дела нет, кто и где и с кем воюет, кто нынче правит нашим государством, где озоновая дыра образовалась, какие цены на рынке... Она просто живет! Рядуется жизни. Домик у нее, рядом береза со скворечником, огород, сарай с сеном...

- Коровушка с теленочком, свинья с поросеночком...

- Да. Коровка рыжая, как солнышко, и теленок ей в масть. В криночках молоко настаивается - сметана будет, простокваша, творог... и каждый день парное молоко, утром, в обед и вечером.

Хм, прямо-таки волшебные слова: сметана, творог, простокваша... как заклинание.

- Вот я криночку выпью да и усну, - заключил Евгений Вадимыч, словно песню оборвал на полуслове.

- Ты неплохо устроился, - подумав, сказала Татьяна мирным голосом и замолчала.

Он решил, что жена уже заснула, но она вдруг спросила тихонько:

- Жень... А улы у нее есть?

- Есть... в огороде шесть штук и еще где-то в лесу столько же, - помолчал и добавил: - Там липы много... целая роща. В кладовке мед по сортам хранится: липовый, гречишный, цветочный...

- Хочу липового, - сказала Татьяна. - В школе у меня подруга была, дед у нее улы держал. Помню, пришли мы к нему, он и достал для нас рамочку. Вот как сейчас вижу... и во рту сладко.

А он вышел на тесовое крылечко, этакое покривившееся, ступеньки шевелились под ногами. Как так - непорядок! Взял топор, клинышек вытесал, забил - вот теперь крепкой стала ступенька. За нею тем же манером и вторую, и третью. Огляделся - за крыльцом жерди, доски, тачка с обломанной рукояткой. Осмотрел эту тачку, мастеровито вытесал, прибил новую рукоятку, придирчиво осмотрел свою работу и остался доволен: крепко!

Хозяйка мимо прошла, похвалила:

- Вот что значит мужик в хозяйстве появился!

Ему стало лестно от этой похвалы, даже плечи расправил, и тотчас новое дело нашел: калитка огородная совсем хила, по земле чертит, когда открываешь-закрываешь. За час работы, а вернее за три минуты, смотря каким временем мерить, смастерил калиточку - загляденье. Навесил ее, смазал петли ржавые, чтоб не скрипели, несколько раз открыл-закрыл - порядок!

Прошелся вдоль изгороди, пошатал ее критически и опять за дело: в лесу вырубал сухостоинки - молодые елочки, не дожившие сроку, - из них хорошие колышки получались; приносил по полсотне за раз - ставить новую изгородь вместо прежней.

- Да отдохни ты! - уговаривала хозяйка, но так, ради похвалы. - Ишь, какой непоседа! Моих дел не переделаешь.

Как ее звали, эту женщину, что ходила мимо, овевая его подолом широкой юбки? Наверно, какое-нибудь простое имя...

- Жень, а как ее зовут? - слышался шепот.

- Кого?

- А вот женщине эту?

- Не знаю.

- Наверно, какое-нибудь деревенское имя, - вздохнула Татьяна.

- Да уж у нас с тобой городские! - отвечал он ревниво.

А изгородь уже радовала его взор: и столбы в свежих затесях, и колышки ровные - получалось прочно, надежно, празднично. Он видел, что и крыша дома стара, и журавль колодца покосился, и оглобля у телеги сломана, и бочка в огороде разохлась, и лемех у плуга затупился - значит, надо дранку щепать, столярничать, оттягивать лемеха в кузне, набивать обручи... Обилие этих истинно мужских дел радовало его и воодушевляло настолько, что хоть сейчас топор в руки да и за работу.

- Я б сама у нее пожила маленько, - тихо говорила жена для себя самой. - Господи! Разу не пришлось ни у кого влать погостить. Хорошо-то как: тебе готовят... собирают на стол... потчуют и тем и сем... посуду моют. А ты сидишь себе барыней! Уж я б там отдохнула... за все эти годы. А то, ведь просвету не знала.

Сыновья за стенкой бубнили что-то свое, кажется, ссорились, а у родителей в маленькой каморке было тихо и мирно, даже благостно.

- Жень, я иной раз подумаю: как нам с тобой в жизни не повезло! Ни у меня матери или ласковой свекрови, ни у тебя тещи или какой-нибудь доброй тетки или бабки. Чтоб посхали мы с тобой, а нас встретили, приветили... Ах, я б погостила... у этой женщины твоей на хуторке.

Евгений Вадимыч слушал, немного досадую: какого черта жена с ним увязалась! Одно дело - если он там один, и совсем другое - если с женой. Сразу исчезал романтический туманец, окутывавший дом и хуторок, и остров посреди непроходимых болот.

- Тебе туда не добратся, - сказал он. - Болотина там гиблая на много километров. Даже зимой трясина дышит, и по льду не пройдешь, не бывает льда. Только самолетом... и потом прыгать с парашютом.

- Как же она там оказалась? Прошла же... и корову провела. Небось, и не одну только корову.

- Наверно, это было давно. Я думаю, еле деды-прадеды поселились там когда-то. Может, случилась особо суровая зима, болота сковало льдом, вот и добрались. Она выросла на острове и живет-поживает, ни в чем особо-то не нуждаясь.

- Как интересно! - вздыхала жена, засыпая.

А он по-хозяйски прохаживался по огороду - на грядках морковка кудрявилась, лучок прыснул длинными стрелами, огурчики уже завязались - торчат тут и там, держа на зеленых боках капельки росы. И подсолнухи цветут, и укропчик благоухает, и вишенки спеют, и... да чего там! Все есть, как тому и быть должно.

- Таня! - позвал он тихонько, желая поделиться новыми подробностями.

Но жена не отозвалась, спала сладко.

За грядками, между прочим, оказался обширный участок с картошкой, уже пестреющей белыми и фиолетовыми цветочками, Евгений Вадимыч взялся ее окучивать.

- Тут я пораньше посадила, - сказала женщина, появляясь рядом с ним; и пахло от нее молоком парным, тестом сдобным, телом ее молодым... - А за огородом у меня еще разделана большая полоса. Земля там подзолистая, картошечка низкорослая, но, знаешь, урожай неплохой бывает. В прошлом году и в позапрошлом по двести ведер накапывала я - это для поросят.

Он знал, что их у нее не меньше трех, разного возраста, а еще и овец с десятков - тут же неподалеку гуляли; и теленок смотрел на них из-за изгороди.

- Землю известковать надо, - посоветовал Евгений Вадимыч, имея в виду тот участок, что за огородом, а сам при этом волновался неведомо отчего. - И потом еще вот что: боровки картофельные ты неправильно расположила - их надо с севера на юг ориентировать, чтоб солнце за день прогревало с обоих боков.

- Ишь как! - удивлением своим она будто похвалила его. - Откуда тебе ведомо? Ты ж городской!

- Каждый мужик в пределах своей мужской профессии должен знать и уметь все: и картошку садить, и изгородь ставить, и ребятишек сочинять.

Она так славно засмеялась! И смехом своим скрасила некоторую неловкость его суждения.

На том лугу, где теленок гулял, стояли невысокие стога.

- Сено в копны класть - одной-то несподручно, - пожаловалась она. - Да хоть чего возьми! Одна и есть одна.

Он согласно кивнул: да уж, мол, что и говорить, в одиночку и птица не живет.

- Мужика не хватает в моем хозяйстве, - заключила она и смутилась.

- Это верно, - отозвался он. - Ну, ничего. Сено мы переждем, в больших стогах оно сохраннее.

Голые руки ее и плечи покрыты были ровным загаром, голова на полной шее горделиво откинута назад, словно бы от тяжести волос.

- Как тебя зовут?

- Мила.

Мила... Какое славное имя! Оно как раз для женщины с ямочками на локотках, с доверчивым взглядом больших синих глаз...

- Жень! - слышалось с надувного матраца, так что он вздрогнул.

Татьяна переворачивалась на другой бок, шурша своим матрацем.

- Чего тебе? - отозвался он. - Не спится?

- Да уж уснула, и вот приснилось, будто я и вправду... Она, что же, совсем одна живет?

- Одна... Весь и хуторок - только этот дом да два сарая, да колодец с журавлем, да банька на берегу.

- И никого там больше нет?

- Нету.

Татьяна затихла, а через несколько минут опять подала голос:

- Как хорошо!.. Живешь в лесу - ни тебе шуму, ни гаму, ни гвалту.

- Тихо там, - доверчиво подтвердил Евгений Вадимыч. - И летом, и зимой.

- Какая смелая! Надо же, никого не боится, даже вот мужика, который из болота вылез.

Тут уже слышалась легкая насмешка над ним. Но он не обиделся.

- Меня ли бояться! Я смиренный. Да она в случае чего оплеуху отвесит - на ногах не устоишь.

- Никого ей не нужно, - размышляла вслух Татьяна. - Как отраднo-то! Тишина... петух поет по утрам. Кукушечка кукует.

Голос у нее был сонный, вот-вот опять отплывет.

- Зато магазинов нету, - подсказал он, желая отпутнуть жену от заветного острова, как постороннего человека от грибного места. - И рынка тоже.

- А зачем ей это? - тотчас возразила Татьяна. - У нее все свое: и молоко, и мясо, и овощи.

- Заболеешь - "скорую" уж не вызовешь. И сама в поликлинику не пойдешь.

- Да на черта ей доктора! Она от такой жизни здорова.

- Скучно там, - подсказал он.

- Это разве что с непривычки. А если постоянно там жить, несколько не скучно. У нее ж и корова, и теленок - с ними наговоришься, оно и повадно. Небось, и собака есть.

- Есть.

- Я б хотела, чтоб это лаечка была. Я люблю лаек.

- Тихо там, - опять повторил он. - Коростель кричит, пеночка поет, зяблик посвистывает.

Та пеночка и тот зяблик словно бы запели и в квартире у Кузовковых. И шум лесной донесло сквозь стены. И запахло сосновой смолой, багульником, сеном...

- Жень, а кошка у нее есть?

- Конечно. Где это ты видела, чтоб в деревенском доме не было кошки? Я видел: гуляет с котятками.

- Откуда котята, Жень, если кота нету? Да и корова будет яловой без быка, и все прочее. Тут что-то ты не додумал.

Он сказал, как бы размышляя вслух:

- Наверно, неподалеку еще остров есть, и там другой хуторок.

Объяснение вполне удовлетворило Татьяну.

- Хорошо-то как! - сказала она и почмокала губами, будто меду с ложечки приняла. - Слушай, а ты с этой женщиной... в каких отношениях?

Спросила, и слышно, что улыбается.

- Небось, на всю ночь остаешься?

Нет, это она не из-за ревности. Просто любопытно ей, далеко ли заходит муж в этой воображаемой игре.

- А я только до пирогов добираюсь и на этом сразу засыпаю, - сказал он и улыбнулся.

- Этак-то она тебя намахает, - хмыкнула Татьяна. - Тоже мне! Пришел к молодой красивой женщине, поел и уснул. Мне стыдно за тебя, Жень!

- Да ладно, - благодушно отозвался он.

Каждый день приносил череду неприятностей, и не было этому конца. То в замочную скважину ребятишки засунули спичку, и ключ не входит; то в лифте кто-то нарисовал похабщину; то вывинтили электрическую лампочку на лестничной площадке, и тут стало темно -они теперь дорогие стали, эти лампочки, вот и воруют их; то, глядишь, соседи вытрясли на лестнице половик из своей прихожей, и кто-то еще накидал яичной скорлупы...

Случались неприятности и покрупнее: вдруг погас экран телевизора, и звук пропал... Евгений Вадимыч проверил предохранитель - так и есть, перегорели. Сменил - они тотчас перегорели снова. Купил еще пару, поставил - результат тот же: значит, что-то серьезное. Вызвал мастера - пришли сразу двое, толстый и худенький, оба в подпитии. Толстый открыл заднюю крышку телевизора, его товарищ стал ковыряться, должно быть, не попадая отверткой, куда надо, потому что послышалось:

- Ты что, сдурел?

"Раскурочат они мне телевизор", - запоздало спохватился Евгений Вадимыч.

Но мастера с делом справились в пять минут: что-то там припаяли, на экране четко обозначилась "картинка", и звук обрел себя. Толстый обратился к Евгению Вадимычу:

- Ну, мужик, тебе как лучше: или мы напишем ремонту на четыре тысячи, или ты нам поставишь две бутылки водки.

"Четыре тысячи! - похолодел хозяин телевизора. - Да у меня месячный заработок не больше двадцати тысяч".

- Лучше водочки, верно? - развязно подмигнул толстый. - Посидим, покалякаем, выпьешь с нами.

- Я не пью, - сказал Евгений Вадимыч виновато.

- Да и мы не пьем! Так, ради знакомства с хорошим человеком. Пару бутылок на троих - это немного.

Худенький был совестливее, сказал тихо:

- Да ладно тебе, Сань, одной хватит. Тут и делов-то было...

- А соображенья сколько потратили? - нахраписто заявил его товарищ. - По-твоему, мозговая работа ничего не стоит? Да мы все логарифмы по периметру прошли. Это что, пустяк? Пусть платит!

- Да ладно, Сань.

- Ну хорошо. Давай, мужик, один пузырь и закусочки нам собери.

Евгений Вадимыч мысленно прикинул: они ведь действительно могут "написать ремонту" сколько захотят. Чего и не было, да было! Вздохнул, добыл спрятанную поллитровку, выкупленную еще по талону прошлой зимой: сам он как-то не имел склонности к выпивке, потому и хранилось долго.

И сидел он с этими телемастерами, страдая от их постоянного "Слушай сюда, мужик!", и от того, что в качестве закуски на столе была лишь тарелка с макаронами; слушал их пьяный треп, изображая

заинтересованность. А куда денешься! Приходилось терпеть. А то ведь в следующий раз могут и вовсе не прийти. Скажут: это вот тот жмот, с которым ни выпить, ни поговорить.

Худенький жалобился: опять, мол, жена ругать будет, домой хоть не являйся.

- Спросит: денег принес? А что я принесу, если куда ни приди - ставят водку...

Хозяину чудился в этом упрек: не дал денег, спаивает, как и все.

- Ты поплачь, - поддразнивал толстый, хлопая напарника по спине.

А тому хотелось душевно поговорить.

- У меня, мужики, одна отрада: сяду на велосипед и уеду на дачку свою. Там хорошо... топориком тешу, что-нибудь приколачиваю.

- Хорошая дача? - сочувственно спрашивал Евгений Вадимыч.

- Да так, с собачью конуру... Зато тихо, никто не ругается. Если б не дачка, не знаю, как бы я жил. Жена загрызла бы... только там и спасаюсь.

- Ишь, дал волю бабе! - шумел толстый; он водку пил, как воду, даже не морщась. - Не-ет, у меня не вякнет. Лишь бы домой пришел. А то ведь я могу и заночевать где-нибудь... Я иногда, это самое...

Он старательно подмигивал: вы, мол, понимаете? У него, мол, есть кое-кто на стороне.

- А касательно того, что для души, - у меня гараж. Вот там я, мужики, как на курорте. Машина старенькая, уж не бегаёт, зато ремонту требует много. Я ее холю-лелею, тачку эту. Сидишь, что-нибудь подгачиваешь, подкручиваешь... радио играет, бензинчиком воняет... в шкафу водочка стоит, стаканчик, бутербродик... а сон сморил - на топчан вальнулся и храпака минуточек на двести-триста. Хорошо!

Он опять хлопал напарника по плечу:

- Юра! Сейчас пойдем ко мне в гараж. У меня там осталось.

А того уж развезло:

- Не-ет... Я на дачу к себе.

"Тоже живут, как рыбы подо льдом, - невесело размышлял хозяин. - Хорошо, когда есть маленькая отдушина..."

- Ребята, - говорил он, подлаживаясь под хамский тон собеседников, - а почему бы вам не начать собственное дело? Откроете мастерскую, будет своя клиентура, конкурентов одолеете качественным обслуживанием, приветливостью...

- А на хрена козе баян? - тотчас возразил толстяк. - Нам и так хорошо. Верно, Юр?

- Деньги будете грести лопатой! - убеждал Евгений Вадимыч. - Сами себе хозяева - чего лучше! Это ли не свобода! А главное - так интересней жить!

Они ему в ответ, как неразумному:

- А запчасти где возьмем? Так-то нам поступают централизованно. Мало, не хватает - пусть у начальства голова болит, где достать. А наше дело телячье: есть запчасти - работаем, нету - гуляем.

- И вы найдете! Наладите связи...

- Да ну! Или мы плохо живем? Скажи, Юр! Пока у вас есть телевизоры, мы всегда будем желанными гостями. Вы и позовете, и приветите, и в глаза будете заглядывать просительно, и водки нальете сколько нам надо. Что, разве не так?

- Так, так, - покорно кивал головой Евгений Вадимыч.

- Ты не обижайся, мужик: если овец не стричь, они шерстью зарастут и вовсе одичают. На то и волк в лесу, чтоб карась не дремал. Понял?

Они были несокрушимы со своей логикой.

- Ты-то сам чем занимаешься? - спросил толстый. - Или только советовать? У нас страна советов! Открывай свое дело, коли такой умный.

- Я мастером на заводе, - объяснил Евгений Вадимыч. - Мы опоры высоковольтные делаем, на этом частный бизнес не откроешь.

- А ты в заборе дырку проломи да и торгуй этими опорами. Их дачники-умельцы, вон вроде Юры, для теплиц приспособят.

Тут они оба долго хохотали, а Евгений Вадимыч сидел грустный, унылый.

В этот день, между прочим, он получил письмо от брата. Тот жил далеко и писал редко, но теперь вдруг стал потчевать посланиями одним другого тревожней. Старший извещал младшего, что у них в Кабарде стало припекать: вот-вот стрелять начнут. Так что пора сматываться отсюда, и как можно скорее. Неизвестно ведь, как повернется все далее; не исключено, что вслед за Осетией и Абхазией зоной военных действий станет и Кабарда.

Брат жил там лет тридцать, своими руками выстроил себе дом двухэтажный с огромным подвалом, возвел гараж и хозяйственные постройки - все из кирпича да камня; развел курей и кур, держал десяток или больше свиней; у него был хороший сад-огород - все это хозяйство приносило немалый доход и позволило старшему достигнуть такого уровня материального благополучия, до которого младшему далеко.

А теперь вот Борис Вадимыч писал, что свиней ему держать запретили, поскольку-де это оскорбляет чувства правоверных кабардинцев, и окна раза два били, и подметные записки подбрасывали: уезжай, мол, русский, в свою Россию, иначе дом положим, хозяйство разорим, дочку украдем и увезем в горы...

Государственная власть ослабла, защиты искать не у кого, а последние события в столице Кабарды еще более встревожили брата: национальное движение там нарастало.

"Продадим все и приедем, - бодро извещал он. - Поживем у тебя месяц-другой, пока не купим себе подходящее жилье".

"Интересно, как он это себе представляет - "поживем у тебя", - встревоженно размышлял Евгений Вадимыч. - Он что, никогда не бывал в двухкоморочной квартире панельного дома? Где тут спать уложить? Как за стол усадить? Не один ведь придет, а с семьей - жена у него, дочь-школьница".

Евгений Вадимыч представил себе, как Татьяна мгновенно взвизгнется, едва только узнает о содержании письма... как сыновья изобразят на лицах крайнее недовольство и что скажут...

Тоска опять охватила его. Одно утешение было - отправиться на хуторок, как отправились эти Юра и Саня, один - в гараж, другой - на дачку.

На этот раз он добирался несколько дней, уже посуху, с тяжелым рюкзаком за плечами, по берегу дикой, совершенно безлюдной реки, заросшей дремучим лесом. На ночь ставил палаточку и засыпал под дальний медвежий рев и ближнее хрюканье кабаньего стада. Утром вставал, кипятил чай в котелке, и, напившись, шел дальше. Расчет был такой: чем тяжелее путь, тем укромней хуторок и тем радостнее встреча. Всяческие испытания в пути уж непременно искупятся сторицей, а раз так, то вот тебе и дождь, и бурелом, и овраги, и комары.

То был совершенно безлюдный край, с непугаными зверями и птицами, с ручьями, в которых рыба клевала даже на пустой крючок. Стояло жаркое лето, когда вечерами в низинках сложился туман и кричал коростель. Путник был уже измучен дальней дорогой, когда в дебрях лесных, глазам своим не веря, наткнулся вдруг на изгородь огородную, на которой калились под солнышком надетые на колья кринки и горшки. Тропинка вела к дому с тесовой крышей, где у крыльца самовар дымил, а в распахнутые окна выглядывала герань.

Кошка, сидевшая на завалинке, смотрела на подошедшего путника; собака вышла из конуры, дружелюбно виляя хвостом; куры под хозяйственным окном оком красавца-петуха рылись в навозной куче.

Евгений Вадимыч сбросил тяжеленный рюкзак, устало опустился возле стола, врытого в землю под старой березой, положил на него руки, глубоко и облегченно вздохнул оглядываясь. Да, это тот самый домик, что так укромно упрятился задом в лес, так потаенно расположился тут - можно пройти мимо и не заметить.

Стукнула дверь, на крыльцо вышла хозяйка и замерла в испуге. Но тотчас обрадовалась, просияв лицом.

- Здравствуй, - сказал он ей.

- Здравствуй, - отвечала она и коротким жестом поправила волосы.

- Значит, так: чугунок со щами неси прямо сюда... и горшок каши гречневой томленной тоже.

- Эва как! - сказала она, сдерживая смех. - Хозяин явился.

- Чесночок ко щам и сметанки, - продолжал он. - Хлеба неси всю ковригу, сам отрежу.

Она покачала головой, прямо-таки польщенная его нахальством.

- Да уж заходи в дом, чего ж на улице-то!

- Нет, хочу здесь, на вольном воздухе.

Она стала выносить то, что он ей велел, каждый раз взглядывая на него так, что сердце обмирало. Шей налила в большую глиняную плошку, деревянную ложку подала... По-хозяйски, прижимая ковригу к груди, отрезал он ломоть хлеба толстый, головой кивнул:

- Садись, чего стоишь?

- Спасибо... обедала уже. Ты ешь, ешь... горе ты мое.

И валенком дырявым, как мехами, стала раздувать угли в самоваре.

Тут неожиданно появилась еще одна женщина, того же возраста и того же деревенского склада, увидела сидящего за столом, замерла на полушаге.

- Ой, а кто это у тебя!?

- Да вот... гость забрел откуда-то, - отвечала Мила со сдерживаемым смехом. - Не ждала и не гадала, а он явился и сразу чугунок со щами затребовал.

И встали они обе бок-о-бок, эти подруги, сложив руки на груди, смотрели на него насмешливо, а он степенно хлебал.

- На лешего маленько похож, - говорила соседка.

- Где ты видела таких леших?

- Вот теперь вижу.

- За погляд деньги берут.

- Ты спросила хоть, откуда он и куда идет?

- Что мне за дело!

- Слушай, а зачем он тебе?

- Для повады! Вот расскажет, где был да что видел.

- А не будет от него никакого толку, - сказала соседка, подумав, и засмеялась. - Сорока годов мужик - не мужик. Одно название.

- Ой, да ну тебя! - покраснела Мила. - Совсем ты обессовестилась.

- Тебе, подруга, для повады ребятишек надо заводить. А этот сможет ли?

- Африканских страстей не обещаю, но ребятишек... хоть десяток! - степенно изрек Евгений Вадимыч. - Дурачьё дело не хитрое.

И принялся за мозговую кость.

- Тогда вот чего; отдай его мне, - то ли шутя, то ли всерьез стала уговаривать соседка. - К тебе потом парень молодой из леса выйдет. А уж с этим я как-нибудь перезимую...

Но Мила довольно решительно выпроводила соседку и сказала гостю:

- Ты ее не суди строго. Она ведь только на язык смелая.

- Я так и понял, - кивнул Евгений Вадимыч.

- Мужа у нее прошлой зимой медведь задрал.

- А твоего? Тоже задрал?

- Я замужем не была.

- Что ж так?

- Откуда тут женихам взяться! В лесу живем, на сто верст вокруг лес да лес. В нашем хуторке всего три человека: еще бабушка Анисья на Лебязьей косе, да вот Аня... Анин дом чуть дальше, возле ручья. Ты мог бы и к ней выйти, а не ко мне.

- Нет, - сказал Евгений Вадимыч и головой покачал. - Этого не могло быть. Я к тебе шел, только к тебе.

Он встал из-за стола, чувствуя себя отдохнувшим, и нетерпеливо отправился осматривать хозяйство, отмечая глазами всякий непоря-

док; руки просили работы, и он брался за дело, мастера то и это, при ласковых похвалах молодой женщины.

А потом наступил вечер. Евгений Вадимыч уже в сумерках сидел на ступеньках крыльца и слушал, как она доит корову. Комарики пели, из огорода веяло запахом черной смородины, первые звезды проявлялись на небе. Мила явилась с ведром парного молока в сопровождении кошки, которая ластилась у ее ног.

В полутьме, при отсветах загадочных зарниц, ужинали, а потом хозяйка разбирала широкую постель... И уж в полной темноте, лежа на жаркой перине, он осознавал совершающееся: вот она раздевается, эта женщина, вот кровать мягко продавилась, когда она села на край ее, и вот рядом - ее дыхание, биение ее сердца... восторженный ужас владел Евгением Вадимычем, как при волшебном сне, оттого, что она так близко.

Однажды, спохватясь, подумал о себе с укором: "А что это я в самых-то заветных мечтах только о еде да о бабе... только о бабе да еде? Какое я все-таки примитивное создание!"

В самом деле, фантазия дальше не шла: трудная дорога, радостная встреча, хозяйская работа возле дома. Он ходил, в сущности, по одной и той же стезе: через те или иные испытания - к отрадному концу, когда уже провалился в сон. Но отрада-то, отрада-то в чем? Ничего больше-то и не хотелось, только чтоб этот тихий хуторок и ласковая женщина, и еще, чтоб на сотню верст вокруг ни души.

"Так ведь опять будет то же, что с Татьяной! Ну, народим детей, и вырастут еще двое-трое вот таких оболтусов, как мои. То-то радости от них!"

И сам же себе возражал:

"Нет, там они с раннего детства втянулись бы в хлопоты по хозяйству: огород копать, за скотиной ухаживать... влес с топором, на озеро с сетью... косить и стога метать, пахать и сеять, жать и молотить. Это здесь они лоботрясничают, не знают, чем занять себя, а там-то была бы у них нормальная, здоровая и такая красивая жизнь! Ведь природа облагораживает человека, очищает душу и тело - разве не так? Она приучает трудиться, а труд - как молитва..."

Накануне он видел в магазине резиновые сапоги - заколеники, и хоть цена их равнялась его месячной зарплате, теперь вот решил: "Если завтра деньги получу, куплю..."

- Жена, ты спишь? - донеслось с надувного матраца.

- Нет.

- Я вот думаю: хорошо бы ребят наших туда.

"Ну вот, пусти бабу в рай, она и корову за собой ведет", - подумал он, а вслух сказал кратко:

- Да.

- Небось, там некогда было бы долбежную музыку крутить. Живо нашли бы заделье рукам и голове! Тогда и не были бы такими... буркалами.

- Пусть ищут свой хуторок, - проворчал он через некоторое время.

- Они не умеют, Женя!

- Как это не умеют? - удивился Евгений Вадимыч: ему раньше не приходила в голову эта простая мысль. - А ты?

- Что я?

- Разве и ты не умеешь? Там же рядом должен быть еще один островок, на нем живет плечистый бородатый мужик, без хозяйки мается. У него корова недоена, печь нетоплена...

Татьяна озадаченно помолчала, потом сказала:

- Нет, Женя, я без тебя никуда. Мне ни бритого, ни бородатого не надо.

Приятно, конечно, когда такое говорят, но вот проблема вставала во весь рост: куда жену девать. Разве что построить и ей домишко там?

- Ладно, - сказал он великодушно уже засыпая. - У хорошего человека должно быть две жены...

Он слышал, как Татьяна смеялась в подушку... но слышал и петушиный крик в хуторке, голос иволги над обрывом, жужжание пчел, шелест ветерка в листве.

Там было раннее утро. Солнца еще не видать, но облака уже зарумянились с одного краю, как пироги в печи от жаратка с углями. Обильная роса лежала на траве, и туманец стлался в низинке, где ручей впадал в речку. Нарядный петух вышел со двора, посмотрел строго и дерзко, по-мушкетерски, и пропел, будто на поединок вызывал.

У каждого были свои заботы: Евгений Вадимыч запрягал лошадь в плуг. Мила вышла на крылечко проводить его и наблюдала, как он управляется с упряжью. Она сильно сомневалась, что это у него получится, не говоря уж о том, что пахарь он, конечно, аховый.

- Не страдай, - сказал он ей. - Нормальный мужик в пределах своей мужской профессии должен уметь делать все: и дом построить, и землю пахать...

Дернул вожжи, лошадка тронулась со двора, волоча за собой плуг.

- Печь истоплю и принесу тебе поесть, - напутствовала его Мила. - Нынче ватруху с черникой испеку, ты такую любишь.

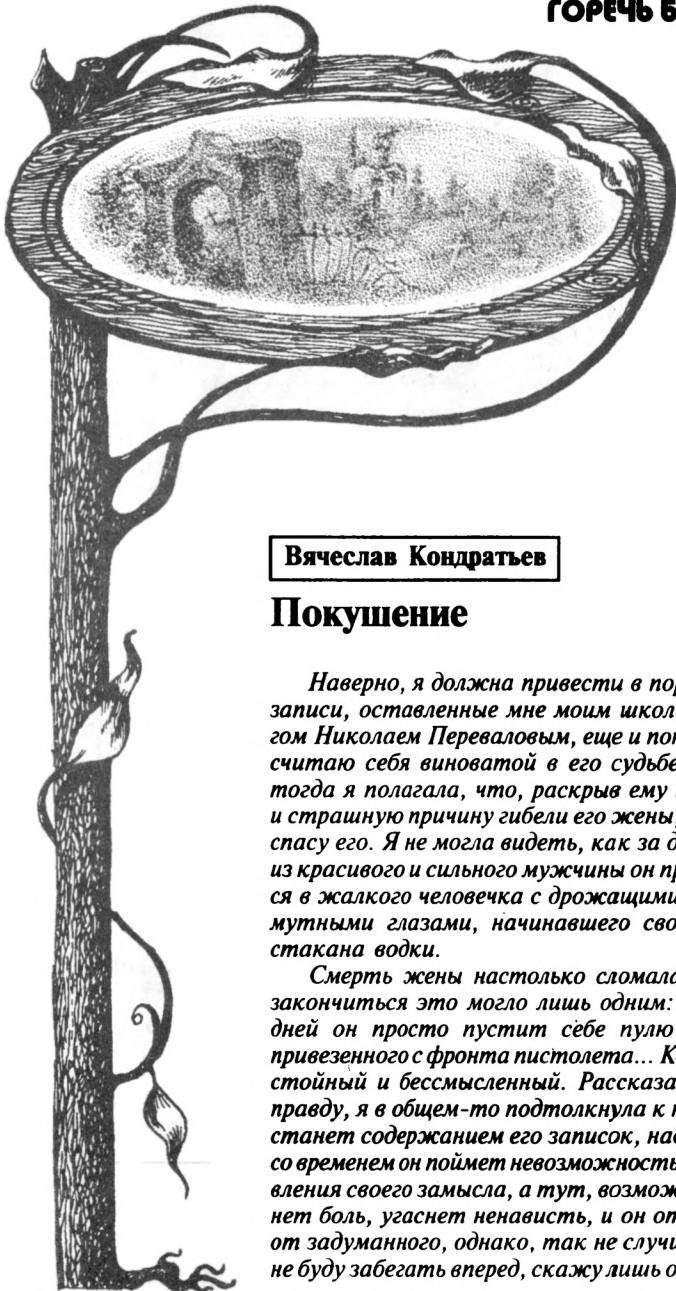
- Ватруху надо еще заработать, - сказал он полушутя, полусерьезно.

По дороге неторной, пересеченной толстыми корнями деревьев, как рука жилами, глухо стучал волочившийся плуг. Птицы щебетали упоенно - самый радостный для них час: весь лес будто смеялся этим птичьим щебетом. Белка смотрела на человека и лошадку с нижних веток не боясь... Вот и поляна широкая, мелкий ельничек по опушке - тут Евгений Вадимыч остановился. Зеленая клеверная отавка ровно стлалась по полю - клевер здесь уж третий год. Значит, задача такая: к Спасу медовому - вспахать, а к Спасу яблочному - засеять озимой рожью.

Солнце уже золотило верхушки деревьев: проспал пахарь, пораньше надо было вставать!

- Ну, - сказал Евгений Вадимыч сурово и осенил себя широким крестом. - Господи, благослови.

Никогда раньше он не крестился, а тут как-то к месту пришлось.



Вячеслав Кондратьев

Покушение

Наверно, я должна привести в порядок эти записи, оставленные мне моим школьным другом Николаем Переваловым, еще и потому, что считаю себя виноватой в его судьбе. Правда, тогда я полагала, что, раскрыв ему истинную и страшную причину гибели его жены, я как-то спасу его. Я не могла видеть, как за два месяца из красивого и сильного мужчины он превратился в жалкого человечка с дрожащими руками и мутными глазами, начинавшего свой день со стакана водки.

Смерть жены настолько сломала его, что закончиться это могло лишь одним: в один из дней он просто пустит себе пулю в лоб из привезенного с фронта пистолета... Конец недостойный и бессмысленный. Рассказав ему всю правду, я в общем-то подтолкнула к тому, что станет содержанием его записок, надеясь, что со временем он поймет невозможность осуществления своего замысла, а тут, возможно, утихнет боль, угаснет ненависть, и он откажется от задуманного, однако, так не случилось... Но не буду забегать вперед, скажу лишь о том, чего

нет в Колиных записках. У него ведь некая хроника событий, он мало пишет о собственных переживаниях, почти ничего обо мне, так что, видимо, мне нужно предварить его рассказ несколькими словами о своей особе, не потому, конечно, что она представляет какой-то интерес, а для того, чтоб читателю (если он будет) был более понятен мой поступок.

Признаюсь, что в школе я была влюблена в Николая. В него, кстати, были многие девчонки влюблены, и не только из нашего класса, так что у меня не было никаких шансов привлечь его внимание. Я была донельзя худа, и мои формы никак не могли подействовать на отроческую чувственность моих одноклассников, а тем более на избалованного вниманием Николая. К тому же я была злюка, имела острый язычок, которым неумеренно пользовалась. Была я и умнее, и развитее наших мальчишек, а мужчины редко приходят в восторг от общения с женщиной, которая умнее их. Я не только была умнее, я еще девчонкой понимала все. Все, что творится в стране. Понимала еще до ареста своих родителей, потому что моим воспитанием занималась больше бабушка, чем они, а она и на дух не принимала советскую власть, которую поносила при всяком удобном случае, нисколько не стесняясь моих "шибко" партийных, как теперь говорят, предков.

Помню, когда после убийства Кирова начались аресты, она пророчески заметила: "Ну вот, пришла и расплата..." Отец нахмурился, а мать возмутилась, накричав на бабушку, что та ничего не понимает в политике и что ее глупые антисоветские разговоры ей надоели, а потом обратилась ко мне: "Надеюсь, ты не принимаешь всерьез бабушкины слова?" Я что-то буркнула в ответ, а бабушка спокойно, но с горечью сказала: "Это вы ничего не понимаете, забыли, что поднявший меч от меча и погибнет. Очень боюсь, что этот меч коснется и вас".

Помню, отец передернулся от этих слов и изменился в лице, мать же махнула рукой и вышла на кухню, а у меня екнуло сердце: я больше верила бабушке, считая ее умнее своих родителей. Конечно, для бабушки, происходившей из древнего дворянского рода, большевизм дочери являлся трагедией, она считала, что дочь предала ради революции своих предков, так много сделавших для процветания России. К отцу, выходящу из разночинной интеллигенции, бабушка относилась помягче, однако, и ему часто резала "правду-матку" по разным поводам. Запомнилась мне ее отповедь отцу, когда тот, вернувшись очень поздно с какого-то совещания, не догадался или не захотел пригласить поужинать своего личного шофера, обвинив отца в барском отношении к подчиненному, в "барско-хамском", как она выразилась. Помню, отец сконфузился и забормотал в ответ что-то беспомощное. Он вообще старался не задевать бабушку и никогда с ней не спорил по политическим вопросам, отдавая первенство в этом моей матери, которая, увы, в этих спорах всегда проигрывала, потому что была чересчур ортодоксальна. Вероятно, у отца уже в то время появились какие-то сомнения в вожде и в его политике, а быть может, будучи неглупым человеком, он не мог не ценить бабушкину образованность и интеллект.

В записках Николая приводится мое высказывание о наших тогдашних правителях, как о банде, которое его удивило, - может удивить и читателей, показаться им странным и неестественным для тех лет, поэтому я и рассказываю немного о бабушке и о ее влиянии на меня. Да, всю правду я узнала от нее, ту правду, к которой пришло наше общество только теперь, через сорок пять лет после описываемых мною событий сорок шестого года... С этой правдой мне было нестерпимо трудно жить. Я все время боялась, что когда-нибудь вывернется из меня такое, что я мигом уйду в лагерь, а тогда не смогу помочь матери посылками, без которых она умрет с голоду.

Она вернулась в 54-м, и я постаралась окружить ее вниманием и любовью, но когда... когда она стала добиваться восстановления в партии, начала ходить по старым партийным дружкам между нами возникла какая-то стена. Я никак не могла понять, что семнадцать лет лагерей и ссылок ничему ее не научили, не избавили от коммунистических иллюзий. Она все, все валила на Сталина, а "большевицкие идеалы" (беру в кавычки эти два слова) остались в ее душе нетронутыми. Разумеется, что когда мама ушла, я очень страдала и сожалела, что мы после стольких лет разлуки оказались далекими друг от друга, что я не сумела переступить через себя и оставить маму в покое с ее "идеалами". Но я пошла, видимо, в бабушку с ее бескомпромиссностью, с ее едким языком, не унаследовав, к сожалению, ее природной утонченности и глубины ума.

В Колиных записках нередко встречаются места, в которых он упрекает меня, что я постоянно опаздываю на встречи и не обращаю внимания на свою одежду. Увы, это так, я неряха и неумеха. Бабушка, окончившая Институт благородных девиц, умела все, но почему-то не научила меня шить, готовить еду, упустив это, не знаю уж по каким соображениям. Вот и вышло, что я откровенно готовлю, не умею одеваться и вообще к своей одежде отношусь безразлично. Правда, в сорок шестом при всем желании хорошо одеться было невозможно, за войну все износилось, а купить новое было не на что да и где.

Еще немного о Николае... Еще в школе он был очень самостоятельным мальчиком и хорошо учился. Его мать рано умерла, отец завел новую семью, и воспитывался Коля теткой, сестрой матери. После его поступления в институт она уехала, кажется, в Куйбышев, и Коля жил один. Отец как будто помогал ему деньгами, но их было немного, а потому Николай жил очень скромно, не позволял себе ничего лишнего, избегая даже студенческих пирушек. По-моему, он вообще не выпивал, а потому таким страшным для меня оказались его срывы. Кто-то мне говорил, что если человек начинает пить после тридцати, то может спиться окончательно.

Думаю, больше не стоит распространяться о своей особе, ничего интересного нет, я прожила довольно бесцветную жизнь, у меня даже не было "большой и необыкновенной любви", не считая девичьей влюбленности в Колю, которую я "мужественно" превозмогла, узнав, что его сердце покорила, выражаясь словами старинных романов, учившаяся на два класса младше нас, длинноногая Тая, действительно очень красивенькая

девочка с загадочным взором; на нее-то и обрушилась повальная влюбленность старшеклассников, не избежал которой и Николай.

Мы с ней не могли дружить по возрасту, а потому мне показалось очень странным, что именно ко мне пришла она со своей бедой и мне рассказала все, а не своей бывшей однокласснице и закадычной подружке Миле. Наверно, потому, что именно с меня, а точнее, с нашей случайной встречи на улице, когда мы остановились и долго болтали, все и началось. Тогда около нас притормозила черная "эмка", и двое мужчин, находившихся в машине, внимательно оглядели нас. Потом машина отъехала, один из них вышел, а потом пошел за Таей, проводив до самого дома. Она заметила слежку и страшно перепугалась, что естественно для тех лет. Позвонив мне, назначила встречу и поведала мне о своих страхах.

Вот, наверное, и все, чем мне хотелось предварить записки несчастного Коли, которые я решила все же обнародовать и которые он сам назвал "неким документом, если не эпохи, что слишком громко, но нашего страшенького времени". "Страшненьким" назвала, у него - "страшного времени". Что-то я хотела сказать еще, да ладно... может быть, по ходу Колиного повествования я и припишу что-нибудь. Наверно, не стоит скрывать того, что возвращения Николая с фронта очень напряженно ждала. Где-то в глубине сердца тлела махонькая надежда, что мы будем часто встречаться и вдруг его дружеские чувства перейдут в какие-то другие. Тогда, разумеется, мне и в голову не приходило, что я расскажу ему правду о Тае, тогда я поклялась себе, что он никогда и ничего не узнает. Да и надежда была такая малюсенькая, что только сейчас, через много лет, я признаюсь в этом.

Николай, действительно, довольно часто стал заходить ко мне, но всегда с бутылкой, а то и с двумя. Выпив и опьянев, он плакался мне в жилетку, говорил, что ему незачем теперь жить, а я уговаривала его тем, что все в жизни пройдет, пройдет и его боль и отчаяние. Бывало оставался у меня ночевать, но ни разу - да, ни разу! - не покусился на мою честь. Прошу прощения, что опять использовала высокий штиль, но, черт побери, я легко могу послать кого-нибудь матом, но написать, что Николай не лез ко мне в постель, до которой мог дотянуться рукой, увы, никак не могу, так как воспитана, как и все мое поколение, на святой и целомудренной литературе прошлого века.

Видимо, Коля, зная меня с первого класса, не видел во мне женщины. И я довольно скоро примирилась с этим... Однако я, наверно, слишком разболталась, но что делать? Если Николай писал свои предсмертные записки, чтоб от него хоть что-нибудь осталось, то и мне на склоне (очень большом склоне) лет тоже хочется оставить частицу себя, своего "я", своей судьбы в памяти потомков: ведь так страшно исчезнуть из этого мира навсегда. Наверно, я буду умирать тяжело, с протестом, а не так, как умирала моя бабушка - тихо, примиренно, достойно. Но она была верующая, а я, к сожалению, никакая - не атеистка и не верующая...

Я вот написала, что "быстро примирилась" с тем, что Коля был совершенно равнодушен к моей особе, а так ли это? Господи, а не было

ли в моем поступке, то есть в том, что я сказала ему правду, чего-то другого, кроме того, что я высказал на первых страницах? Нет, мне не хочется копаться в глубинах подсознания! Не надо этого делать! Нельзя! Ведь может оказаться такое... Сейчас я буду печатать на машинке Колины записки, вернусь в 46-й год, и это, наверное, убедит меня в том, что ничего, ничего, кроме отчаянного желания спасти его, у меня в душе не было... Вот написала "спасти" и задумалась... Что я хотела спасти - душу ли, тело ли?.. Ладно, оставим это на потом. А сейчас я должна кое-что еще объяснить читателю. В особняке, о котором Николай говорит в начале своих записок, прожил один из самых страшных людей в нашем "милом" государстве - Лаврентий Павлович Берия, палач и сексуальный маньяк, о чем мы узнали в 53-м. Его люди выискивали на улицах Москвы красивых девушек и женщин, заталкивали в машину и привозили своему шефу для любовных утех. К несчастью, такое и произошло с Таей...

Наверно, глупая это затея, но все же хочется, чтоб от тебя что-то осталось, хотя бы эти листики бумаги. Что ни говори, но я, видимо, первый, кто осмелился задумать такое. Перед главным я спрячу эти записки в надежное место и скажу Инне где. Может, придет время, когда она без опасения за себя сможет их достать, прочесть и узнать, что думал и чувствовал человек, идущий на верную смерть. Кстати, к мыслям о смерти я привык на войне; сейчас я боюсь лишь одного: что мне не удастся осуществить задуманное, и я погибну зазря... А записки останутся и, может, окажутся неким документом, если не эпохи, что слишком кромко, но нашего страшного времени...

Я уже три утра простоял на остановке троллейбуса, которая напротив нужного мне дома. Около него я стоять не могу. Вокруг полно агентушек, охраняющих особняк на углу. Даже на остановке я стою недолго, пропускаю два-три троллейбуса и уезжаю.

Сегодня наконец-то я увидел, как из подъезда того дома вышла девушка и направилась к остановке, для чего ей нужно было перейти улицу... У меня дрогнуло сердце, словно бы навстречу мне шла любимая, которую я долго и безнадежно ждал. Но я даже не успел ее разглядеть, потому что тут же подошел троллейбус, в который она и вскочила, я - вслед. В обычной давке меня прижало к ней и, как ни странно, я почувствовал некоторое волнение. Говорю "странно", так как после случившегося с Таей меня совершенно не трогали женщины, ну а эта девица для меня лишь средство, я не могу позволить себе испытывать к ней какие-то чувства. Я отодвинулся от нее, но резкое торможение машины снова бросило меня вперед. Я решил извиниться. Она повернулась ко мне, чуть улыbnулась:

- Ничего... Что делать, такая давка.
- Но все же простите.

Этого было мало для начала какого-то разговора. Она вышла у Павелецкого, я - тоже; однако, не пошел за ней, а повернул в

противоположную сторону. На сегодня хватит, наверно, и этих нескольких слов,. Торопиться не следует. Завтра я, по-видимому, встречу ее опять, поздороваюсь на остановке, а там, может, и завяжется какой-нибудь разговор...

Однако на следующее утро девица не появилась. Я пропускал один троллейбус за другим, и когда стукнуло десять, понял, ждать ее дальше бессмысленно. Не встретил я ее и на другой день, и на следующий. Лишь на третье утро она подошла к остановке, но поздороваться не вышло: наши взгляды не встретились. Конечно, я тоже залез в троллейбус. Она стояла далеко впереди меня. Благодаря своему росту я видел, как вынула она из сумочки какую-то книжку и попыталась читать, но в постоянных рывках машины, когда пассажиры то устремлялись вперед, то откатывались назад, читать было трудно, и вскоре она положила книгу в сумку. Пробившись к ней поближе, я успел разглядеть, что книга не на русском, я отчетливо увидел латинский шрифт. Меня это немного удивило, нечасто в Москве можно увидеть человека, читающего книгу или газету на иностранном языке.

Сошла она опять на Павелецком... Я поколебался недолго, пойти ли за ней, но решил, что не стоит. Знакомство должно произойти естественно, без особых нажимов с моей стороны. Думаю, если не все, то большинство жильцов этого дома, являются служащими известного учреждения и должны быть осторожны в знакомствах. И если она из них, то, наверно, должна будет заявить, что познакомилась со мной. И тогда вполне вероятно, что мной заинтересуются. Проверки я не опасался: моя фронтовая биография безупречна, а орден Боевого Красного Знамени довольно весом даже на фоне тех наград, которые посыпались на фронтовиков в конце войны...

На следующее утро я снова был на своем посту, однако, напрасно прождал эту девицу до половины одиннадцатого... Терпения мне не занимать. Когда командовал взводом разведки, бывало, приходилось днями лежать на передовой не шелохнувшись и наблюдать за немцами в бинокль. И не дай Бог, блеснут на солнце окуляры, тут же влепит пулю в лоб немецкий снайпер. Летом еще ничего, зимой бывало тяжелее... Однако существовало для нас, фронтовиков, железное слово "надо". Такое же "надо" есть у меня и теперь...

О смерти Таи я узнал на фронте лишь через три недели после случившегося из письма ее подруги Милы. Вот это письмо:

"Дорогой Коля! Я долго не решалась сообщить тебе о постигшем тебя горе... Тая скоропостижно скончалась. Похоронили ее на Пятницком кладбище, где похоронены ее родители. Вернешься с войны, сходим на ее могилу... Больше писать не могу..." После этого следовало несколько слов сочувствия, соболезнования, слов ненужных, но не было ни строчки о том, от чего умерла Тая.

Я засыпал Милу письмами, спрашивая о причинах смерти, но ничего определенного она так и не ответила. Поэтому еще на фронте я стал подозревать что-то неладное и что от меня что-то скрывают... На фронте,

когда сам все время находишься под смертью, когда так часто погибали товарищи, горе переносилось как-то легче, не так что ли остро, к тому же я прибег к испытанному средству: не стал отказываться, как это делал раньше, от водки и трофейного шнапса, чего у разведчиков всегда достаточно. Вернувшись же в Москву, я не находил себе места, было так одиноко, что я готов был выть по-волчьи. Казалось таким нелепым, что я на фронте остался живым, а Тая умерла в тыловой Москве. Я должен был быть убитым, я - мужчина, а ушла - женщина... Мучало меня и то, что Мила мне так и не сказала, от чего умерла Тая. Она редела и твердила сквозь слезы, что сама ничего не знает. Наверно, сердце... Однако Тая никогда не жаловалась на сердце, говорил я, но Мила, видно, действительно не знала, и я перестал к ней приставать...

Я привез с фронта порядочно денег и пока не устраивался на работу. Я не мог сидеть дома и целые дни шатался по московским улицам, заходя иногда в бары, а чаще просто останавливался около "деревяшек", которых в городе было полно, пропускал сто или полтора грамма водки с пивом, перекидывался словами с бывшими фронтовиками и инвалидами, толпившимися возле этих заведений. Здесь не было благополучных людей: плохо заживающие раны и телесные и душевные, разлады в семьях, нищенские пенсии, неустроенность в жизни, и мне было как-то легче среди них. Как оказалось похожим ремарковское "Возвращение" с нашим. Поговорив, выслушав не одну фронтовую историю, я снова вышагивал по улицам, проходя за день около десяти, если не больше, километров. Только после таких мотаний по Москве до усталости я мог кое-как заснуть. Не встречался я ни с институтскими, ни со школьными товарищами - никого, никого не хотелось видеть и выслушивать слова сочувствия. Только Инне, своей бывшей однокурснице, я звонил несколько раз, но телефон не отвечал, - наверно, сменили номер в войну...

И вот случайно встретил ее у Сретенских ворот... Перед этим я уже задерживался около трех "деревяшек" и был изрядно "заряжен", что удивило ее: она знала, что я почти не выпивал. Мы обнялись, я чмокнул ее в щеку.

- Ну как ты, Коля? - спросила она, взглядываясь в меня.

- Мне плохо, Инна...

- Понимаю.

Она не стала выражать мне никаких соболезнований, за что мысленно я поблагодарил ее. Она только с недоумением оглядела меня еще раз - я был в военном, но гимнастерка давно не глажена, сапоги не чищены, а сам небрит.

- Зайдем ко мне, Коля, поговорим. Ты же знаешь, мой дом неподалеку.

Я согласился, но сказал, что по дороге надо купить бутылку, чтобы как-то отметить встречу.

- У меня есть. Пошли.

В доме на Чистых прудах у Инны была маленькая комнатка, заваленная разной рухлядью, да и сама она была одета небрежно, если не сказать неряшливо. Мы сели за стол, она достала хлеб и какую-то скудную закуску, мы выпили.

- Как ты живешь, Инна?
- Живу, - усмехнулась она. - Жду сорок седьмого, надеюсь, что отпустят мать, срок-то оканчивается. Жить ей в Москве, конечно, не разрешат, придется менять эту комнату за город. Меня это не пугает, я не люблю Москву... Да что обо мне, как ты?

- Я сказал же...
- Я вижу, ты стал выпивать?
- Пить, а не выпивать, - признался я.
- Этого я от тебя не ожидала.
- Что делать? По всем канонам убитым-то должен быть я, а Тая отстаться жить... От чего она умерла, Инна?

- Похоронами занималась Мила, ведь Тая умерла у нее в комнате, за полтора месяца до этого она почему-то переехала жить к Миле.

- Я знаю это. Но почему?
- Я видела Таю за неделю до смерти. Об этом мы не говорили. Наверно, ей было одиноко жить одной. Во время войны многие съезжались, вдвоем-то легче жить и ждать вестей с фронта. Милиного Володю убило в конце войны.

- Понимаешь, Инна, мне не дает покоя, что я не знаю, от чего же умерла Тая?

- Попроси у Милы свидетельство о смерти.
- Она куда-то его задевала, не может найти.
- От тебя долго не было писем, она очень переживала, стала мучиться бессонницей, ну и... приняла слишком много снотворного.
- Вот что... Почему же Мила этого не сказала?

- Не знаю, - пожалала она плечами. - Наверно, побоялась, что ты начнешь себя обвинять, что долго не писал, что виноват... - Я писал часто, но ведь надо понимать, что идет война, и письма могут задерживаться. Такое было не раз в нашей переписке. Господи, какая нелепость. - Я налил себе полный стакан и выпил сразу.

- Наверно, это судьба, - решила утешить меня Инна.
- Какая судьба? Этого же могло не случиться! Это нелепый случай! - я жадно схватил папиросу и глубоко затянулся, так же глубоко, как бывало порой на фронте.

- Успокойся, Коля. Ничего уже не изменишь. Все проходит, пройдет и это горе. Не надо только пить, водка же не поможет. Ты сильный, Коля, ты должен пережить это.

- Скажи, но разве можно ненароком принять столько таблеток, чтоб это привело к смерти?

- Наверно, можно. Когда часто принимаешь, приходится увеличивать дозу, старая уже не действует. Таких случаев сколько угодно... .

- Что-то не верится мне в это... А если?.. - начал я и остановился.
- Что - если?
- Мне пришла в голову глупая мысль, я не буду о ней.

Инна как-то странно посмотрела на меня и, по-моему, догадалась, о чем я подумал. А подумал я о том, что вдруг Тая мне

изменила, ну увлеклась кем-нибудь, а потом... потом не выдержала мук совести и... Да нет, бред это...

- Давай переменяем тему, Коля. Я хочу спросить тебя вот о чем: вы понимали на фронте, что, защищая Россию, вы спасали Сталина и всю его... банду?

- Кто-то понимал, кто-то нет, это не имело значения. Мы защищали Отечество, а не Сталина.

- Но в результате спасли и его.

- Да. Но мы сохранили государство.

- Какое?

- Российское.

- А разве оно есть, Российское государство? И вообще Россия?

- Инна, я, разумеется, понимаю тебя: расстрелян твой отец, в лагере - мать, но, знаешь, по-моему, народ все простил Сталину за победу в войне.

- Что народ? Им вертят, как хотят, обмануть его ничего не стоит. Я никак не могу понять одного: почему интеллигенция оказалась не в состоянии разобраться в этом грандиозном, самом большом за всю историю человечества обмане?

- Ты же разобралась, - успехнулся я.

- А ты?

- Инна, - потянулся я к бутылке, - неужели ты не видишь - мне не до этого. Тебе налить?

- Немного. Напрсно ты думаешь, что тебе не до этого. От этих бандитов зависит судьба каждого из нас, ты не исключение.

- Что ты этим хочешь сказать?

- То, что сказала. С каждым из нас они могут сделать все что угодно и совершенно безнаказанно. Конечно, можно об этом задумываться, тогда все проще, особенно после того, как хлопнешь два стакана водки, вот и станет не "до этого", как ты выразился. Не зря же на каждом шагу сейчас продают водку, - с какой-то брезгливостью в голосе заявила она.

- Ты, наверно, никого не любила, Инна.

- Да. Если не считать двухлетнюю влюбленность в тебя.

- Да ну? Я не знал.

- Я понимаю, что тебе тяжело, но ты же мужчина. И все же уже прошло два года.

- Понимаешь, только по возвращении в Москву я ощутил всю глубину потери. Отсутствие Таи я чувствую постоянно.

- Я все понимаю, Коля... Но я впервые увидела тебя небритым. Надо преодолеть себя, надо...

- Хватит, Инна, - перебил я ее.

Антисоветчина, которую плела Инна в тот день, меня не удивила. Помню, в тридцать седьмом, когда вышла книга Леона Фейхтвангера "Москва 37 года", она с усмешечкой заявила, что автор "Лженерона" либо тупица, либо куплен, иначе не понять, как он не разобрался в

Нероне истинном. Конечно, говорила это она в узком кругу, но, попадись в нем стукач, последовала бы Инка за своей матерью... Но вот мысль, мелькнувшая при разговоре с ней, не давала мне покоя. Я, разумеется, очень верил Тае, однако, три года одиночества что-то значит, могла же не только увлечься, но и полюбить кого-нибудь. Не знаю, может быть, я и простил ей измену, если бы она призналась в ней... Все же мне показалось, что Инна что-то знает, и я должен докопаться до правды...

После нескольких дней бесплодного ожидания на остановке я увидел наконец эту девицу. Мы столкнулись лицом к лицу, и я поздоровался с ней, состроив умильную улыбочку, она ответила небрежным кивком. Однако почудилось мне, что в глазах ее мелькнула радость. В троллейбусе я не стал заговаривать, тем более что она, как и в прошлый раз, уткнулась в книжку. У Павелецкого, где мы вышли вместе, я спросил:

- Вы где-то тут работаете?

- Нет. Но мне два раза в неделю нужно заходить по делам в одну контору.

- То-то я не видел вас так долго. Даже соскучился, - добавил, понимая, что говорю пошловатую банальность.

- Так я и поверила, - пожала она плечами. - Пока...

Я остался на месте и глядел ей вслед... Фигурка у нее ничего, худовата, конечно. Лицо простенькое, мало что говорящее, однако глаза серьезные, линии губ твердые. Взгляды, которые она бросила на меня, - оценивающие, видно, она тоже старается определить, что я за человек... Разглядел я сегодня и книжку, она на английском, что меня малость смутило вначале, хотя что тут странного, и там нужны иностранные языки.

Теперь я знал, по каким дням она ездит к Павелецкому, но я решил эти дни на следующей неделе пропустить, - интересно, как она отреагирует на это. Сей ход, по моей неопытности в общении с женщинами, показался мне очень тонким, однако, при встрече после недельной разлуки мое приветствие не вызвало блеска радости в ее глазах, - она лишь кивнула мне, даже не улыбнувшись. В троллейбусе меня опять прижало к ней, но я, опершись на спинку виденья, целомудренно отодвинулся от нее. Наверно, поначалу мне нужно изображать вполне платоническую влюбленность... У Павелецкого, когда мы вместе сошли, я сказал:

- У меня есть немного времени. Разрешите проводить вас?

Немного подумав, она разрешила. Я поблагодарил и спросил ее имя.

- Галя...

- Николай. Нужны анкетные данные?

- Да нет.

- Все же скажу: фронтовик, капитан запаса, командовал ротой пешей разведки, недавно демобилизован. Достаточно?

- Вполне, - улыбнулась она.
- Все же добавлю: перед войной закончил Бауманский.
- И разумеется, холостой? - скривила губки в усмешке.
- Да, к сожалению.
- Почему к сожалению?
- После войны, знаете ли, лучше возвращаться в дом, где есть женщина, чем в одинокую холостяцкую комнату. Мы же на фронте истосковались по ним...

- Да ну? А куда же вы дели свою фронтовую подругу? или, как их там называли, "ппж"? - уже явно насмешливо спросила она.

Сказать правду, что у меня не было никого, - не поверит, пришлось соврать:

- Она погибла в конце войны, - заставил дрогнуть я свой голос.
- Ой, какая трогательная история! И многим вы ее рассказываете?
- Я привык, что мне верят, - решил я обидеться.
- Ладно уж. Но таких сопливых историй я слышала не менее десятка. Вас, мужчин, сейчас мало, вот вы и думаете, что мы все дуры и готовы клюнуть на любую наживку. Я не из таких, между прочим.

- Я вижу... Быть может, нам стоит сходить куда-нибудь вечером, посидеть, поговорить, познакомиться поближе? Тогда вы будете верить мне.

- Мне трудно выбрать вечерок. Я же еще и в институте занимаюсь, в заочном.

- У вас есть телефон?

- Да. Записывайте. Только меня нелегко застать дома.

- Попробую.

- Валяйте, - небрежно кинула она.

Это "валяйте" немного резануло мой слух, но номер я записал с радостью - еще один шагок сделан. Девушка, видать, себе на уме, недоверчива, но, однако, все же одинока, как и многие женщины послевоенного времени, иначе вряд ли дала бы телефон...

Несмотря на мое предположение, что она работает в органах - мне лучше бы знать это наверняка, - в один из дней, когда она не ездила на Павелецкий, я решил побродить возле дома на Лубянке. Точнее, просто постоять у остановки троллейбуса номер два, на котором она должна добираться сюда. От ее дома два пути: либо она добиралась по Садовой до Колхозной и там садилась на двойку, либо доходила пешком до Никитских ворот и оттуда доезжала до Сретенских, где и садилась на ту же двойку. Стоять долго на этой остановке небезопасно, да и был риск наткнуться на Галю при выходе из троллейбуса, поэтому я не стал больше там появляться. Да и совсем не обязательно она должна работать в главном здании. Сие учреждение раскинуто и по районам, да есть, наверное, много мест без всяких вывесок...

Перед тем как позвонить "этой девушке" - я продолжал ее так называть, - я раздумывал, куда ее пригласить. Подозревал я, что в каждом крупном ресторане всегда находятся мальчишки из МУРА и из

органов, поэтому-то лучше пригласить ее в какое-нибудь кафе. Но когда мы с ней созвонились и встретились у Телеграфа, на мое предложение зайти в кафе-мороженое, находящееся почти напротив, она выпала без всякого смущения:

- Нет уж, извините, но я хочу есть.

- Да-да, конечно... я как-то не подумал, - пробормотал я.

- Сытый голодного не разумеет, - улыбнулась она. - Пойдемте в кафе "Националь", если у вас есть деньги, конечно.

Я немного разозлился на последние слова, но не подал виду: ладно, милочка, разрешим вам пока командовать, а дальше видно будет...

Когда мы уселись и сделали заказ официанту, я сказал:

- Вы простите, что я сразу не предложил вам поужинать.

- Ладно уж... Я действительно голодна до чертиков. А почему вы не послали меня куда-нибудь, когда я спросила насчет денег?

- За что? Вы меня умилили своей непосредственностью, - улыбнулся я.

- Вот уж не хотела. Что-то непохоже, что вы служили в разведке. Слишком вы мягкий, если не сказать больше.

- Скажите.

- Когда-нибудь... Сейчас неудобно, вы же меня угощаете.

- Вижу, вы хотите меня разозлить. Не выйдет, Галочка, вы же мне нравитесь.

- Не врите. И не называйте меня Галочкой. Не терплю слащавости. Да и не подходят ко мне уменьшительные. По характеру - не подходят, - объяснила она.

- Хорошо, Галя.

Официант принес заказ и пока устанавливал на столе вино и тарелки с закуской, я вспомнил, что кто-то мне говорил: лучший способ узнать человека - это разозлить его. Видно, она действует по этой методе. Что ж, валяйте, милая. Тем временем официант разлил вино и отошел.

- За что выпьем? - спросила она, протянув руку к бокалу.

- Всю войну пили за победу, а теперь... наверно, за встречу и за продолжение нашего знакомства. Честное слово, я очень рад, что встретил вас, Галя.

- Как бы не пожалели об этом, - заметила она с легкой улыбкой.

- Ну зачем вы так? Как я могу пожалеть о знакомстве с вами. Мне так хорошо сейчас.

- Опять заливаете. Ну чего хорошего? Сидите с плохо одетой девицей с заурядной мордашкой, у которой, кстати, дрянной характер...

- Ну что вы о себе выдумываете? Зачем?

- Ладно, хватит обо мне. Расскажите о себе. Судя по наградам, вы, видать, неплохо воевали?

- Да, неплохо. Но я не люблю говорить о войне.

- Странно. Все мои знакомые, кто воевал, всегда расписывали свои подвиги. По-моему, хвастовство свойственно мужчинам.

- Думаю, не всем.

- Вам, конечно, это не свойственно... А почему, между прочим, вы не заказали водки? Впервые вижу фронтовика, который предпочитает красное беленькой, - в упор посмотрела она на меня.

Что это, первый прокол с моей стороны? Наверно. Не скажешь же ей, что после дикого двухмесячного пьянства я боюсь сейчас прикасаться к водке. Я и вина-то отпил лишь глоток. Конечно, это показалось ей странным.

- Знаете, Галя, я и на фронте не пил водку, хотя у нас в разведке ее всегда было много, - спокойно ответил я.

- Выходит, вы еще и непьющий! Холостой и непьющий! Мечта всех женщин, - она засмеялась. - Что-то вы уж больно хороший: и в троллейбусе старались ко мне не прижиматься, и не обидчивый, а теперь вот и непьющий. Откуда вы такой... с крылышками? Откуда?

Действительно, откуда, подумал я? Но я же не переигрывал, я вроде бы такой и есть: не пил на фронте до смерти Таи, не бабник, и вот оказался "больно хорошим".

- Ну, насчет "крылышек" вы переборщили, нет их у меня, как и у вас, наверное, а вообще-то я... не очень плохой, - выжал я улыбку.

- Тогда, знаете что, закажите мне немного водки. Под горячее, - заявила она, поглядев на меня смеющимися глазами.

- Сейчас, - поднялся и пошел разыскивать официанта.

Да, думал я, не хватает мне опыта, пока не выходит у меня раскусить эту девицу. Она ведет, конечно, какую-то свою женскую игру, но какую?.. Официант принес графинчик водки, налил ей рюмку, она попыталась по-мужскому, в один прием ее выпить, но поперхнулась и закашляла. Я понял, что водку она пила редко и пить не умеет, а вот для чего попросила заказать - неясно. Тут заиграл небольшой оркестрик, со столиков поднялись пары и пошли танцевать, и я пригласил Галю. Она охотно согласилась.

Еще с юности я полагал, что женщину должно обижать нескрываемое мужское желание, а потому танцевал целомудренно, стараясь не очень-то прижимать ее к себе, однако, к моему удивлению, она сама прильнула ко мне, и ничего не оставалось, как приобнять ее покрепче. Когда в танце мы пропихивались мимо одного столика, сидящий за ним молодой мужчина небрежно бросил:

- Привет, Галчонок!

- Она повернула к нему голову, кивнула, но ничего не ответила.

Когда мы вернулись к столику, он подошел к нам.

- Как поживаешь, дорогая? Что-то давно тебя не видал.

- Нормально... Ты один?

- Да. Потому и подошел. Может, разрешите к вам присоединиться, а то скучно. Вы не возражаете? - обратился он ко мне.

- Пожалуйста, присаживайтесь.

- Айн момент, только принесу со своего столика кое-что.

Пока он ходил к своему столику, Галя спросила:

- Вы действительно не против? Это один мой знакомый.

- Я даже рад.

- Ну вот, - принес вино и закуски Галин знакомый. - Сейчасты нас, Галчонок, познакомишь, ну и махнем по-фронтовому. Дай-ка мне бокальчики, непривычен я к рюмочкам, - и он разлил водку.

- Ну, за знакомство. Меня звать Виктор, - сделал он ударение на последнем слого.

Я представился тоже... Ничего не поделаешь, придется пить водку. Я не боялся опьянеть, боялся утреннего противного состояния, которое появилось у меня в последнее время.

- Давай, Николай, за тех, кто не вернулся с войны. Помнишь, на фронте: первый тост за победу, второй за погибших?

Я кивнул. На поднятой с бокалом руке Виктора открылась манжета рубашки, и на меня блеснула крупная золотая запонка. Потом уже на левой его руке я увидел большие золотые часы. Трофейное, наверно, подумал я, поморщившись, - не любил я мародеров.

- Давно демобилизовался? - спросил Виктор. - Извини, что я по-фронтовому, на "ты".

- Этим летом, - не стал уточнять я.

- Устроился куда-нибудь?

- Пока нет. Передохнуть малость надо, я ведь после ранения.

- Понятно. А специальность какая?

- Инженер.

- Ого, высшее, значит, имеешь... Выходит, либо на завод, либо в проектное бюро?

- Да.

- А воевал кем?

- Разведротой командовал.

- Разведка - дело сурьезное. Много языков за войну добыл? - хлопнул он меня по плечу.

- Порядочно.

- Вот что, Колюха. Если будут какие трудности с работой - звони мне, помогу. Вот мой телефончик домашний, - он вынул из бокового кармана блокнот, ручку и записал номер. - Понимаешь, есть у меня возможности на хорошую работенку тебя устроить.

- Спасибо, Виктор, если что - позвону, - сказал я, а сам думал, случайно ли оказался тут этот Виктор или подстроила Галя эту встречу, - она же сразу предложила "Националь".

Тут снова заиграл оркестрик, и Виктор послал нас танцевать:

- Идите, голуби, вы ведь танцевать пришли. Идите.

Танцую, я раздумывал, я для чего подстроена эта встреча, что она тому же Виктору даст, что значит его предложение помочь с работой, не хотят ли они предложить мне работенку у них? И я спросил Галю:

- Виктор ваш сослуживец?

- Нет, - ответила она без заминки. - Меня подруга с ним познакомила.

Когда мы вернулись к столику, Виктор встретил нас восторженными словами:

- Прекрасно танцевали, голуби. Хорошая из вас пара, любовался... Ну, хлопнем еще по одной, а потом я вас покину. Дела... - Он умело, не пролив ни капли, разлил водку, мы чокнулись, выпили, после чего он поднялся и легкой, упругой походкой пошел к выходу, бросив мне напоследок: - Не теряйся, Коля, - и подмигнул.

- Очень жизнерадостный парень, этот ваш Виктор, - заметил я.

- Он не мой, я же говорила...

- И куда же он меня хочет устроить? Не знаете?

- Не знаю.

Пока я раздумывал, о чем мне вести разговор - увы, не было у меня практики легкого трепачества - к столику подошел какой-то мужчина и установился на меня, будто что-то припоминая. Я тоже не сразу узнал его, он постарел, лицо было припухшим. Я поднялся, это был Юрий Олеша.

- Вы меня узнали? - спросил он.

- Конечно, Юрий Карлович. А вот как вы меня вспомнили?

- Где-то мы виделись, а вот где, не помню.

- Здесь же, в "Национале", до войны...

- Да, да... Вы пригласили меня в свою компанию. В то время меня все знали, а вот за войну подзабыли, я мало пишу в последнее время.

- Присаживайтесь, Юрий Карлович. - Я понял, почему он остановился около меня. - Галя, познакомься, это писатель Юрий Олеша.

Она немного растерялась и робко подала ему руку, а когда Олеша приложился к ручке, то смущенно покраснела. Я налил ему водки, положил закуску, потом спросил, не заказать ли ему коньячку?

- Спасибо, не надо. - Олеша взял бокал и медленно, небольшими глотками выпил.

- Что сейчас пишете, Юрий Карлович?

- Трудно сейчас писать... Кое-что царапаю, мысли свои всякие. Может, что получится... - Говорив это, он смотрел в глубину зала, в сторону дверей, видимо кого-то поджидал. И верно, увидев какого-то мужчину, он встал, поблагодарил и пошел навстречу вошедшему.

- И многих писателей вы знаете? - спросила Галя.

- Нет... Вы не жалеете, что пошли со мной сюда?

- Жалею? Да я вообще в ресторане всего второй раз! - воскликнула она.

- Тогда я счастлив, что смог доставить вам это удовольствие, - ляпнул я, сразу поняв, как примет она сию галантность. И не ошибся.

- Бог ты мой, даже счастливы! Не надо дурить мне голову разными красивыми словами. Ну сказали бы - рад, а то...

- Почему вы не верите в мою искренность?

- А почему я должна верить? - вполне резонно ответила она.

Мне нечего было ответить, я пожал плечами и пригласил ее танцевать...

Из "Националя" мы пошли пешком... Я держал ее под руку и решал по дороге, стоит ли поцеловать ее при прощании или воздер-

жаться. Мне было очень нужно, чтоб она пригласила меня к себе, но я пока тоже не знал, принять ли ее предложение (если оно будет) или нет? В какую-то минуту мне стала претить эта игра, не привычен я бил хитрить и обдумывать каждый шаг, каждое слово.

Когда мы дошли до ее дома, я поблагодарил ее за вечер и хотел открыть дверь подъезда, но она воспротивилась:

- Не надо. Простимся здесь.

- А вы не хотите пригласить меня выпить чаю?

- Не хочу, - сказала она, смягчив потом свой резкий отказ. - Ко мне нельзя, соседи. Да и чаю у меня нет.

- У меня есть. И к чаю кое-что. Поедемте ко мне тогда?

- С чего это я к вам поеду? До свиданья, - взялась она за ручку двери.

- Когда же встретимся, Галя?

- Звоните. Ну, пока... - Она вошла в подъезд, и я услышал стук ее каблучков на лестнице.

Я медленно пошел от этого дома, и впервые навалилась на меня мысль, что домик сей может оказаться последней реальностью в моей жизни. Однако за четыре года войны такая мысль приходила в голову каждый раз перед поиском: вот это поле, чернеющие избы деревни, освещаемое ракетами небо - все это могло быть последним, что вижу и ощущаю. И я привык к этому и научился подавлять эту смертную маету. Постарался придавить и сейчас, но не получалось. И я предчувствовал, что станет еще хуже, когда вернусь в свою команду... Я шел бульварами и, дойдя до Петровских ворот, решил позвонить Инне. Трубку взяла она.

- Не спишь?

- Это ты, Николай? Нет, вожусь на кухне.

- Можно к тебе на минутку?

- Приходи.

- Что-нибудь случилось? - встретила она меня встревоженным вопросом.

- Прости, что приперся почти ночью. Тоскливо что-то стало.

- Ну, у меня тебе тоску не развеять, - усмехнулась она. Сегодня вот получила письмо от матери. Пишет, что нет никакой надежды, что по окончании срока освободят. Она больна и надеется лишь на активирование по болезни... Боже, сколько народу мучается, и вроде бы все так и надо. Ты вот сказал недавно, что народ все простил Сталину за победу, но разве Сталин победил? Это мужик русский победил, забыв обо всем. Разве не так?

- Так, - согласился я, разделяя полностью в этом ее мнение.

- Хоть здесь ты согласен со мной. А то же твердят все: без Сталина не победили бы. Глупость, бред! Знаешь, как мне трудно держать все в себе и ощущать себя зрячей среди слепых. Понимаешь? - Она приблизилась ко мне и отшатнулась вдруг. - От тебя пахнет водкой! Ты что, снова стал пить?

- Нет, Инна. Сегодня пришлось выпить для... дела.

- Для какого дела? - она достала из пачки папиросу и нервно затянулась. - Я думала, ты мужчина.

- Правда, для дела, Инна. Устраиваюсь на работу, встретился с одним человеком в ресторане, ну и...

Не знаю, поверила ли мне она, но больше не стала спрашивать. Я смотрел на ее красивые, но неухоженные руки. Она не очень-то следила за собой и к моему приходу не переоделась, а встретила меня в каком-то замызганном халатике. Неожиданно для себя я спросил ее:

- У тебя есть кто-нибудь?

- Чего ты заинтересовался? Конечно, никого нет. И не будет, наверно. Мне уже тридцать три, а чувствую я себя много старше.

- Почему не будет? Ты же интересная и умная...

- Добавь - и стервь порядочная, - хмыкнула она. - Откровенно говоря, мне никто не нужен, Николай... Вот если вернется мама, сменяем комнату, переедем куда-нибудь за сотый километр, начну преподавать в школе русский язык, тогда, может, найдется какой-нибудь холостяк-учитель и возьмет меня замуж. А пока... -она махнула рукой. - Слушай, а тебя никто не обрабатывает?

- Никто.

- А соседка твоя, художница, Владлена эта, не пытается положить на себя?

- Откровенных поползновений не было, - улыбнулся я.

- Начнешь работать, там быстро охомутают.

На мой протестующий жест Инна продолжила:

- Не зарекайся. Я, впрочем, хочу, чтоб ты скорей начал работать, - будешь среди людей, станет легче.

Порой на такие разговоры мне хотелось бросить Инне, что никакого будущего у меня нет, и нечего делать какие-то глупые предположения, но она же не должна ничего знать. Иногда я ловил на себе ее вопрошающие взгляды, однако она не решалась спросить, да это и понятно, ей страшно об этом спрашивать. Она не понимала, что, рассказав мне правду, она ввергла меня в кошмар, из которого только два выхода - или постараться забыть, либо начать действовать... Я, конечно, вырвал у нее признание, но могла бы и не сказать, не нож же к горлу приставил, однако сказала же...

- Скажи, Николай, немцев ты очень ненавидел на войне? - прервала мои размышления Инна.

- К чему ты это? - удивился я.

- Так. Давно хотела спросить.

- Тебе покажется странным, если отвечу, что нет?

- Быть может, ты вообще не умеешь ненавидеть? Есть такие люди.

- Не знаю. А насчет немцев: я же понимал, не добровольцы они, а мобилизованы, приняли присягу, ну и не все были фашистами.

- А могли они победить?

- Нет, не могли.

- А я, признаюсь тебе, в октябре сорок первого ждала их. Не пугайся. Ждала и надеялась, что они уничтожат Сталина и его банду. И не одна я ждала. Помнишь Сергея из нашего класса?

- Конечно.

- У него тоже были посажены родители. Так вот он пришел ко мне в дни октябрьской паники, показал наган и сказал, что будет расстреливать энкавэдэшников, как только немцы войдут в Москву. И мне обещал достать пистолет.

- Интересно... И ты бы расстреливала? - я посмотрел на нее.

- Тогда - да. Тогда я еще думала, что мои родители безвинны. Что ты так смотришь? Я вот такая, я умела ненавидеть.

- А теперь?

- Теперь? Я устала жить в постоянной ненависти и поняла, что, ненавидя их, становишься такой, как и они.

- Простила?

- Нет! И нет! Просто ненависть перешла в презрение. Ты увидишь сам, ненависть все же проходит со временем.

В общем-то, мне было более или менее ясно, для чего Инна все это наговорила... Мы допили чай, которым меня она угощала, и я поднялся...

- Для чего все-таки приходил, Николай? - теперь она сверлила меня взглядом.

- Тоскливо стало... Я же говорил.

- Увы, боюсь, лучше тебе не стало. Надо было тебе к Миле, она умеет утешать... Как ты будешь добираться до дома? Если хочешь, можешь остаться, я постелю тебе на полу, - предложила она каким-то стесненным голосом, опасаясь, видно, что я приму ее слова как-то не так.

Я сразу согласился, неохота было переть до дому пешком. После того как мы расположились, - я на полу, она на кушетке, - мы еще долго о чем-то говорили и курили... Последней фразой, которую я услышал, уже засыпая, была:

- Я очень долго и мучительно шла к пониманию того, что мои родители не безвинны, они же участвовали, они же затеяли все это, они звали мужика к топору, вот этот топор и...

Я ушел от Инны очень рано, она еще спала, не проснулись и соседи. На бульваре, над прудом, стоял легкий предутренний туман. Шел я не торопясь, прогулочным шагом, радуясь, что, несмотря на выпитое в "Национале", у меня ясная голова и нормальное самочувствие... Теперь мне нужна еще одна встреча с "этой девицей", чтоб узнать точно, в какой квартире этого дома она живет. Если окна ее комнаты не выходят на Малую Никитскую, нечего мне с ней валандаться. Если же выходят, то можно считать, что если не половина, то треть дела сделана. Тогда я поеду в Кувшиново, к своему бывшему разведчику и другу, к Ивану Кучумову, от которого недавно получил короткое письмишко с приглашением приехать поохотиться в тверских лесах, где он сейчас вроде за хозяина - лесничим. У Ивана я, наверно, раздобуду то, что мне нужно.

Дойдя бульварами до Трубной и посмотрев на часы, я подумал, не пройтись ли мне утречком мимо Галининого дома, мелькнет, может,

в каком-нибудь из окошек ее физиономия, и тогда не нужна мне будет заготовленная давно фразочка: покажите, милая, свое окошечко, чтобы знать, около какого петь серенады... Но эта шуточка сможет настрожить ее, а тогда все зазря...

Проходить мимо особняка прогулочным шагом, тем более в такое раннее время, когда мало прохожих, было нельзя, а потому прошел я быстрой деловой походкой, скосив лишь глаза влево на Галинин дом. И вот в одном из окошек на третьем этаже увидел я вроде бы ее - она открывала форточку. Говорю "вроде бы", потому что это были какие-то секунды - она сразу же исчезла, однако от радости у меня даже перехватило дыхание - окошко-то находилось почти напротив ворот особняка. Такого везения я просто не ожидал. Задуманное обрелало реальность. Завтра же я поеду в Кувшиново, к Ивану...

В Кувшиново я поехал в военной форме, без погон, конечно, но при ремнях и португее. Напротив меня в вагоне оказался молодой паренек с интеллигентным лицом, без левой руки. Он был в штатском, но обут в солдатские кирзачки. Разумеется, мы разговорились.

- В Кувшиново я топал с передовой четыре дня в сорок втором. Решил вот пройти этот путь обратно и поблагодарить всех деревенских женщин, которые давали мне ночлег и делились картохой, а то и хлебушком. Без них подход бы с голоду, - слказал инвалид.

- Благодарно, - заметил я. *

- Может и так, только нечем мне их отблагодарить. Пенсия моя триста пятьдесят, лишь карточки отovarить, ну а коммерческие не по зубам. Вот за сахар выдавали какие-то конфетки, взял, ну а больше нечего.

Мне стало неловко, я-то вез две бутылки водки, копченую колбасу и даже рыбку соленую на закуску. Я тут же вытащил из вещмешка бутылку, хлеб и колбасу.

- Богато живете, командир, - усмехнулся паренек.

- Пока кое-какие деньжата остались, вот и прихватил из коммерческого, еду-то к однополчанину, надо же отметить встречу. Кружка найдется?

- А как же без нее старому солдату?

- Уж и старый, - улыбнулся я.

- По летам я младше вас, но протрубил от звонка до звонка. И в пехоте-матушке. Вы-то, наверно, в артиллерии служили?

- Тоже в пехоте, но в разведке.

- В разведке неплохо, хоть сыты и пьяны были.

- На это не жаловались.

- А мы, почитай, до конца сорок четвертого все время полуголодали, то нету продуктов, то не подвезли вовремя, то от тылов далеко отошли. Ну а в сорок втором, подо Ржевом настоящая голодуха была. Вот приду на бывшую передовую, помяну своих ребят, много их там полегло. Под одной деревенькой почти всю дивизию уложили. Была такая, 220-я, рожки да ножки остались.

- А есть чем помянуть-то? - спросил я, решив, что ежели нечем, отдать ему бутылку, авось у Ивана найдется что-нибудь.

- Есть, - улыбнулся инвалид. - Пайковую водку везу, уговорил мать не продавать.

Я разлил по полкружке, отрезал колбасы, хлеба, и мы выпили. После чего паренек спросил:

- Ну и что вы, командир, о прошедшей войне думаете? За что боролись, на то и напоролись? Жизнь-то хреновая получилась. А мечтали: окончится война, и счастье начнем хлебать полной ложкой. Ан нет... А я вот в сорок втором, на передовой, стишки сочинил. Прочитать?

- Прочитайте.

- Деревни бедные - чужие и родные...

Мы не родились здесь, пришли вас только брать.

Вы - русские, мы - тоже. И отныне

Своею родиною будем вас считать.

...Не знал еще, что месяц целый

Деревни эти будем страшно брать.

Без подготовки артобстрелом,

С одним "ура" лишь оголтелым

По полю этому бежать.

Не станет ни взводов, ни роты, -

Лишь горстка чудом выживших ребят...

И в наступление последнее пехота

Ходила молча... Только двадцать пять.

Лишь двадцать пять, лишь двадцать пять

Полуребят, полумужчин,

И в наступление опять -

На сотни пуль, на сотни мин,

На шквал огня, на муки смерти -

В деревню ту, что батальон не взял...

Какою мерою измерить

Отчаянья нашего и мужества накал?

Голос паренька дрожал, я видел, все это пережитое, и мне тоже вспомнились передовые, нейтралки, по которым ползали, на которых обстреливали, где и оставались навсегда мои разведчики.

- Хорошо, - сказал я искренно.

Паренек улыбнулся:

- Вчера я нашел эти стихи, перечитал, они же длинные, я вам только малую часть прочел, ну и накропал еще: "Деревни русские - чужие и родные! Я через много лет иду вас брать опять. Вы снились мне - в пожарище и дыме - Деревни те, что не смогли мы взять. Мы брали вас раз двадцать и... не взяли... Деревни русские, какие вы сейчас? Засеяно ли поле, где ничком лежали? И где остались многие из нас?.." Вообще-то интересно, что увижу. Целы эти деревушки, живет ли кто?.. Знаете, какое-то странное чувство, - словно еду на встречу с любимой... Глупо, конечно, но, честное слово, очень похожие чувства.

- Я понимаю вас... Война в нас долго сидеть будет.

- Понимаете? - обрадовался паренек. - А мать вот не поняла: зачем тебе ехать, охота в кошмар возвратиться... Между прочим, я там, на передке, немецкий "вальтер" закопал, найду ли только?

- Если найдете, зачем он вам?

- Память. Чуть-чуть меня фриц им не застрелил. Как-то мне удалось опередить.

Я подумал, что боевой пистолет не будет мне лишним, я же привез малютку "браунинг" калибра 6,35, пукалка, а не пистолет.

Я разлил водку, мы выпили по второму разу, и я сказал:

- У меня друг один очень сожалеет, что сдал пистолет перед демобилизацией. Если найдете, может, продадите ему. Думаю, тысячи три он даст.

- Надо еще найти. А вообще-то, я подумаю. Мы с мамой очень плохо живем, зарплата у нее маленькая, у меня профессии никакой, с десятилетки же на фронт пошел...

- Тогда запишите мой телефон. Если что - звякните.

- Давайте. Друг-то ваш человек порядочный?

- Не сомневайтесь.

Мы помолчали немного, а потом я вдруг, совершенно неожиданно для себя, сказал:

- Да, у вас после войны одно плохо, у меня, к примеру, - другое. Пока я воевал, жена в Москве погибла.

- Как погибла? При бомбежке?

- Нет, не при бомбежке... - Я плеснул остатки водки в кружку и протянул ему.

- Спасибо. Я понял, вы хотите помянуть ее?

Я кивнул головой. Паренек выпил, потом я налил себе.

Почему я решил помянуть Таю с этим бывшим солдатом - сам не знаю. Может, потому, что был тот именно солдатом, каким был и я сам, несмотря на капитанское звание. Я ведь до последних дней войны ходил сам в поиск с тремя, а то и с двумя ребятами, считая, чем меньше людей, тем результативней.

Паренька тем временем сморила, видно, выпитая на голодный желудок водка, и он задремал, порой вздрагивая и открывая глаза. Я смотрел на бывшего фронтовика и думал о том, что, когда десятки миллионов людей в муках отдавали свою жизнь за отечество, в тыловой Москве, взбесившаяся с жиру сволочь творила такое, за что каждый честный человек должен был, не задумываясь, пристрелить на месте. Нет, не только за себя я буду мстить, а за всех... И понимание этого не только укрепило во мне решимость, но возвысило задуманное мною.

В Кувшинове мы слезали вместе; при прощании я спросил, как его звать и назвал свое имя, добавив, что жду его звонка в Москве. После этого он перешел железную дорогу, а я отправился искать нужную мне улицу. Кувшиново, как я и представлял, оказалось большой деревней, каменных и многоэтажных домов было мало. Ну

и, конечно, обветшала малолюдная станция, без буфетов и пристанционного базарчика. По дороге к Ивану Кучумову, с которым добыл около десятка "языков", я вспомнил, как удивил меня поначалу этот здоровый, почти двухметрового роста парень, хвативший лиха в немецком плену, тем, что лишь при крайней необходимости убивал лишних немцев при захвате "языков". Однажды я спросил его: "Ты что, жалеешь фрицев?"

"Люди же все-таки... Зачем на душу лишний грех брать, когда можно обойтись. Да, люди, причем подневольные и обманутые. Им же Гитлер внушил, что они ведут превентивную войну, что если не начнут первыми в июне, то Сталин начнет в августе. Говорили мне фрицы об этом. К тому же чаще всего убивают со страху, а я фрицев не боюсь".

Так и поступал Иван, предпочитая оглушить немца ударом кулака, вместо того чтоб прирезать кинжалом. "Минут двадцать тихенький будет и не шелохнется, не беспокойтесь, командир", - говорил он, бывало, после того, как свалит ударом немца...

Дома его не оказалось, прошел я на огород и там увидел Ивана, подкапывавшего картошку. Сердце дрогнуло, столько же пережито нами вместе! Вот уж на кого я мог надеяться, как на себя, вот в ком был уверен абсолютно и знал наверняка, что он-то никогда не оставит меня на поле боя не только раненым, но и мертвым. Дотащит и похоронит с честью. Сдавило горло, и я хриплым голосом его окликнул. Он выпрямился, повернулся на голос и замер на время, а потом бросился ко мне.

- Коля, командир, ты ли?! Вот уж не ждал. Вспомнил, значит? Ну, спасибо большое.

Обнялись мы, расцеловались, расчувствовались, даже глаза замокрели... Черт побери, была настоящая, фронтовая дружба, была! И хотя только год не виделись, но встреча оказалась трогательной, волнующей и его и меня... Быстро накрыл Иван стол, выставил на закуску разную зелень - огурцов солененьких, помидоров, картошку, варенную в мундире, лучка зеленого, ну и грибков соленых. Я вынул из вещмешка водку, сказав, что вез две бутылки, да одну в вагоне распил с одним бывшим фронтовиком, инвалидом. На что Иван весело сказал, что этого добра у него найдется, самогон, правда, ведь одной бутылкой не обойдешься при такой встрече нежданной.

Поначалу выпили, разумеется, за ребят погибших, не доживших до победы, затем стали вспоминать живых и свое житье-бытье фронтовое, всяческие случаи необыкновенные из нашей разведческой жизни... Только к вечеру я, как бы между прочим, заикнулся о главном, потому что Толя, мой попугчик, то ли найдет свой пистолет, то ли нет...

- Ваня, знаю я, был ты любителем оружия. Не привез ли какую пистоль с фронта?

- Имеется, Коля. Как же без пистолетика, я ведь писал тебе, в лесничии подался - двухстволка на плече, а в кармане пистоль. Иначе нельзя, ведь до сих пор дезертиры в лесах скрываются.

- Неужто еще скрываются?

- Конечно. Многие в амнистию не поверили, вот и живут волками. Мародерствуют для пропитания. Я все время натываюсь на останки лосей. А тебе что, пистолетик требуется?

- Знаешь, привык же. Как-то себя не так чувствуешь. Но раз тебе необходима эта штука...

- Да, нужна... Но я подумаю, есть у ребят кое у кого, есть... Может, и достанем. А завтра на охоту пойдем, ружьишко второе у меня есть, что-нибудь да подстрелим из птицы. У меня всегда в погребке НЗ бывало, но вот к твоему приезду, увы, не осталось. Ты бы мне открыточку прислал, я приготовил бы тогда. В Москве-то со жратвой плохо?

- В коммерческих всего полно, но цены... Пока фронтовые деньжата есть - не голодаю, а так вообще плохо, конечно.

- Меня ноги кормят, без мяса не бываю. Ты, кстати, Коля, ходить не разучился? Если нет, то в километрах тридцати отсюда попалось мне на глаза одно место замаскированное, подозреваю, не склад ли военный. Мне тогда некогда было возиться, сход искать, но дорогу запомнил... Понимаешь, пистолет-то я тебе найду и тут, но наверняка растрелят - приезжал вот к Кучумову, пистолет купил, ну а люди, знаешь какие, тут каждую шплетню раздуют. Так что махнем завтра рано утречком туда. Может, по дороге и машина какая подвезет, ежели нет - переночуем в лесу и послезавтра обратно. Бывало, в ночь и по сорок верст шлепали, а тут в два захода шестидесят. Ерунда для нас.

- Конечно, ерунда, - согласился я.

Конечно, лучше своим видом глаза жителям Кувшинова не мозолить, а то вдруг выйдут на Ивана после того, как я... Я ведь и к Инне почти не стал заходить, по телефону договоримся и на улице встретимся. Ну и никому из знакомых даже не звоню по тем же соображениям.

Поднялись мы рано, быстренько перекусили, взяли ружья и отправились на шоссе, идущую к Селижарову. Иван сказал, что, может, до Новоселок на какой-нибудь попутке доберемся, а от них до того места уже недалече. Нам повезло, на первой же машине и поехали. Забрались в кузов, и поплыли перед глазами русские поля и перелески, и начался снова у нас с Иваном разговор... Иван стал рассказывать о том, о чем не говорил мне на фронте, о том, как попал в окружение под Вязьмой, как выбирался с другом из окружения, как попал в плен, как бежал, как снова угодил к немцам и опять совершил побег, как пробился поближе к родным местам и нашел приют в одной деревне, взяла одна бабенка в примачки, и как продал его немцам свой же, тоже окруженец, продал за кусок мяса, и попал он после этого в Ржевский лагерь военнопленных, из которого через несколько дней - если остаться, не выжить было - тоже бежал... В общем, целая приключенческая повесть могла бы получиться из его рассказа...

- Помнишь особиста нашего? - спросил Иван.
- Как не помнить.
- Ох, как крутился он около меня, только хрен чего добился.
- Он и меня о тебе спрашивал: почему, дескать, такой боевой разведчик Кучумов немцев не пришивает, а только оглушает ударом, что за гуманизм такой?
- Ну и что ты ему ответил, командир?
- Сказал, если он думает, что очень большое удовольствие человека ножичком продырявить, то ошибается. "Не пробовал", - ответил он. "А ты попробуй, сходи с нами в поиск". Он - в ответ: "Просился я, не разрешило начальство". А я ему: "А ты без разрешения валяй". - "Не могу, не та у нас контора", - ответил он.
- Брехал, сука. Помнишь, он у нас пистолетики дамские выпрашивал, дарил тыловым блядам, хвастаясь, что сам добыл. Говорила мне Валька-связистка. Помнишь ее?
- Я-то думал, он к нам ходит, чтобы выпить на доровщинку.
- Нюхать он приходил, нюхать... У нас же Петька тоже в плену побывал, ну и вообще, Коля, эта сволота просто так ничего не делает, все с прицелом... Знаешь, ежели и было в войне что-то хорошее, так это фронтовое братство. Какие ребята были, ну и тебе комплимент скажу: хороший ты был командир, Коля, очень хороший и умный. Людей берег, ведь потерь у нас немного было, потому как с умом работали, зазря в пекло не лезли. Один только, помнишь, цыган этот, Яшка, хитрован был, так я его и не раскусил до конца.
- А что его раскусывать? Из уголовников же. Правда, не трус был, но всегда при себе какую-то цель держал, - заметил я.
- Ему награда хотелось побольше получить, это я усек... Но в общем-то, ребята были как на подбор. Раскидала теперь судьба нас по разным углам, а не худо бы списаться, да собраться, устроить мировой сабантуй денька на три.
- Да, неплохо было бы, - согласился я, подумав, что мне-то никогда больше не повидать своих разведчиков. Никогда...
- Так, с разговорами и воспоминаниями о недавнем прошлом доехали мы до Новоселок, небольшой деревеньки, и тронулись налево, вдоль то ли ручья, то ли махонькой речушки.
- Может, сегодня и домой вернемся, - сказал Иван. - Отсюда километров около восьми всего.
- Склад-то немецкий или наш?
- А черт его знает, - ответил Иван и снял ружье с плеча. - Ты тоже будь наготове, тетерев может попасться.
- Тетерва нам не попалося, но часа через полтора мы добрались до небольшого холмика, заросшего травой, на который обычный взгляд мог бы и не обратить внимания, но разведческий глаз Ивана ухватил, видимо, что холмик этот не просто бугорок на местности. Он срубил тонориком орешину, заострил конец и стал прокалывать им землю сокрут холмика.
- Тут, - сказал он. - Уперся во что-то наш шупп самодельный. Надо раскопать это место, - и достал малую саперную лопатку.

Копать пришлось порядком, пока не докопались до массивной двери, которую было не открыть, пришлось рубить в ней лаз. Когда он был готов, Иван просунул руку, пошарил, нет ли какой проволоки, потом сунул туда голову, просветив темноту фонариком (все у него оказалось приготовлено).

- Вроде не заминировано. Найди, Коля, камень какой-нибудь, надо бросить, если пехотная какая лежит - взорвется.

После нескольких минут поиска я выворотил из земли хороший валун и подал Ивану. Он кинул валун, мы отскочили от двери, но никакого взрыва не произошло.

- Давай теперь две досочки оторвем, и можно идти, - спокойно сказал Иван, который все делал спокойно, толково, так, кстати, и в разведке работал.

Минут через десять мы пробрались то ли в большую землянку, то ли в блиндаж и, осветив фонариком помещение, увидели деревянные длинные ящики, в них, конечно, были винтовки, потом ящики цинковые, эти наверняка с винтовочными патронами, а дальше лежали ящики обычные, и мы, не вскрывая их, догадались, что они с гранатами.

- Хорошо бы новую винтовочку. А? - сказал Иван. - Издалека лося можно хлопнуть. Как только ее донести незаметно. Придумаем? - и Иван топором вскрыл длинный ящик.

Да, там лежали наши родимые, образца 1891/30, мосинские винтовки, густо смазанные тавотом. Иван взял одну из них, а мне дал топорик, чтоб я вскрыл другие ящики, обычные. Там оказались противотанковые гранаты и отдельно лежащие, завернутые в бумагу, детонаторы.

- Знаешь, Иван, прихватю я парочку. Приятель у меня в Москве имеется, любитель рыбной ловли.

- Валяй бери...

Вскрыли мы еще несколько ящиков, но пистолетов в них не оказалось. Вылезли, отряхнулись и стали засыпать вход, предварительно поставив дверные доски на место. Дело это заняло около часу. Потом Иван начал подручными средствами снимать смазку с винтаря. Беря ее, он уже, по-видимому, придумал, как ее донести. Забыл я сказать, что перед тем, как копать, Иван вырезал дерн с холмика, который мы и уложили аккуратно в конце работы.

- Выйдем к речушке, там ивы растут, нарежу молоденьких вязанку, в нее и спрячем винтарь. Везем ивовые ветки для плетения корзин, никто и не рюхнет.

На обратном пути тоже посчастливилось: попалась попутка, и часа через полтора вернулись мы в Кувшиново. Вязанку прутьев с винтовкой внутри Иван отнес в сарай, а после принялся готовить обед.

- Долго, Иван, бобылем жить собираешься?

- Нет. Есть на примете учительница одна, но мы не спешим, приглядываемся друг к другу. Ты же знаешь меня, если уж женюсь, так на всю жизнь; семья - дело серьезное, да и, на мой взгляд, самое

главное. Конечно, не удалось погулять в юности, сперва мореходка, потом война, но я не жалею, бабником не был и не буду.

За обедом я заметил, бросает на меня Иван какие-то вопрошающие взгляды и, видать, спросить что-то хочет, но не решается, но к концу нашей трапезы все же спросил:

- Мне вчера, Коля, как-то неудобно было спрашивать - как ты? Справился ли с горем? Ведь в Москве оно на тебя вторым заходом должно навалиться - пустая квартира, родные улицы, где вместе ходили, ну и вообще...

- Да, навалилось, ты прав.

- Изменился ты в лице, каким-то другим стал. Когда ты про пистолет спросил, я черт те что подумал.

- Ну, то, что ты подумал, можно и без пистолета сделать, так что выброси эту мысль. Просто привык за войну эту игрушку всегда при себе иметь, вот и спросил.

- Ну, слава Богу тогда. Все ведь проходит, Николай. Любое горе с годами утихает.

- Знаю...

И вдруг мне захотелось рассказать Ивану все, однако удержал себя, не потому, что опасался Ивана, он меня ни за что не продаст, но ради него нужно, чтоб он ничего не знал и не ведал. Да, тяжело держать все в себе. Я и гранаты-то взял вроде бы безразлично, равнодушно, а в душе же ликовал, ведь теперь все обретало реальность - и Галина комната, и добытые гранаты. О том, что после этого - смерть, небытие, - я как-то тогда не думал...

- Ну что, завтра уже на настоящую охоту пойдём?

- Нет, Иван, уеду я завтра. Я же на работу устраиваюсь, на послезавтра назначено у меня в отдел кадров.

- Так я тебя дичинкой и не угостил.

- Ничего, приеду еще раз к тебе?

- Давай весной на тягу. Есть у меня местечко, где хорошо вальдшнепы тянут, с десяток наверняка настроляем. На майские праздники и приезжай.

- Хорошо, Ваня, приеду, - сказал я спокойно, зная, что никаких майских праздников у меня не будет.

Вот знаю, а представить этого пока не могу...

На пути в Москву я слез на станции Останкино и направился в парк. День был будний, а поэтому там почти не было народа. Уже пожелтели березы и покраснели кленовые листья. Начиналась золотая осень, которая всегда раньше действовала на меня успокаивающе, любил я и Останкинский парк... Миновав его, я вышел на лесную дорожку, идущую к Окружной железной дороге, и, пройдя около километра, завернул в лес, выбрал небольшую полянку, сделал на одном из деревьев зарубку и в метре от дерева закопал гранаты, оставив детонаторы у себя... Перед самым отъездом Иван предложил все-таки мне свой ТТ, но я отказался - застрелиться я смогу и из своего маленького браунинга...

"Этой девице" - как я продолжал называть Галю - я решил позвонить денька через три. Таким образом, я заставлю ее неделю поскучать, а может, и поволноваться из-за моего долгого отсутствия. Позвоню ей в субботу и приглашу на воскресенье где-нибудь прогуляться, в том же, может, Останкинском парке...

Увы, надежды мои не оправдались, Галя совершенно равнодушно спросила:

- Где это вы пропадали?

- Были дела, Галя. Я здорово соскучился. Не хотите ли завтра подышать свежим воздухом? Рванем куда-нибудь за город. Или в Останкино.

- Хорошо, - сразу же согласилась она, чем приятно меня удивила, и мы договорились встретиться на Колхозной.

Ее согласие обрадовало меня, и в оставшееся время стал я продумывать план - как это и не претило мне - будущего разговора. Надо все же как-то обиняком разузнать, где же она работает. Если в том учреждении, где я подозреваю, то и вести себя надо соответственно. Может быть, о войне порассказать, свой патриотизм подчеркнуть?..

По ее виду, когда мы встретились, было что-то незаметно, что она в восторге от встречи, но когда мы вошли в парк, она вздохнула и сказала:

- Я так давно не бывала на природе. В воскресенье всегда возишься с домашними делами - и комнату прибрать, и постирать надо...

- Значит, не зря я придумал эту прогулку?

- Да, - коротко ответила она.

Пройдя парк, я повел ее к аллее, идущей у Окружной железной дороги, той самой аллее, которую, по-моему, изобразил Левитан на одной из своих картин и на которой, по слухам, фигура одинокой женщины написана не им, а каким-то другим художником... По пути мы перекидывались ничего не значащими фразами, пока Галя не спросила:

- Вы не звонили Виктору?

- Пока нет. А что?

- А будете звонить?

- Я пока никаких трудностей в устройстве на работу не испытал. Меня с охотой берут и на завод, и в конструкторское бюро. Только надо подумать и выбрать.

- Ну, и не звоните тогда. А ну его...

- Почему "а ну его"?

- Так...

Больше мы об этом не говорили... Выйдя к Окружной, мы присели и смотрели на проезжающие товарные составы. Оказалось, что мы оба любим железную дорогу. Я рассказал ей, сколько довелось мне поездить в этих телятниках, она же поведала мне, что жила в небольшом провинциальном городке, где вокзальный перрон был

местом гуляний, и, как бывало, глядя на пассажирские составы, она мечтала, что придет время и такой же, сверкающий огнями поезд увезет ее в Москву, где начнется у нее совсем другая жизнь - яркая и интересная...

- Я жила в такой дыре, что не было никаких перспектив, - закончила она.

- Ну и как вам сейчас в столице?

- Лучше, наверно... Но не так, как мечталось и думалось, когда я стояла на перроне с другими девчонками и провожала глазами поезда на Москву.

Я закурил. К моему удивления, она попросила папиросу. В ресторане она этого не сделала.

- Я редко закуриваю, но, наверно, скоро задымлю по-настоящему. Очень устаю на работе, папироска прибавляет.

Курила она неумело, почти не затягиваясь, лишь пуская дым. Потом как-то смущенно спросила:

- Многие мужчины не любят, когда женщины курят. А вы?

- Неужто для вас это важно?

- Да нет... Просто, может, вам неприятно, что я закурила?

- Некоторым женщинам даже идет папироска в губах.

- А мне?

- Честно говоря, не очень. У вас очень русское личико, а вот многим немкам сигаретка была к лицу.

- Какие они - немки?

- Разные, но в России красивых женщин больше... У меня, Галя, в портфеле кое-что есть. Пойдемте выберем поляну посимпатичней и перекусим.

- Я - с удовольствием, - откровенно высказалась она.

Видать, эта девчонка всегда голодна, подумал я, испытывая некую неловкость от того, что сам-то я сыт и имею возможность прикупить что-то в коммерческом.

Мы пошли обратно по той же аллее. Разумеется, я вывел ее к тому месту, где закопал привезенное из Кувшинова - хотелось взглянуть, все ли в порядке. Мы расползлись как раз около того дерева с зарубкой, я достал бутылку вина, хлеб и закуску. Для резки колбасы вынул трофейный кинжал с надписью на лезвии: "Blut und Ehre" - "Кровь и честь", - пояснил я ей, добавив, что таких кинжалов Германия в конце войны наделала уйму, вооружая ими мальчишек-новобранцев.

- Красивая вещь, - заметила она, взяв кинжал у меня и разглядев вая его. - Вы говорили, что служили в разведке. Вам приходилось этим кинжалом убивать?

- Кинжалом, которым убивали, не режут колбасу. Он достался мне новеньким, прямо со склада. И вообще, мне, к счастью, редко приходилось действовать холодным оружием и дырять им людей.

- К счастью? - удивилась она. - Убить врага - это же доблесть.

- Да, конечно, - согласился я, не став перед ней развивать свои взгляды на этот предмет.

- А легко ли убить человека?

- Вас это интересует?

- Да.

- Для кого легко, для кого нет. Мне это не доставляло удовольствия.

- Но ведь это были враги. Настоящие мужчины должны гордиться тем, что уничтожили врага.

- Выходит, я не настоящий, - засмеялся я. - А где вы встречали настоящих мужчин? Не в той ли конторе, где работаете?

Она посмотрела на меня настороженным взглядом, и я понял, что, наверно, поспешил с таким вопросом.

- Мало где попадались, - она слегка пожалала плечами.

Я налил ей рюмку, а она была непростая. Это было пасхальное яйцо, разъединившееся на две половинки, к которым привинчивались ножки, находившиеся внутри, и получались две довольно вместительные рюмки. Галя с интересом, так же как и кинжал, стала их рассматривать.

- Занятная вещица. Это тоже трофей?

- Нет. От отца досталась.

- А кем был ваш отец?

- Инженером. Он погиб в ленинградской блокаде.

- Мой погиб на войне.

Я налил еще вина... Что-то мало продвижения в этой встрече. Я приблизился к ней и попытался приобнять. Она резко отодвинулась от меня и нахмурилась. После второй моей попытки, бросила мне раздраженно:

- Прошу без нежностей. Я не для этого с вами поехала.

- А для чего? - вырвалось у меня нечаянно.

- Какие вы все глупые! Конечно, если я согласилась с вами пойти, то, по вашему мнению, только для того, чтобы поваляться с вами на травке. Так, что ли? А я-то, дура, подумала, что вы не такой, как все.

- Простите, Галя... Я мало знаю женщин и подумал, что если буду сидеть бревном рядом с вами, то вас это может как-то обидеть.

- Господи, какая нелепость. Скажу прямо, мне надоели приставания, надоели мужики, которые полагают, что мы все прямо-таки и рвемся с ними лечь. И вы туда же... Я же провинциалка, я мечтала о необыкновенной любви до гроба. Смешно, наверно, но я вот такая...

Да, шлохо твое дело, милая, если ты влипла в органы, там ведь морали никакой, там цинизм и жестокость. С такими взглядами тебе там не жить, вытолкнут как инородное тело.

- Еще раз прошу прощенья. Хорошо, что вы высказались и открылись мне как-то по-новому.

- Какис открытия? Каждая порядочная женщина хочет того же. Боюсь только, мечты все это, я ведь с давцать третьего, все мои одноклассники на войне остались, ну а кто постарше, женатые все. Ладно, это мои заботы. Налейте мне еще, вкусное вино. Из коммерческого?

- Разумеется. Последние фронтовые добиваю. Как там, у вашего Виктора платят?

- Прилично... Но я же говорила вам, не стоит ему звонить, не подходите вы туда.

- Куда?

- Вы же догадались давно, чего спрашиваете?

- Ну а вы, Галя? Там же служите?

- Да, - ответила она, поколебавшись недолго, и посмотрела на меня напряженным взглядом. - Ну и что? Перестанете со мной встречаться? - тихо спросила, не сводя с меня глаз.

- Это почему же вы решили?

- Нас же все боятся, да и, наверно, не любят.

- Мне-то бояться вас нечего, - рассмеялся я. - Мне неважно, где вы работаете, Галя. Скажите, встреча с Виктором была подстроеной?

- Да. Болтнула я девочкам, что познакомилась с фронтовиком да еще разведчиком, одна из них, которая с Виктором путается, рассказала ему, он - ко мне: хочу познакомиться с твоим парнем, нам бывшие фронтовики нужны...

- Почему вы сейчас разоткровенничались, Галя?

- Видела, что догадались вы, зачем же темнить? Я хочу, чтоб между нами все было по правде... Так будете со мной встречаться?

- Конечно, буду, если вы не против.

- Как я могу быть против. Впервые, можно сказать, приличный человек обратил внимание, - она натужно засмеялась.

- Извольте шутить?

- Нет, серьезно я, - вздохнула она.

Поначалу меня прямо-таки огорошило простодушие и искренность Гали. Создается совсем другой образ: простая девчонка, попавшая по каким-то жизненным обстоятельствам на работу в органы, не очень-то, видать, подошедшая для этой работы, испытывающая некое неудобство от своей службы... И этот образ, в корне отличающийся от созданного мною, не укладывающийся пока в моей голове, неизбежно что-то меняет в моем отношении к ней и привносит некие трудности. Правда, много погодя я подумал, а не искусная ли это игра? И мне очень захотелось поверить в это. Я посмотрел на нее, она не отвела глаз, лицо ее было спокойным - никакой напряженности, даже какая-то удовлетворенность от того, наверно, что сказала мне правду. Нет, не может эта простушка так талантливо актерствовать, не способна сыграть так замечательно... Знала бы она, что на этой красивой полянке, усыпанной осенними листьями, лежит и ее и моя смерть...

Я взял ее руку, она была холодной. Не отнимая ее, она улыбнулась и еле слышно спросила:

- Я хоть немного нравлюсь вам?

- Да, Галя... - ответил я почти искренно, удивившись ее вдруг похорошевшему лицу.

- Тогда... тогда поцелуйте меня...

Я привлек ее к себе, запрокинул голову и впился в ее губы. Она не отвечала на поцелуй, лишь покорно принимала мой. Может, не умеет целоваться? На меня же поцелуй подействовал одуряюще, затрепыхалось сердце, зашумело в голове, и я не отпускал ее до тех пор, пока она, не оторвав на секунду свои губы от моих, не прошептала:

- Хватит... Не надо больше...

Я отпустил ее... Она тоже учащенно дышала, глаза затуманились, я снова привлек ее к себе, но она отодвинулась и повторила:

- Я не могу больше, не надо... Давайте собираться.

Ладно, милая, на сегодня хватит и этого, раз убоялась ты продолжения. И мне тоже вполне достаточно случившегося... Я собрал остатки еды в портфель, убрал и сжег все бумажки, в которые были завернуты продукты, и мы отправились из Останкино.

Около ее дома я решил воспользоваться ее размяченным состоянием и сказал:

- Может быть, Галя, пригласите меня к себе?

Ответила она не сразу:

- Знаете ли, стыдно вас приглашать. У меня в комнате кроме стола и двух табуреток ничего нет, ну и кушетка старенькая. Вот придет мама, она должна привезти кое-что из мебели, ну и подкупим, может, если удастся. Ну и еще, не прибирала я утром комнату...

- Все это ерунда, Галя...

- К тому же, раз вы уж знаете, где я работаю, нам не рекомендовали водить к себе гостей, ну... из-за этого особняка напротив. Вы же, наверно, знаете, кто там живет?

- Какой-нибудь начальничек?

- Да. И очень большой...

- Ну раз так, ничего не поделаешь, - пожал я плечами. - А когда собирается приехать ваша матушка?

- Через месяц, а то и два.

Я успокоился, что не скоро придет ее мать... Не стал я набиваться на прощальный поцелуй, мы просто пожали друг другу руки... По дороге домой я раздумывал о том, что придется мне, видимо, походить какое-то время в женихах, только в этом качестве я смогу попасть в ее комнату, а тем более остаться в ней одному. Ну а когда вернулся домой, весь вечер прокручивал в голове разговоры в Останкино... Конечно, разыграть простушку не такое уж сложное дело, но смысл эта игра имеет только в том случае, если она сама или ее начальство заподозрили, что я познакомился с ней с какой-то целью. Основания? Вполне определенные: особняк наверняка является по важности объектом охраны номер два, первым - сталинские дачи, ну и, разумеется, они понимают, что дом напротив - самое подходящее место, из какого можно произвести покушение, потому-то и заселили его своими сотрудниками, потому-то и топчутся около мальчишки в штатских пальто и в хромовых сапожках, которые провожают взглядами каждого прохожего. Так что должны они обязательно мной

заинтересоваться. И если этот интерес будет глубоким и серьезным, то вполне вероятно, что доберутся они и до того, что я муж Таи Доберутся, несмотря на то, что у нас разные фамилии (не захотела она брать мою) и прописаны мы на разных квартирах (мечтали после войны обменять две наши комнаты на отдельную квартиру). Доберутся... и что тогда? Знают ли они, что Тая покончила с собой? Надо обязательно у Милы взять свидетельство о смерти и узнать, что там? Поскольку никакой записки Тая не оставила, чрезмерный прием снотворного не доказывает самоубийства... Вообще-то, все это надо бы было продумать раньше, но я сосредоточился на этой девице, как на единственной возможности проникнуть в дом. Я же не могу жлать машину на улице с оружием, через пять минут ко мне подойдут и заберут. Поймать эту машину где-то на пути - совершенно нереально, тем более что ездят они всегда разными маршрутами.

Итак, завтра же к Миле! И надо торопиться. И ничего не значит, что Галина оказалась другой, даже если оказалась, а не показалась. Надо **переступить**. Ведь я **первый**, кто решился. На фронте бывало приходилось жертвовать не единицами, а иногда целыми дивизиями, посылать их на заведомую гибель ради успеха какой-нибудь важной операции. Тут я должен быть непоколебим и не отклоняться от цели, как не отклоняется от нее пущенный снаряд. Мне и так может многое помешать, ну а эту помеху нравственного порядка я должен отмести без всяких там сантиментов. Сравнение с пущенным снарядом мне понравилось: никаких отклонений от цели - вот мой теперешний девиз.

Возможно, тот, кому доведется читать мои записки, может подумать, что я чересчур много рассуждаю, задаюсь вопросами морали, рефлексирую, а это всегда ослабляет, если не убивает, решимость, а потому вряд ли я смогу осуществить задуманное. Но я же не маньяк, я психически здоров, нормален и не могу не задавать себе определенных вопросов. Да, во мне нет маниакальности, но все-таки я живу сейчас довольно странной жизнью, какой никогда не жил. Я теперь словно вырублен из нее, я страшно одинок, я всем **чужой**. Я весь в себе, мне ничего не снится, кроме одного повторяющегося сна: ослепительная вспышка разрыва, искореженный, перевернутый на бок "зис"; я гляжу на это, и меня наполняет какое-то огромное чувство величайшего удовлетворения и... покоя. Да, покоя. . И освобождения. Освобождения от давящей меня непосильной тяжести долга. Если такое же чувство я испытую в реальности, то будет совсем легко нажать на спусковой крючок...

Неожиданно мне позвонил Виктор, сказав, что неплохо бы встретиться, и если у меня есть время и желание, то он предлагает мне отобедать в "Арагви" в пятнадцать ноль-ноль. Я охотно согласился, интересно же, о чем будет разговор. Встретил он меня у входа в ресторан, выразил бурную радость, крепко пожал руку и повел за столик, на котором уже была приготовлена закуска и две бутылки пива.

- Водки я, браток, не заказал, после тебя у меня еще одна встреча, но если хочешь - закажу.

- Не надо.

- Ну как жизнь? Как дела? Как Галочка? Встречаетесь?

- Встречаемся...

- Она как будто рассказала тебе, где работает...

- Где и ты, - улыбнулся я.

- Верно. Поэтому буду без экивоков. Ты мне сразу понравился, видно, что парень ты надежный, я уж не говорю - боевой офицер, фронтовик, ну и с высшим образованием и так далее. Я говорил о тебе с начальством, оно не возражает. Значит, учти, звание тебе сохранится, за звездочки платить будут, денежное довольствие вполне... Поэтому предлагаю тебе серьезно подумать.

- А пока я буду думать, вы мне проверочку устройте, - непринужденно засмеялся я.

- Устроим, - засмеялся и Виктор. - Ради формальности, это обычное, рутинное дело, а вообще-то, ты же весь как на ладони. Тебе бояться нечего.

- Конечно, нечего... Надо подумать, Виктор, дело-то серьезное.

- Понимаю, подумать, разумеется, надо, но не тяни особенно, - он разлил пиво. - Когда надумаешь, вспырснем это дело по-настоящему, а пока давай пивка дернем. Ну и хватит о делах. Каковы твои успехи с Галочкой?

- Слабоватые.

- Она девица серьезная, под первого встречного не ляжет. Кстати, как ты с ней познакомился?

- Это что, начало проверочки? - усмехнулся я.

- Нет, просто так интересуюсь. Она же не из тех, кто на улице знакомится.

- В троллейбусе. Меня в давке прижало к ней, я извинился, ну и разговорились потом...

- Ты, кажется, у Павелецкого вместе с нею вылез?

- Да.

- А какие дела у тебя были на Павелецком?

Вроде я влип! Похолодало в груди, но я зажал себя и стал лихорадочно вспоминать, кто из знакомых живет на маршруте Садового кольца; вспомнил одного, живущего на Серпуховке, потом другого и успокоился, но сказал не о них:

- Слез, потому что она сошла. Думал, удастся проводить ее, ну и продолжить разговор, но по ее виду решил, что она к этому не расположена.

- Выходит, любовь с первого взгляда? - он рассмеялся.

- Не любовь, конечно, просто понравилась девушка, - спокойно улыбнулся я.

Тем временем принес официант первое, и мы принялись за еду.

- Однако к кому-то ты ехал, раз стоял на остановке? - спросил он вроде бы небрежно, не поднимая на меня глаза.

- Да. Хотел одного товарища по институту навестить, на Серпуховке он живет. А перед этим заходил к другому, на Грузинскую, но не застал, оттуда и вышел на Садово-Кудринскую, - предупредил я его неизбежный вопрос, каким макаром я оказался на остановке, причем не соврал - на Грузинской жил один бывший мой сослуживец. - Ну а потом я уже ожидал Галю, чтоб продолжить знакомство.

- Ты только Галчонку не дури голову зазря, она девка хорошая, жалко ее будет, если ты побалуешься с ней и бросишь.

- Да, хорошая... Я не бабник, Виктор.

- Да ну? Такой мужик и... - он снова засмеялся. - Не верю, но ежели так, то это хорошо, мы этим делом увлекаться не должны.

После обеда Виктор не дал мне распратиться за свою долю, выложил около трехсот монет, щедро добавив официанту чаевые, и проводил меня до двери.

- Значит, Николай, думай скорее и звони, - он так же крепко пожал мне руку. Лапа у него ничего и, видно, жмет крепко, чтоб показать силу.

Домой я шел в несколько растрепанных чувствах. Мне казалось, что прослеживается какая-то связь между поведением Гали и Виктора - это ставка на прямоту и откровенность, чем они и хотят меня купить. Только зачем? Я уже сколько раз прокручиваю одно и то же: не нужна им никакая игра, арестовать меня им ничего не стоит и уже в камере добиться от меня любых показаний и признаний. Еще в тридцать седьмом рассказывал мне тот же Сергей, о котором упомянула Инна, что его отец, посаженный в тридцать пятом, потом отпущенный и арестованный второй раз в тридцать седьмом, говорил ему, как при допросе ему сжимали половые органы. Так что тут все до примитива просто. Выходит, Виктор действительно хочет, чтоб я поступил к ним на работу. Наверно, им действительно нужны бывшие фронтовики и вообще люди более или менее образованные. И моя кандидатура им вполне подходит. И что же тогда, что лучше? Сделать вид, что я охотно соглашаюсь на это? Или после некоторого раздумья решительно отказываюсь? Наверно, лучше второе. И вот почему: мой отказ покажет им, что я не рвусь входить к ним в доверие, что мне на них в общем-то наплевать, а само это является в какой-то мере косвенным доказательством того, что мое знакомство с Галиной не имеет каких-то целей - просто понравилась девушка - и все. А где она работает, где живет, меня совсем не интересует.

Позвонила Инна и удивила меня вопросом: что я сейчас читаю? Я ответил, что ничего. И это было правдой. Листал иногда кое-что из своей библиотеки, но читать не мог. Все казалось пресным, неинтересным, к тому же свои мысли перебивали книжные.

- Прочти опубликованную в "Знамени" повесть "Сталинград" какого-то Некрасова. По-моему, в ней война показана очень правдиво. Тебе должно быть интересно. Я только что прочла и могу дать тебе журнал. Если свободен, зайди ко мне на работу, я встречу тебя.

- Что ж, пожалуй, зайду, - вяло отвегил я, убежденный, что о войне никто и никогда не напишет подлинной правды.

Конечно, мне пришлось, как обычно, ждать Инну у издательства, аккуратностью она не отличалась.

- Извини, помаду искала, надо же губы было подкрасить, все же на свиданье с мужичиной иду.

- Признаешь все-таки меня за мужичину? - усмехнулся я.

- Я-то - да, а вот ты женщины во мне, по-моему, не видишь.

- Почему?

- Вот уж не знаю. Может, потому, что мы с тобой с первого класса вместе, даже какое-то время за одной партией сидели. А может, потому, что я такая хулющая, - рассмеялась она. - Ну что мы о глупостях. Как ты? - и уставила не меня напряженный и вопрошающий взгляд, который стал в последнее время раздражать меня, хотя я и понимал, чего она все время ждет от меня, - ждет того, чего я не могу ей не только сказать, но даже намекнуть.

- Что я? - пожал я плечами. - Как видишь, жив-здоров.

- И даже неплохо выглядишь, - сказала она так, будто мне не положено хорошо выглядеть.

- Виноват, Инна, - с усмешкой ответил я.

- Что ерничаешь? Я очень рада, что в норме. Я же говорила, пройдет время и...

- Инна, извини, что перебиваю. Я был у Милы и взял свидетельство о смерти. Теперь меня интересует вот что: на похоронах не было ли посторонних людей? И вообще, никто не интересовался у тебя причинами смерти Тая?

- Никого не было посторонних, вообще было очень мало людей. Ну, и меня никто ни о чем не спрашивал. Зачем тебе это знать?

Я ожидал такого вопроса и приготовил ответ:

- Мне предложили работу на одном из номерных заводов. Сама понимаешь, что будут проверять, ну и если выяснится, что я...

- Понимаю. Мне думается, вряд ли они следят за судьбой тех, над кем насильничали. Думаешь, Тая первая и последняя? Наверняка таких было много. А зачем тебе идти на такой завод?

- Там хорошо платят.

- Будешь укреплять мощь державы? - скривила она губы.

- Где бы мы ни работали, все равно работаем на государство. И ты тоже.

- Ну уж нет! Я ишу в самотеке талантливые вещи и стараюсь их проголкнуть. Это совсем другое, чем военный завод. Не путай Божий дар с яичницей. Ладно, держи журнал. Когда прочтешь, позвони, мне интересно твое мнение. Автор, по-моему, очень талантливый.

- Хорошо, Инна. Но предупреждаю, если на какой-нибудь странице окажется вранье, я бросаю читать.

- Разумеется. Ну, пока, - она еще раз посмотрела внимательно на меня.

Только я подумал о моем попутчике, с которым ехал в Кувшиново, как позвонил он, сказав, что все же удалось ему найти то, что я хотел, и если я не раздумал, то мы можем встретиться где-нибудь у Никитских ворот, живет он неподалеку... Помня о его сетованиях на скучную жизнь, я назначил встречу около шашлычной, куда решил его пригласить и покормить.

Заказав по порции люля-кебаба и пива, я спросил, не жалко ли ему расставаться с найденным пистолетом.

- Очень жалко, память же... Но что делать? Я поступил все же в институт, стипендия сами знаете какая. Так что жалей не жалей, а придется расстаться.

- Ну а как свидание с бывшей передовой?

- Ой, не спрашивайте! Потрясающее впечатление. Понимаете, она осталась такой же: валяются ящики из-под патронов, каски, котелки, обрывки бинтов, обмотки даже и... черепа. По всему лесу - черепа. Глядишь и думаешь: может, с тобой, браток, одну сигарку на двоих смолили, может, из одного котелка хлебали? Ну и по дороге туда встречи с бабоньками, которые кормили меня, ночлег давали, тоже оказались такими... ну такими, что и слов не найдешь. Радовались, слезу пускали, что живым я остался, а у многих так и не вернулись мужики... А по бывшей передовой я целый день бродил, там и дописал несколько строчек к тому, что я вам в вагоне читал. Прочесть?

- Конечно, Толя.

Иду туда, в изломанную рошу,
Рубеж исходный для атак,
Где быть убитым было проще,
Чем где-то раздобыть табак...

- Неплохо, - вырвалось у меня.

Иду туда, куда пришел мальчишкой,
Не верившим, что есть на свете смерть,
Где познана была война не понаслышке,
Где все пришлось преодолеть...

Где мы, от голода шатаясь,
Бродили словно тени среди убитых.

Их хоронить мы даже не пытались,
Себе - живым - окопы рыть не в силах...

- Неужто так худо было подо Ржевом? - заметил я.

- Да... В момент всю романтику выбило... Правда, был у нас в роте поэт настоящий, из литинститута его в тридцать девятом забрали, длинный такой, нескладный и рыжий, так вот он - потом его в штаб переводчиком взяли - сам в разведку напросился и погиб в первом же походе. Я отговаривал, а он мне: "Я - поэт, и должен испытать на войне все". Вообще-то, нашу разведку очень быстро всю побил, не умели еще...

- Да, учились на ходу...

- Знаете, что я думаю? В войну лучшие погибли. Дрянь выжила, она в тылах перекрывалась... Помню, принес я в штаб строевую

записку и на самого комбата наткнулся; он оглядел меня внимательно и решил, видно, что гожусь для одного "ответственного задания", а задание было такое: отвезти в политотдел бригады вещмешок с водкой. Зима была, холодина и вечер уже, ну протопал я до большака километров семь, дождался попутки... Дорожку представить не трудно, я весь путь этот мешок с бутылками на весу держал, чтоб не разбить. Добрался до села, нашел дом, вошел, доложил и преподнес мешок какому-то полковому комиссару. Ну и жду "спасибо", а больше угощения, замерз же. Так не налил мне он ни грамма! А стол, накрытый в другой комнате, я заметил, чего там только не было, даже икра. Так обидно стало, ну чего я, дурак, водку эту берег, надо было бутылочку заначить, слказал бы, что разбилась, но ведь я честный... Зачем меня только мать в детстве в церковь водила, десяти заповедям учила, жить-то по ним - быть в дураках постоянно...

- Не так это, Толя, - сказал я и задумался. Я ведь тоже Нагорную проповедь не забыл, а вот готовлюсь самую главную заповедь преступить, да и преступал ее на войне не раз. Церковь, правда, убийство на войне за грех не почитает, но то церковь, а по суги-то?..

- Знаете что, Николай Юрьевич, догадался я, что пистолет вам самому нужен, а поэтому не надо мне трех тысяч, за две вам отдам.

- Нет уж, как договорились, Толя.

Пистолет он мне передал в подворотне, куда мы зашли, там я с ним и расплатился. Узнав, что живет он в Леонтьевском, я уточнил адрес (телефона у них не было), подумав, что близость Толиного дома к Галиному мне может пригодиться. Держать же у нее в комнате ничего нельзя. А хранящееся в Останкино должно быть у меня под рукой.

Вернувшись к себе, я вынул из кармана завернутый в газетку пистолет и осмотрел его. Кое-где прихватило его ржавчиной, пришлось разобрать, почистить и смазать. Машина прекрасная, самовзвод, восемь патронов в магазине, один в патроннике, калибр 9 мм, штука серьезная, не то что мой дамский браунинг. Я рад был приобретению, ведь в случае чего смогу показать меткую стрельбу из любого положения, сдаваться же мне живым нельзя. Прятать пистолет я не стал, а положил под подушку.

Памятуя, что Галина рада была прогулке в Останкино, пригласил я ее на следующее воскресенье съездить за город, выбрав Кратово, как наиболее мне знакомое дачное место. Она охотно согласилась. Буду краток, скажу только о существенном. Выяснилось, что в органы она попала по рекомендации дальнего родственника, служащего там, по слезной просьбе матери.

- Я самым настоящим образом голодала в Москве, даже случались голодные обмороки. Мама не могла помогать мне, а на стипендию, сами понимаете... А мне так хотелось закончить институт.

- Я рад тому, что не по зову сердца вы пошли служить туда.

- Какой там "зов"? - улыбнулась она. - Не до жиру, быть бы живу, как говорится. Закончу институт и уволюсь.

- А отпустят?

- Отпустят. Никакой ценности я для них не представляю. Ну, возьмут подписку о неразглашении, вот и все.

Что это? Правда или продолжение игры? Мне уже как-то надоело без конца напрягать мозги и каждый раз искать в ее словах какой-то хитрый ход. Во всяком случае, надо делать вид, что верю ей, ну и лады, как любит говорить Виктор.

Когда мы на пруду катались на лодке, она страшно трусилась, даже визжала, объяснив мне, что плавать не умеет и очень боится воды. Покатавшись, мы миновали дачи и вышли к небольшому леску, где и расположились перекусить. Вина я не взял, и сейчас, на трезвую голову, мне было трудновато приступить к поцелуйчикам, ведь я совершенно равнодушен к ней. Однако моя холодность может насторожить ее, ведь в Останкино мне удалось неплохо разыграть некую страсть, а вдруг сегодня я не сделаю даже попытки. Это может показаться ей странным, а потому я привлек ее к себе, и она, покорно закинув голову, подставила мне губы и отдалась этому занятию со всем жаром: крепко меня обняла, отвечала на поцелуи и долго меня не отпускала... Не знаю, чем бы сие окончилось, если б не послышались близкие голоса какой-то гуляющей дачной компании...

На обратном пути, в вагоне электрички, она сидела напротив меня какая-то притихшая, ничего не говорила, а лишь не сводила с меня глаз. Иногда украдкой касалась моей руки, поглаживала недолго, потом пугливо отдергивала, словно делала что-то запретное. Вот такую-то ее и весте к себе домой, подпоить немного и завалить на кровать, но когда мы сошли с поезда и вышли на Каланчевку, я почему-то предложил ей зайти в ресторан пообедать.

- Ой, не надо. Я чувствую себя там какой-то Золушкой: и одета не так, и женщин там всегда много красивых, перед которыми я ощущаю себя дурнушкой, ну и много там подают всяких приборов, ножей, вилок разных...

- Хорошо, Тогда пойдете ко мне. Купим чего-нибудь в коммерческом и сотворим дома что-то вроде обеда. Ну, как?

- Пойдемте, - еле слышно ответила она.

В коммерческом я накупил всяких разностей, истратив около семисот рубликов, на что она сказала с укоризной:

- Зачем так много? Вы истратили больше половины моей зарплаты. Откуда у вас много денег?

- Не бойтесь, не краденые, - усмехнулся я. - На фронте-то тратить некуда, вот и привез кое-что. Скоро, правда, они кончатся, - беззаботно рассмеялся я.

Я жил на Садово-Самотечной, в большом доходном доме, построенном в начале века, у нас был шикарный подъезд с лепниной перед лестницей, и Галя с интересом все это разглядывала, пока мы шли к лифту. Довольно просторной была и моя комната, заставленная дореволюционной мебелью, остались от родителей и кой-какие статуэтки и бронзовые безделушки, ну и, конечно, старые фотогра-

фии на стенах. Все это тоже привлекло ее внимание, но больше всего, по-моему, поразил ее флотский порядок, в котором я держал свое жилище.

Мы оба понимали, что сегодня произойдет то, что рано или поздно должно было произойти, а потому испытывали некую неловкость и натянутость, наверно естественные для нее, ну а для меня тоже все было непросто. Я никогда не сходил с женщинами для дела, к тому же опасался, что - чем черт не шутит - вдруг после близости возникнут у меня какие-то чувства к этой девчонке. Поэтому, когда мы сели за стол, я, чтоб стряхнуть с себя некоторую стесненность, сразу же разлил вино, по полному стакану, себе и ей, и произнес как можно проникновеннее:

- Я пью за нашу встречу, Галя. Не будь ее, мне было бы очень плохо... А вы за что выпьете?

- Наверно, за то же, - тихо ответила она, подняв на меня глаза.

- Неужто? - воскликнул я, заставив задрожать свой голос. - Значит, я вам не безразличен?

- Я же встречаюсь с вами.

- Можно же встречаться просто так. Со скуки, от одиночества. Или... по долгу службы, - пошел я ва-банк.

Она не вздрогнула, не изменилась в лице, лишь улыбнулась и ответила совершенно спокойно:

- Во-первых, скучать мне некогда, ну а одиночество?.. Я же терпела его как-то до встречи с вами. Что же касается "долга службы", то мне просто посоветовали лучше узнать вас, прежде чем принимать какие-то решения.

- Какие решения? - вырвалось у меня.

- Не знаю. Быть может, они думают, что я собираюсь за вас замуж.

Вот это да, немного растерялся и не сразу спросил ее:

- Они угадали?

- Нет. Я еще мало вас знаю.

- Ну а когда узнаете? - усмехнулся я.

- Это же от меня не зависит, - пожала она плечиками. - Вы же не делали мне предложения.

Круто завернули, милая, подумал я, несколько озадаченный. Такого варианта я не ждал, хотя и не исключал из своих планов.

- Что призадумались? - несмешливо спросила она. - Испугались?

- Что вы? Совсем нет, - ответил я и стал разливать вино, чтоб протянуть время, надо все обдумать.

Мне думалось, все окажется проще: поднакачаю ее вином, потом объятия и поцелуйчики, от которых она разомлеет, ну и - диван... Ан нет. Боюсь, что без пылких слов о любви и обещаний жениться, что у меня вряд ли получится убедительно, ничего не получится.

- Вижу, испугались, - засмеялась она. - Да успокойтесь, не собираюсь я вас обженить, понимаю же, не пара я вам. Мне ч того довольно, чтоб под ручку с интересным мужчиной пройти, чтоб встречные бабы позавидовали.

По-моему, Инна после последнего разговора со мной начала догадываться, что я принял решение и даже что-то делаю. Сужу по тому, что она стала набиваться на встречи и в наших длительных прогулках по городу все время заводила разговоры о бесчеловечности нашего режима, о большевизме, о том, что после победы в войне народ попал в еще большую кабалу и рабство, ну и эта пластинка крутилась у нее долго и без вариаций. Мне стало казаться, что она жаждет в акт личной мести (точнее, возмездия), который я пытаюсь осуществить, привнести элемент политики и тем самым облагородить что ли или возвысить мой поступок, придав ему большую значимость, чем простое уничтожение одного подлеца.

Я же понимаю, ликвидация кого-то одного из них ничего не может изменить. Сталин, возможно, даже обрадуется избавлению от человека, забравшего чересчур большую власть в стране и могущего этим представлять опасность для него самого. Вероятно, и воспользуется этим предложением, чтоб почистить органы, ведь после тридцать девятого он этим не занимался... Нет, то, что я собираюсь сделать, - только мое личное дело, не сделав которого мне трудно будет жить на свете. А сталинская система сегодня сильна и несокрушима, как никогда; хоть перебей все политбюро, она будет жить. Думаю, даже смерть вождя не изменить ее. Так что напрасно Инна думает, что своими разговорами она-де укрепляет меня.

Народ наш настолько глубоко обольщен, что должны пройти десятилетия, прежде чем он догадается, что его обманули, что обещанный "земной рай" не наступит никогда... В отличие от Инны, я, благодаря своему отцу, очевидцу и свидетелю происшедшего в России в семнадцатом году и много рассказывавшему мне и о революции, и о предреволюционных годах, не винил одних большевиков в перевороте. Отец внушил мне (и я верил ему), что без непосредственного участия народа ничего бы у них не получилось. Произошло неизбежное, которое надо принимать как стихийное бедствие, говорил отец. В парадоксе Инниной ненависти к большевикам, родители которой были большевиками, лежит, по-моему, большевизм самой натуры Инны. Мне же передалось от отца спокойное и взвешенное отношение к существующему на сегодня строю. Я понимаю всю его порочность, непонятную мне жестокость, но ненависти в душе у меня не было и нет...

Упомянув о своем отце, поневоле задумался над тем, что он много мне дал в понимании действительности и что я многим обязан ему. А я вот оказался несправедлив: когда отец очень быстро женился после смерти матери, ее сестра и другие мамы родственники стали говорить, что у папы, видимо, была давнишняя связь с эгой женщиной, не зря он так часто ездил в Питер, я не мог простить ему этого. Писал только по делу, благодарил за присланные деньги. Перед войной он не раз приглашал меня приехать в Ленинград, но я все отнекивался разными делами. А в блокаду папа погиб... А он так звал, предчувствуя, видимо, войну. Да и многие предчувствовали, только

гнали эти мысли от себя, тем более официоз бряцал чуть ли не о дружбе с Германией. Свою вину ощутил еще на фронте, когда Тая переслала мне письмо, полученное ею от жены... то бишь вдовы папы.

Он сумел как-то честно прожить жизнь при советской власти, был поглощен своей работой, часто говоря: "Уж чем-чем, а работенкой большевички нас обеспечили, на том и спасибо". По счастливому случаю не угодил он ни в Шахтинское дело, ни в Промпартийное, видать, потому, что карьеру не делал, в начальники не лез, вполне удовлетворяясь рядовой инженерской работой. Миновал его и тридцать седьмой - благая судьба для старорежимного интеллигента...

Уже целую неделю Галина не звонит мне по неизвестным причинам, а мне же нужно как-то попасть в ее комнату. Хотя я и почти уверен, что именно ее увидел тогда в окне, но мог же и ошибиться. Если ошибся, то все зазря. Это будет для меня ударом, других же вариантов я не имею, да и нет их вообще, я, кажется, писал об этом... Не затеять ли мне ремонт своей комнаты и под этим предлогом лишиться ее на какое-то время возможности приходить на ночевку ко мне. Может, не выдержит и пригласит к себе? Набиваться самому нельзя, может вызвать какие-то подозрения у нее.

Вечером заявила ко мне Владлена, попросила несколько папирос. После моего возвращения она часто забегала ко мне поболтать, да и я приглашал ее иногда выпить, когда невмочь было одному. Не знаю, были ли у нее планы насчет меня, мне было тогда не до флирта, она это скоро поняла и навещать меня почти перестала. Но вот недавно снова зачастила, что, при моей постоянной исторуженности, показалось подозрительным.

- Присаживайтесь, Влада, - пригласил я, выдав ей папиросы. - Покурим...

Она села, рискованно закинув ногу на ногу, так что забелела полная ляжка выше чулка, но я привык к ее манерам и не реагировал на ее действительно красивые ноги. Она осмотрелась и заметила рулон обоев, который я притащил из чулана.

- Собираетесь навести марафет в своей холостой келье?

- Да, давно собирался, еще до войны.

- Готовитесь к переменам в своей жизни? - с ехидцей улыбнулась она.

- Какие перемены...

- Как же? Девица появилась какая-то. Может, жениться задумали?

- А что - рано?

- Нет, пора, но, знаете, таким интересным мужикам, как вы, всегда попадаются страшные мымры. Это закон. Вы посмотрите на пары на улицах: красивый мужик, с ним страхолуда. И наоборот.

- У меня была очень красивая жена...

- Редкое исключение. Второй раз вам так не повезет. Кстати, видала я мельком вашу пассию - серенькая девушка. Провинциалочка, наверно?

- Угадали. Вы наблюдательны, Влада.

- У меня, между прочим, есть еще много положительных качеств. Странно, что вы их не заметили, - засмеялась она. - Почему, Николай?

- Не знаю...

- Вот и пришлось мне искать другого мужчину.

- Нашли?

- Разумеется. Скоро мы с вами расстанемся... Вам не хочется меня чем-нибудь угостить?

Я пошел к буфету, достал початую бутылку портвейна и налил себе и ей.

- Что же, выпьем за то, что у нас ничего не получилось? А зря, хорошая бы вышла пара. Вы, наверно, испугались, что я художница, богема?

- Нет... Знаете же, в каком я был состоянии. Вот и не подействовали ваши чары.

- Увы, я это увидела. Ну и поскольку женщина я волевая, то не позволила себе увлечься вами.

- Разве можно "не позволить себе"?

- Еще как можно! Ну а теперь, уважаемый Николай Юрьевич, что вы такого натворили и почему ко мне в мастерскую приходят всякие типы и спрашивают о вас?

На мгновение я растерялся, слишком неожиданно ляпнула она. Однако быстро собрался.

- Понимаете ли, Владочка, предложили мне по знакомству работу на военном заводе, должны, наверно, засекретить, ну и возможно... - сказал я то же, что и Инне, но Влада перебила:

- Что-то не слыхала я, чтоб для этого ходили по знакомым и спрашивали.

- Я тоже... В общем-то, Влада, меня это абсолютно не волнует.

- Я бы разволновалась на вашем месте, такие визиты к хорошему не приводят. Не связано ли это с девицей, которую вы приводили?

- Ну, она-то при чем! - засмеялся я.

- А где она работает?

- Не интересовался я.

- Может быть, вы и имя ее не спросили? - рассмеялась и она.

- Имя спросил.

- Ладно, - поднялась она. - Раз вас это не волнует и слава Богу;;; Когда наведете марафет в своей комнате, так и быть, подарю вам на память два своих этюдика. Глянете и вспомните меня. А вообще-то, не торопитесь с этой девчонкой, что-то она мне не очень... Ну, пока...

Влада вышла, оставив после себя запах каких-то терпких духов... Вроде я правильно вел разговор. Во всяком случае, если к ней снова придут в мастерскую и заинтересуются моей реакцией и она ответит правду, то смогут убедиться, что я не удивился, был совершенно спокоен. Однако я не догадался спросить Владу, не интересовались

ли они Таей. Поэтому, когда мы утром встретились на кухне, я как можно небрежней, с улыбочкой спросил Владу:

- Кстати, Владочка, один вопрос: о чем же спрашивали вас?

- О всякой ерунде. С кем общаетесь, не водите ли баб, не пьете ли, ну и еще о каких-то глупостях, не помню уж...

Днем я решил: не позвонить ли Виктору и не сказать ли ему, что мне совсем не нравится то, что они делают, я ведь не дал еще согласия... Но не позвонил, подумав, что могу подвести Владу.

А в пятницу я позвонил Галине. Опять ее голос был робок и странен.

- Надеюсь, за эту неделю ты обо всем подумала? Я жду тебя в субботу, - бодро начал я.

- А вы и вправду хотите меня видеть?

- Разумеется.

- Хорошо, я приду...

Появилась она около девяти вечера, какая-то усталая и поблекшая, как-то робко вошла в комнату, села на краешек дивана и, ничего не говоря, смотрела на меня своими большими глазами, на которые я только теперь обратил внимание, заметив, как они хороши.

- Ну-с, о чем же мы так долго думали? - шутливо спросил я.

- О себе... Что-то со мной произошло такое, чего никогда не было...

Естественно, усмехнулся я про себя, невинности лишаются только раз в жизни. Она, словно угадав мои мысли, продолжила:

- Я не о том, что осталась тогда у вас, я совсем о другом.

- О чем же?

- Трудно объяснить, я и сама не разобралась, - она как-то жалко улыбнулась и опустила голову.

Честно говоря, мне было не до ее душевных переливов. Меня интересовало другое.

- Ладно, Галя, надеюсь, что разберешься. Ты скажи, что значат расспросы моей соседки обо мне со стороны ваших мальчиков? Я же еще не дал согласия?

- Ну, так всегда делается. Меня тоже проверяли.

- Я так и подумал, но все же неприятно.

- Не обращайтесь внимания.

- Может, они и ходят за мной?

- Бряд ли, но не исключено...

- Ты очень обрадовала меня.

- Чего вам беспокоиться, столько орденов, как у вас, нет ни у одного из наших офицеров.

Разыгрывает ли она святую наивность или действительно считает мои ордена надежной защитой от всяких подозрений? Наблюдения за собой я, правда, не замечал, но возможность этого меня беспокоила - как же я из Останкино вынесу свои припасы?

Вторая ночь не принесла открытий. Галя была стеснительна и пассивна. Видимо, постель для нее пока мало значила. Мне это было на руку, не нужно было разыгрывать страсть. Утром на ее лице опять блуждала счастливая улыбка. А мне было снова нехорошо. Помню, в одном из разговоров Инна удивила меня термином "тургеневщина", забыл уже по какому поводу. Но Тургенев и "тургеневщина" показались мне чем-то несовместимым, и я спросил ее, что она под этим разумеет. Она, как всегда сбивчиво, объяснила, что под этим она подразумевает всякие там интеллигентские мерехлюндии. Я не стал с ней тогда спорить, а сейчас, глядя на счастливую улыбку лежащей рядом со мной женщины, которую я обманываю, почувствовал себя плохо... Да, наверно, человеку, воспитанному на святой русской литературе, трудно быть непорядочным.

Утром, после завтрака, Галя засобиралась уходить, сказав, что ей надо заниматься, она и так в последнее время запустила учебу. Я для вида стал ее уговаривать остаться, вместе проведу день, вместе пообедаю... Она слушала меня, потом обняла, крепко поцеловала и все же ушла. Я облегченно вздохнул. Не знал я, о чем говорить с нею целый день.

В середине недели позвонил Виктор.

- Ну как, голуба, все думаешь? - веселым, как обычно, голоском спросил он.

- Да.

- Долговато чего-то... В общем, слушай меня: приходи сегодня к четырнадцати ноль-ноль в "Арагви", один товарищ с тобой хочет поговорить. Ну и пообедаем, пару рюмашек примем. Лады?

- Хорошо, Виктор, - ответил я спокойно, но внутренне все же вздрогнул.

Что они надумали? Что сулит мне эта встреча? Вдруг они меня там возьмут? Стоит ли брать "вальгер"? Вопросы, вопросы... Пистолет я все-таки решил не брать, арестовать они меня могут и дома, и на улице.

Когда я вошел в ресторан, то не сразу увидел Виктора и "товарища", они сидели далеко от входа, в конце зала. Двинулся я к ним неспешной походочкой, построив заранее на физиономии добродушную улыбочку. Стол был уже накрыт, стоял графинчик водки, и лежали тарелки с закуской. Виктор поднялся, тоже ощерив рот улыбкой, и сделал приглашающий жест рукой.

- Познакомься, Николай, это - Ярослав Васильевич, ну а твоё имя-отчество известно. Присаживайся.

Мы пожали друг другу руки, и я уселся с некой небрежностью за столик. Ярослав Васильевич посмотрел на меня немигающим взглядом, но недолго. Отведя глаза, спросил:

- Виктор рассказал мне о вас, но если вы действительно решали работать у нас, то мне хотелось бы с вами немного поговорить. Вашу военную биографию я, конечно знаю.

- Кажется, кто-то из ваших товарищей уже старается что-то обо мне узнать, - улыбнулся я спокойно, но с волнением ждал, как они на сиеотреагируют.

Ярослав Васильевич нахмурился, Виктор засмеялся:

- Как же без этого, так положено, Коля.
- Я тоже так подумал, но в восторг не пришел.
- Как вы это заметили? - холодно спросил Ярослав Васильевич.
- Не знаю, - рассмеялся и я. - Наверно, чутье бывшего разведчика.
- Насколько хорошо вы знаете немецкий? - задал вопрос Ярослав

Васильевич.

- Я учил язык с детства, так что знаю отлично.

- Ярослав Васильевич, разрешите пока разлить? - вмешался Виктор. Тот кивнул, Виктор разлил, пододвинул нам рюмки и тарелки с закуской.

Мы чокнулись и выпили, причем Ярослав Васильевич отпил лишь половину и снова принялся за расспросы.

- Извините, Николай Юрьевич, но нам надо иметь представление о ваших отношениях с Галиной Коваленок. Еще раз извините.

- По-моему, у них все лады, - засмеялся жизнерадостный Виктор.

- Я не тебя спрашиваю.

- Как вам сказать? Мне нравится она.

- И только? Простите еще раз, вы сошлись с нею?

- Я думаю, на такие вопросы мужчина не должен отвечать.

- Ладно, не надо. А жениться вы на ней собираетесь?

- Мы знакомы с ней лишь месяц. Этого мало, чтоб решить такой серьезный вопрос. Вас удовлетворяет такой ответ?

- Да.

- Думаю, Ярослав Васильевич, что я очень скоро буду гулять на их свадьбе. Галка тихая-тихая, а такого парня не упустит. Будем гулять, Николай?

- Наверно, будем, - улыбнулся я.

Ярослав Васильевич поднялся.

- Простите, вынужден вас покинуть. Рад был с вами познакомиться, Николай Юрьевич.

Он пожал нам руки и отправился к выходу. Я невольно проводил глазами его худощавую фигуру с военной выправкой, отметив четкую походку.

- Аристократ... - восхищенно протянул Виктор, кивнув в сторону уходящего Ярослава Васильевича.

- Он, что, из бывших? - удивился я.

- Ну что ты. Это я так про себя называю товарищей из внешней разведки. Знает три языка, имеет два высших образования. Асс своего дела. Работать под началом такого человека - это, говоря высоким стилем, большая честь.

- Да, он произвел на меня впечатление. Только не понимаю, неужто такого короткого знакомства оказалось достаточным для него? Ведь все, что он спрашивал, он мог узнать и через тебя.

- Мог, конечно. Но не в вопросах дело, ему было важно увидеть тебя. Он раскалывает человека с первого взгляда. Вот ты нож правильно держал, а он уже понял, что ты из интеллигентной семьи.

- Ну, об этом можно было узнать из биографии.

- Правильно. Но, понимаешь, для него важно первое впечатление. И Ярослав Васильевич никогда в людях не ошибался. Раз он так быстро ушел, то наверняка составил о тебе уже мнение. На днях я позвоню тебе, а ты решай поскорее. А пока давай графинчик-то добьем. Знаешь, голуба, какие у тебя перспективы, если попадешь к нему? Тут и загранкомандировочки, тут и звания пойдут не хуже, чем на фронте. Это тебе не завод, не проектная контора. Пью за тебя, Коля. Ты мне, понимаешь, с первого взгляда понравился, ты мужик что надо. Давай-ка, за мужскую дружбу, - поднял он рюмку.

- Давай. Ты мне тоже симпатичен, Витя, - пришлось растрогаться и мне.

Со стороны поглядеть - умильная картинка: сидят два мужика и признаются друг другу в любви. А на душе у меня кошки скребут - какую игру ведут со мной эти опытные игроки? Знают ли о главном? О том, что я муж Таи? Ничего пока мне неизвестно, веду игру втемную, да и не веду, пожалуй, а плыву по течению, только и могу стараться не задеть уж явно заметные препятствия. Странно, что и Виктор, и Галя актерствуют одинаково, изображая простоту и полную откровенность. Для рубахи-парня Виктора это естественно, схоже с его внешним обликом, для Галины же, по ее характеру, как мне кажется, более закрытому, притаенному, такая роль подходит меньше. Но надо отметить, что такая манера действует поневоле убедительно - мы тебе верим, а потому с тобой совершенно откровенны. Не обмануться бы этим, не обмануться... И все же (не полный же я идиот!) эта встреча ка-то успокоила меня, не к чему затаивать им разные комбинации, если они меня подозревают. Вполне вероятно, что я и верно показался им подходящим. Судя по тем оперуполномоченным, которых я знал в армии, интеллигентных ребят среди них не было, в основном серые пареньки рабоче-крестьянского происхождения. Возможно, что для каких-то серьезных дел, таких как внешняя разведка, им и нужны образованные и интеллигентные люди...

В четверг позвонила Инна и пригласила к себе на день рождения, предупредив, что у нее никого не будет, и если мне не страшно поскучать и провести вечер с ней, то она ждет меня. Без особой охоты я согласился: во-первых, по той причине, о которой я уже говорил, во-вторых, знал, какую пластинку она заведет.

Перед выходом на улицу я посмотрел из окна, не маячат ли мальчики у нашего подъезда или напротив, но никого не заметил. Привести за собой хвост к Иннинному дому было нельзя. Часто останавливаясь у витрин, кидая незаметные взгляды назад, я не заметил слежки и зашагал спокойнее. Около ее дома приостановился, сделал вид, что шнурую ботинок, убедился в отсутствии мальчиков и после этого вошел во двор.

Инна даже не приделась к своему дню рождения, подкрасила лишь губы. Странно: у нее красивое, умное лицо, но есть в нем какая-то колючесть. Наверно, это и отталкивало от нее мужчин.

Мне порой бывает ее очень жаль, порой она раздражает, но у нас общее детство, юность, а друзей детства не выбирают, да и нет у меня никого сейчас, кроме нее. Я поздравил веселым голосом, отпустил какую-то шуточку. Она глянула на меня со строгим недоумением.

- Что это ты больно веселый?

- А ты хотела, чтоб я нагнал на тебя тоску? - хмыкнул я.

- Ну, проходи и садись за стол. Разносолов у меня нет, но закусить чем рюмку водки найдется.

- Ты и водочкой угостишь? Прекрасно. Держи, я принес кое-что, - передал я ей портфель с купленными кой-какими деликатесами: рыбки немного и колбасы копченой.

- Ты все еще шикуешь? Как твои дела с военным заводом?

- Оформляюсь потихоньку, - ответил я и стал разливать водку.

- Мне тридцать три стукнуло, Коля, - печально сказала она.

- Это для меня не тайна, знаю, ты на год моложе меня.

- Для тебя возраст ерунда, а для бабы тридцать три уже много...

Тая, кажется, на два класса младше была?

- Зачем ты вспомнила Таю?

- Наверно, потому, что ты ее, по-моему, редко вспоминаешь.

- Откуда ты знаешь?

- Ниоткуда, замечаю по твоему виду.

- Скажи, Инна, только правду: зачем ты мне все рассказала? - уставился я на нее.

- Я объясняла тебе не раз... - пожала она плечами. - Чтоб ты знал, где ты живешь и кто нами правит. Теперь я жалею об этом.

- Ты жаждешь, чтоб я стал... героем?

- Героем? Что ты мелешь? Я понимаю, что это невозможно.

- Что невозможно?

- Все, все невозможно! Даже хотеть, чтоб ты стал героем! Это же гибель, разве я этого не понимаю? К тому же ты человек рассудочный, а для **такого** необходима страсть. Даже не воля, а именно - пожирающая страсть! Только она и сможет смести все препятствия. Ну и твоя "тургеневщина", конечно...

- Перестань, Тургенев ни при чем тут.

- Так что, Коля, пройдет у тебя скоро боль, окрутит тебя вскоре какая-нибудь бабенка, если уже не окручивает. И будешь ты жить-поживать и детей наживать, как и многие, которые спокойно утирают чистым платочком от плевка в физиономию, - сказала она это спокойно, без брезгливых интонаций.

Нарочно она это? Хочет, чтоб я взорвался и опроверг все. Не могу, дорогая, ради тебя не могу.

- Не обижайся, - продолжила она. - Ты такой, какой есть. Одно дело быть смелым на войне, другое...

- Заканчивай.

- Зачем? И так все понятно. Прости, что наговорила ерунду. Налей мне... И давай вспомним прошлое.

Так мы и сделали: вспомнили школу, одноклассников и общих знакомых... К удивлению, Инна, увлекшись воспоминаниями, даже забыла поносить советскую власть. Засиделся я у ней до двух ночи. Когда стал собираться, она предложила мне остаться у нее. Мне было не понять, просто так она предложила или?.. Как бы ни было, все равно в положении я окажусь глупейшем. Я отказался...

- Как хочешь, - сказала она довольно холодно.

В пятницу, не без внутреннего напряжения, я позвонил Галине. Я должен ей сказать, что начал ремонт, что в комнате у меня бардак и что, видимо, в субботу, если она, конечно, хочет встречи, мне придется прийти к ней. Откажет или нет? Набрал номер, ответил грубоватый мужской голос: ее нет дома. Через час позвонил снова, тот же результат. Черт подери, неужто не дозвонюсь, и субботнишняя встреча сорвется! Позвонил в третий раз, уже в десятом часу - еще не пришла с работы, ответил тот же голос. Начал нервничать всерьез. В комнате находиться не могу, вышел на улицу и решил потихоньку идти к ее дому, а по дороге звонить из автоматов... Позвонил с Садовой, не доходя до Малой Никитской, - снова отвечает мужчина. Дошел до особняка, завернул налево, на ходу кинул взгляд на окна ее комнаты - света нет. Двинулся дальше в надежде встретить ее. Миновал ее дом, прошел дальше до переулка, там остановился и стал вглядываться в даль улицы и среди редких прохожих увидел быстро идущую женщину, похожую вроде на Галину, бросился вперед - да, она! Черт возьми, даже затрепыхалось сердце, будто и верно увидел любимую...

- Наконец-то! - выдохнул я. - Весь вечер звоню тебе, - обнял я ее.

- Вы меня у подъезда ждали? - с тревогой спросила она.

- Нет. Только прошел мимо и глянул на окна...

- Разве вы знаете, где окна моей комнаты?

- Нет, конечно. Ну, пойдем. Понимаешь, я не успел закончить с ремонтом, вот и звонил тебе, чтобы договориться, где нам встретиться... Прошла же целая неделя, и я так... так хочу побыть с тобой, - с трудом нашел я слова. Сказать "хочу тебя" я не осмелился.

Мы дошли до ее подъезда, остановились. Лицо ее показалось мне озабоченным. Видно, чтоб пустить меня к себе, ей нужно преодолеть какое-то табу. Я взял ее руки. Ну-ну, решай, милая, мысленно твердил я, не стоять же тут, у парадного, вон уж и "мальчики" стали поглядывать... Ну-ну! Но она молчала. Я не выдержал, вплотную приблизил к ней свое лицо и прошептал страстно:

- Я хочу тебя... Хочу...

Она отодвинулась от меня и тоже прошептала:

- Очень поздно, да и нечем мне вас угостить.

- Какие к черту угощения?! - чуть не вскрикнул я. - Ты мне нужна, ты! Понимаешь?!

- Ну, пойдемте... - открыла она дверь подъезда.

Я еле сдержал вздох облегчения. Мы поднялись по лестнице, у квартиры на левой стороне площадки она вынула ключ и шенула:

- Только потише, не хочу, чтоб соседи узнали.

Мы тихо прошли по темному коридору, и вот... вот, наконец-то, я в се комнате! Она зажгла свет.

- Вот видите, как у меня... Конечно, лучше, чем в общежитии. Садитесь. Я пойду поставлю чайник.

Когда она вышла, я бросился к окну - ворота почти напротив! Близко, очень близко! Даже свет от фонаря над ними доходит до меня! Я глубоко вздохнул и отвалился от окна. Именно, отвалился, словно насытился реальностью достигнутой цели, этими проклятыми воротами, к которым я прочертил уже в своем сознании траекторию летящей гранаты. Я опустился на стул, почувствовав, что меня бьет легкая дрожь. Вернулась Галяна, подошла к буфету и стала что-то из него доставать.

- У меня и вправду ничего нет. Вот хлебца немного, слахар... - виновато сказала.

- Я сыт, Галя, попьем чайку и все...

Тут застучали в дверь. Она открыла.

- Чтой-то ты заперлась, Галка? А... у тебя гость, - сказал сосед, увидев меня. - У тебя папироски не завалилось?

- Я же не курю.

Я поднялся, подошел к нему и вытащил пачку беломора.

- Пожалуйста.

- Спасибочко. Можно парочку? - он кинул на меня острый взгляд.

- Берите, берите, - улыбнулся я ему.

Он взял несколько, но не уходил, долго разминая папиросу, потом долго искал по карманам спички, пока я не дал ему.

Между тем Галя, наблюдая за действиями соседа, шагнула ко мне и спросила:

- Вы звонили Виктору?

- Мы встречались позавчера, Галя.

- Потом расскажете.

Подозрительный блеск в глазах соседа потух, он затаился дымком беломорины, поблагодарил еще раз и ушел.

- Тебе не будет нагоняя? - спросил я.

- За что?

- Ты же говорила, что вам не рекомендуют приглашать знакомых. И сосед-то не зря, наверно, захотел курить.

- Да... Но вы же не только знакомый, - слабо улыбнулась она.

- Но никто же об этом не знает. Кстати, это Ярослав Васильевич, с которым Виктор устроил встречу, спрашивал о тебе...

- Что?

- Сошлись ли мы... Я сказал, что мужчины на такие вопросы не отвечают.

- Виктор тоже спрашивал меня. Я отшутилась чем-то. Не надо никому говорить, это же только наше дело. Правда?

- Конечно.

- Когда меня спрашивали подруги, имею ли я любовника, мне как-то чудно было. Ну, что значит любовник? Это что-то такое лишь для постели, зачем он?..

Подожди, разберешься, усмехнулся я про себя, ты еще девчонка.

- Любовника же можно и не любить, верно? А вот любовь - это что-то совсем другое, что-то гораздо большее, чем... Понимаете? Любовь - это когда... когда, ну... все можешь отдать... Даже жизнь. Разве не так?

- У тебя немного книжные представления о любви, но в общем-то это так.

Она стала разливать довольно-таки жидковатый чай.

- Что-то ты сегодня бледненькая?

- Нездоровится немного.

Когда мы попили чаю и она вышла на кухню мыть чашки, я снова прикинул к окну... И тут навалилось на меня - эти ворота и черный "зис" будет последним, что я буду видеть в жизни, последним... Пробежал знакомый холодок по низу живота, и я подумал, что вряд ли сегодня у меня что-либо получится с Галиной.

Она вернулась, мы о чем-то еще немного поговорили, а когда стали ложиться спать, она виноватым голосом сказала:

- Знаете, мне сегодня... нельзя...

- Не важно, Галя, все же будем вместе, - и я от души поцеловал ее, обрадованный этим.

Я долго не мог заснуть... Как-то трудно реально представить, что вот в этой убогой комнатке ты неминуемо примешь смерть. Там, у окна, я и упаду, когда пушу себе пулю с голову... Сюда вбежит с пистолетами в руках перепуганная охрана...

С тех пор как я решил, часто думаю о смерти, и мне казалось, что я подготовлен к ней, и вышло это у меня сравнительно легко, ведь четыре года войны что-то значат, образовалась уже привычка к смерти, хотя там и была всегда хоть и махонькая, но надежда, что пронесет, проскочит смерть мимо. Сейчас никаких шансов нет...

Мертвенный свет фонаря над воротами проникал в комнату и немного освещал... Я поглядел на спящую Галю, ровно дышащую, с той же полуулыбкой на лице, которая была у ней, когда ночевала у меня, и с той же неотвратимой реальностью, с какой представлял свое, валяющееся на полу тело, представил, что и она же тоже обречена...

И здесь она приоткрыла глаза, потянулась ко мне и стала гладить меня по лицу, а потом осторожно, чтоб не разбудить меня, несколько раз поцеловала. Я резко повернулся к ней спиной, нельзя, нельзя принимать мне ее ласки, это выше моих сил!

Когда она снова уснула, я закурил, стараясь глубокими затяжками привести себя в более или менее спокойное состояние... Я же солдат, раздумывал я, и сколько раз я водил подчиненных в разведку, твердо зная, что неизбежно будут потери, что кого-то обязательно убьет. Но я шел и вел за собой людей, и все ради какого-то вшивого фрица, который чаще всего никаких нужных сведений дать не мог. И я же примирялся с этим и не считал себя виноватым.

Только под утро я забылся ненадолго - поднялась Галина и начала ходить по комнате, потом принесла чайник с кухни и тихонько дотронулась до меня.

- Коля, пора вставать. Чай готов...

Я потянулся, открыл глаза...

- Ты не выспался?

- Да, плохо спал, как всегда, на новом месте.

- Одевайся, быстренько позавтракаем, и мне пора...

Я понял, что она не хочет или не может оставить меня в своей комнате, и во мне поднялось раздражение. Вот как, оказывается, спать-то ты со мной спишь, но все же не доверяешь. Из-за тебя я не смогу посмотреть, как я надеялся, на выезжающий "зис", чтобы прикинуть в уме, как все должно быть. Но выражать недовольство нельзя, я поднялся и оделся.

Мы вместе вышли из дома, вместе сели на Садовой в троллейбус. Я слез неподалеку от своего дома, у Лихова переулка, она поехала дальше, до Колхозной... Черт ее дери, думал я, поднимаясь по лестнице! Сюсюкает, лепечет про какую-то необыкновенную любовь, за которую можно отдать жизнь (начиталась сердцешипательных романов!), а сама боится оставить меня одного в своей комнате, значит, что-то подозревает? А раз так, то весь лепет, робость - притворство с целью заморочить мне голову, чтоб я расслабился и на чем-то, невзначай, прокололся. А ведь и получилось, рассиропился я, начал чуть ли не жалеть ее... И что же, выходит, все зазяр. Нет, милая, так дело не пойдет! Кроме твоей комнаты, другого места у меня нет. Не забывай, что я бывший разведчик, связать тебя и заткнуть кляпом рот мне хватит и трех минут, пикнуть не успеешь, а там лежи и смотри, как я буду разделяться с твоим главным шефом... От этого непредвиденного препятствия пришли ко мне и азарт, и злость.

Однако, придя в свою комнату и удобно расположившись в кресле, после двух крепких затяжек и недолгого раздумья, я обнаружил крупные изъяны в этом плане. А вдруг тем утром машина не выедет из ворот? И что тогда?.. Держать ее связанной до вечера или до следующего утра? А если хватятся ее на работе и примчатся? Или кто из соседей, случайно оказавшихся дома, что-нибудь заподозрит?.. Нет, не годится это, не годится... Во что бы то ни стало надо сделать что-то такое, чтоб она оставила меня в комнате одного. Возможно, у нее и нет недоверия ко мне, просто ей, как и всем жильцам этого дома, категорически запрещено оставлять посторонних у себя. И это вполне разумная мера безопасности. Что же придумать? Звонить Виктору и быстрее оформляться, чтоб стать "своим"? Или попытаться снять слепок с ключей Галины, воспользовавшись временем, когда она выходит из комнаты? В квартирной двери, кажется, английский замок, а в ее комнате внутренний, да еще старорежимный, с затейливой бородкой, такой ключ по слепку сделать трудно, да и делать-то придется самому, в мастерскую со слепками не пойдешь. Сделать, может, и сделают, но в милицию заявят. В общем, думать и думать...

На днях получил письмо от своего бывшего разведчика, Яшкицыгана. Письмо без штемпеля и марки, видимо, опущено прямо в почтовый ящик на двери. Яшка писал, что с ним все в порядке, произошло все так, как он и задумал, так что "спасибо, командир, за то, что принял меня и приютил на пару дней. Выйду, погуляем в хорошем ресторане".

Яшка появился у меня вскоре после моего возвращения в Москву. Мы обнялись, распили принесенную им бутылку, после чего он и рассказал мне, что с ним приключилось. Ко мне в роту он попал в конце войны, из госпиталя, по повадкам был он, наверно, из блатных, хотя о своей биографии и не распространялся, однако был смел, разведческие навыки имел, часто развлекал нас песнями.

- Вот, командир, пришел к вам, как к отцу родному, и все начистоту выложу, - начал он. - Можете выгнать, можете оставить, но знаю, что не продадите. Вот такое дело получилось. Нервный я стал, армия остоебенила, а меня все никак не демобилизуют, а тоска по воле заела так, хоть дезертируй. Но я держался. Правда, выпивать стал часто, ну и по пьянке разругались мы со взводным, он меня по мордасам, ну а я его кинжальчиком офицерским. Трибунал верный, срок тоже. Ну и пришлось мотать...

- Что же делать собираешься? Поймают же.

- Есть у меня планчик, командир. Сейчас на вокзалах полно демобилизованных со справленными документами, вот и надо достать. Книжечки - то красноармейские без фотки у нас, как вы знаете. Конечно, в тот военкомат, в который направление, я не поеду. Тут придется один фокус произвести - сесть на годик. Подерусь с кем-нибудь, ну и за хулиганство влепят мне, просiju, не велика беда, зато отсюда с чистым документом выйду, паспортшко законный получу, ну и гуляй... Поняли, командир, комбинацию?

- Понял.

Две ночи пропадал Яшка на вокзалах, на третью заявился с сияющей физиономией - "Порядок в танковых частях, командир. Благодарю за приют, за хлеб-соль, век должником буду". И испарился. Теперь вот письмо...

Прочел я его и задумался. Почему же я примирился с гибелью и даже ни разу не подумал о каких-то возможностях спасения? Конечно, из Галининого подъезда мне не выбраться, но я видел у них на кухне дверь черного хода, выходящую, наверно, во двор. Видел я и двери в правой стороне коридора, окна этих комнат должны выходить во двор. Если в них в то время не будет соседей, можно взломать и выпрыгнуть в окно, третий этаж, конечно, но невысокий, так как первый в этом доме почти полуподвальный. Как-нибудь приземлюсь. А со двора - на Герцена, оттуда на Поварскую, ну и дальше по переулкам... А там схватить какую-нибудь машину и на вокзал, в Кувшиново, к Ивану... Конечно, объявят всесоюзный розыск, но страна - то большая... Доберутся, разумется, и до Ивана, но для этого надо в архиве найти список всей моей роты, потом угадать, к кому из

ребят я мог поехать. На все это нужно время. Недельку у Ивана я смогу прожить. Но документы? Нужны документы на другую фамилию. Эх, Яшку бы тут на помощь, но он сидит. Хорошо еще, что своим письмом заставил он меня задуматься... Застрелиться-то всегда успею. Несомненно, что рано или поздно попадусь, но ведь все-таки какие-то годы жизни... Жизни ли? Мотаться по всей стране обложенным волком, ежеминутно ожидая ареста, разве это жизнь? Ну а другое - это то, что я представил в Галининой комнате: у окна свой труп с раздробленным черепом...

С ремонтом в своей комнате - побелкой потолка и обклейкой новыми обоями - я, естественно, не очень торопился, мне нужно было, чтоб Галя привыкла к моим ночевкам у нее, чтоб стало это обычным. Возможно, каким-то утром она и оставит меня в своей комнате...

- Что-то вы долго возитесь, устраивая свое гнездышко, - сказала Влада, зайдя ко мне за чем-то.

- Зачем спешить?

- Ну как же? Разве вы не собираетесь привезти из общежития свою девушку?

- Хотите снова поразить меня своей наблюдательностью? - ухмыльнулся я. - Не угадали на этот раз, у нее есть комната.

- Тогда прошу вас, будьте любезны, предупреждать нас, когда вы не будете ночевать дома, а то мы ту ночь держали дверь лишь на английском, а это опасно.

- Сам не знал, что задержусь. Прошу прощения, Владочка.

- Прощаю. Только теперь, если снова будут спрашивать о вашем поведении, придется сказать, что моральный облик не ахти, - засмеялась она.

- Не выдавайте, Влада, соседи же мы.

- Уж так и быть...

Да, жизнь у меня напряженная. Приходится каждый разговор принимать не просто, а размышлять - что за ним? Пришла вот Влада, а зачем, для чего? Какой подтекст за обычными вроде словами? То же и с Виктором, с Галиной...

Сегодня вечером, кстати, я решил нагрянуть к ней без предупреждения, а перед этим зайти во двор ее дома, узнать, не забита ли дверь черного хода, думается, что должна быть забита. Забегая вперед, скажу, что оказался прав - забита, конечно.

Открыл мне дверь тот сосед, который приходил за папиросами; мы поздоровались, глазами он меня не сверлил. Когда я постучал в комнату Гали и она открыла дверь, глаза ее были вроде испуганными.

- Вы бы предупредили... - тихо заметила она.

- А зачем?

- Ну, я бы чего-нибудь приготовила.

Я вошел в комнату, обнял ее и начал целовать. Она как-то вяло принимала мои поцелуи.

- Что с тобой? Опять нездоровится?
- Нет. Сегодня вспомнила, как столкнулась с вашей соседкой в коридоре, и она на меня очень зло посмотрела. Не понравилась я ей, видно.

- Ну и что? Женщины редко нравятся друг другу.
- Почему? Мне вот она понравилась, очень интересная. Кто она?
- Художница. Между прочим, обещала подарить нам две картинки.
- Вы сказали - нам? - спросила она с придыханием.
- Да. Ты же будешь жить у меня.
- Не знаю... Знаете, мне почему-то кажется, что ничего у нас не выйдет... Вам же скучно со мной, разве я не вижу.

- Не выдумывай глупостей.
- Я не выдумываю... Я вот проснусь ночью, когда мы вместе, гляжу на вас, и мне становится страшно, что недолго, очень недолго вы будете со мной... Может быть, когда-нибудь вы узнаете, как я умею любить.

- Глупенькая, никуда я от тебя не денусь. Неужто ты не веришь мне?
- Я верю... Но какое-то предчувствие, что скоро, скоро случится что-то такое, которое нас разлучит.

- Ничего не случится, - как можно увереннее сказал я, а сам подумал, что женская интуиция совсем не выдумка, а реальный факт.

Что-то передается ей от меня. Мои мысли, моя постоянная настороженность и напряжение. Она, по-видимому, чувствует некую опасность, идущую от меня. И надо что-то сделать, чтоб притушить ее предчувствия, но для этого, наверно, надо быть гениальным актером, чтоб перевоплотиться не только внешне, но и внутренне. А куда я дену все то, что внутри меня?

За чаем разговор у нас не клеился, я думал о своем, она тоже. Легли мы спать около одиннадцати, она сказала, что ей надо завтра встать пораньше. А ночью я думал, стоит ли мне завтра пытаться остаться у нее под каким-либо предлогом или уйти вместе с ней, чтоб не появилось у нее никаких подозрений? Я решил, что если не будет она меня будить, то не встану. Но она разбудила, больше того - спросила, скоро ли я закончу ремонт.

- А что? - спросил я.
- Понимаете ли, все же неудобно у меня... Соседи...
- При чем соседи? Ты взрослая женщина.
- Взрослая, конечно... Но... этот особняк напротив. Понимаете?
- Ах, вот в чем дело, давно бы сказала. Хорошо, больше не буду приходить к тебе.

- Нет, вы приходите... Вот только... поспать я вам не даю... приходится вам со мною уходить.

- Понятно, - как можно непринужденнее рассмеялся я. - Интересно, а когда мы распишемся, ты тоже будешь выгонять меня по утрам?

- Тогда... тогда, наверно, нет, - улыбнулась и она.

Наскоро позавтракав, мы опять вышли вместе. И как раз в тот момент, когда открылись ворота и шестеро "мальчиков" расположи-

лись с двух сторон ворот. Конечно, мы не остановились, но не дошли еще до Садовой, как мимо нас прошелестела машина, и я наконец-то увидел на секунду мясистое лицо в пенсне... Наконец-то! Мне бросилась кровь в лицо, потом я похолодел - как близко от меня он был. Если бы не пуленепробиваемые стекла, можно было пристрелить запросто. Так близко, так близко... В душе у меня все переворачивалось, и мне стоило огромных усилий сохранить внешнее спокойствие, тем более что Галя держала меня под руку. По-моему, она ничего не заметила и не почувствовала, потому что, когда я потом шутливо сказал с улыбкой, что наконец-то сподобился живьем увидеть ее шефа, она безразлично ответила, что видит его довольно часто из окна... В троллейбусе мы о чем-то перекидывались словами, а мне мучительно необходимо было побыть одному, я еле дождался своей остановки.

Неясный образ этого человека, знакомого мною лишь по плохим газетным фотографиям, облекся в живую плоть. И эту плоть я хочу видеть разорванной на куски. Не хочу, а сладострастно жажду этой минуты, которая будь хоть и последней, но и самой ослепительно счастливой. Я пришел домой, достал из буфета бутылку водки и налил себе стакан, сейчас мне это необходимо. Медленно выпил и закрыл глаза... Я прокрутил мысленно всю картину того, что должно произойти: я стою у окна, одна граната в руке, вторая на подоконнике, медленно открываются ворота, и вот черная машина выдвинулась из ворот блестящим капотом и медленно делает поворот, и... тут, тут я кидаю первую гранату, взрыв, крики охраны, я кидаю вторую, машина заваливается на бок и разваливается на куски в дыму и огне... Я свободно вздыхаю, расправляю плечи, будто освободился от какого-то страшного груза... Какое-то время у меня есть, и я с наслаждением закуриваю, и только тогда, когда вижу, что несколько человек врываются в подъезд, я подношу пистолет к виску...

Я открыл глаза, но продолжал сидеть. Очень, очень зримо прокрутилась передо мной эта картина. И в ней не оказалось места для страха, только какое-то **освобождение** от взятого на себя зарок или обета, не знаю уж, какое слово тут лучше подходит. Потом я поднялся, налил себе еще полстакана, выпил и вышел из дома. До Колхозной я дошел пешком, а там сел в троллейбус и поехал на Пятницкое...

Никакого надгробия на могилу Таи не было, стоял лишь крест над могилкой ее родителей. Лежали засохшие цветы, которые я принес месяц тому назад. После же того, как я узнал все и решился, я не приходил сюда. Почему-то мне казалось, что я не имею права, пока не осуществлю задуманное. Но я приду и принесу цветы перед тем днем, который так ясно представился мне сейчас... Не знаю, отчего, но я в этих записках не могу говорить о Тае, да и кому это нужно? Достаточно, наверно, знать, что я очень и очень любил ее. Да это и ясно, не любил бы - не пошел бы на **такое**...

В следующую ночевку у Галины мне удалось сделать слепки с ее ключей. Сегодня сижу и выпиливаю, благо инструмент у меня имеется, я с детства любил слесарничать. С английским ключом проблем не было, сделал я его очень быстро, а вот с ключом от ее комнаты пришлось повозиться. На бородке столько всяких вырезков и закорюк, что мучался целый день, и не было уверенности, что удалось сделать точно, что ключ подойдет. Но в субботу я пойду к Галине и, надеюсь, смогу опробовать.

На тот вечер мы с ней договорились, а потому я был удивлен, что встретила она меня безрадостно и казалась чем-то серьезно расстроенной. Я спросил, в чем дело, может, какие-то неприятности на работе?

- На работе все нормально, - с холодком ответила она.

Нормально так нормально, подумал я, надеясь, что вскоре ее настроение поправится. Вспомнив, что в предыдущий вечер она взалб слухала мои фронтовые байки (наконец-то я нашел тему для разговора), я начал опять рассказывать ей разные истории. Но ожидаемой реакции не последовало - слушала она невнимательно и равнодушно.

- Слушай, Галя, ты чем-то расстроена. Что случилось? - пришлось впрямую спросить ее.

Впрямую, потому что все же завязано на ней, и каждый нюанс ее настроения мог отразиться на моих планах. Она не ответила и лишь через какое-то время ошарашила меня вопросом:

- Почему вы ничего не сказали мне о своей жене?

Первой мыслью было, откуда она узнала? Если от Виктора или других своих сотрудников, - все пропало.

- Почему?... - сделал я паузу. - Не считал нужным. К тому же мне трудно о ней говорить. Удовлетворена?

- Я понимаю, что трудно...

- Ну и кончим на этом?

- Да... Ваша соседка такая дрянь, она мне такие гадости наговорила...

Черт подери, этого еще не хватало!

- ...Сказала, куда вы, милочка, лезете, у Николая была красавица-жена, а вы посмотрите на себя в зеркало, ну и еще что-то... Я не стала слушать и убежала...

Вот сучка эта Влада! Видимо, действительно хотела меня обработать.

- А где ты с ней встретилась?

- На улице...

- Ну и чего ты скисла? Подумаешь, наговорила, потому что обозлилась, что я на нее ноль внимания, а на тебя вот обратил. Ты что, не знаешь женщин? Ну, улыбнись, глупенькая, - как можно поласковее сказал я и приобнял ее.

- А отчего умерла ваша жена?

Что отвечать? Надо, наверно, правду.

- У нее вообще было слабое сердце. Беспокоясь за меня, она страдала бессонницей, ну и принимала снотворные, в ту ночь... приняла, видимо, слишком много...

- Господи, какое несчастье... Вы приезжали на похороны?

- Что ты?! Я письмо-то от подруги получил, наверно, через месяц... Да и кого с фронта отпускали.

- А вы очень любили свою жену? - спросила она после недолгой паузы.

- Да, любил...

Спрашивать больше о жене она, видимо, сочла неудобным, переменить сразу разговор тоже, а потому начала о своем лишь спустя некоторое время.

- Вы понимаете, почему я так расстроилась. Я же все время думаю, что не подхожу вам, а тут она наговорила, прямо по живому резала... Будто знала, что я без конца о том и думаю.

- Зря думаешь... Я же с тобой, а... не с ней, - улыбнулся я. - Ну, хватит хмуриться-то. Все это пустяки, - болтал я еще чего-то, пока она не улыбнулась и не успокоилась.

За чаем я думал: слава Богу, что о жене она узнала от Влады, а не от тех, о ком я сразу подумал. Но все же нервишек этот разговор стоил. Я, наверно, повторяюсь, но скажу, постоянное напряжение, когда следишь за каждым своим не только словом, но и движением, когда постоянно настороже, - все это сильно утомляет и, кроме этого, даже опустошает. Конечно, я живу теперь особой и ненормальной жизнью. Вот сейчас я жду, когда Галя выйдет из комнаты, и раздражаюсь, что сидит сиднем, а мне надо проверить сработанный ключ - подойдет или не подойдет? Наконец-то пошла мыть посуду. Бросаюсь к двери, вынимаю ключ, вставляю свой, что-то не крутится. Сравниваю ключи - маловат вырез в бородке, придется подточить дома, делаю второй слепок и быстро сажусь за стол, словно нашкочивший мальчишка. Тьфу, противно!

Думаю, что завтра останусь у нее на весь день, грозились сотворить обед и накормить меня. Что ж, пусть попривыкнут ко мне и соседи. Может, купить вина и пригласить завтра того мужичка, который приходил за папиросами. Пойду приглашать, заодно и посмотрю, действительно ли окна его комнаты выходят во двор. Не очень-то я рассчитываю на то, что удастся спастись, но... А может, и не стоит приглашать? Это же дешевка с помощью бутылки набиваться на знакомство. Соседа это может насторожить, глазки у него вездивые, высматривающие, тип в общем-то противный.

Утром, после завтрака, Галина собралась идти на рынок, купить что-то для воскресного обеда. Зная, что у нее мало денег, я предложил свои.

- Нет, не надо, у меня есть, - запротестовала она.

Тогда я стал собираться, чтоб пойти вместе, и тут - удивление.

- Думаете, я не донесу купленное? Я схожу одна.

- Как хочешь, - пожал я плечами, подумав, что, по-видимому; в воскресенье, когда дома все соседи, оставлять меня одного в комнате можно, да и шеф ее, вероятно, на даче.

Ну а мне есть чем заняться в ее комнате. Во-первых, не спеша - ключом, потом мне надо найти место, куда я бы мог спрятать свои припасы, ну и вообще осмотреться как следует, ведь в середине следующей недели, если ничего не помешает, я и должен совершить задуманное...

Утром мы с ней вышли, как обычно, вместе... Я зашел к себе домой только для того, чтоб взять старый, еще отцовский, довольно вместительный портфель, с которым я и поехал в Останкино, соблюдая все меры предосторожности. Попасться там на месте было бы глупее глупого. Я без труда нашел и полянку и место, где закопал гранаты, но за работу принялся не сразу, а лишь после того, как обошел вокруг поляны лес, что, может, и было излишним, так как шагал я по аллее один, она была прямая и просматривалась в ту и в другую сторону на километр. Быстро выкопав гранаты, я положил их в портфель и неторопливым прогулочным шагом направился к выходу, решив на останкинском круге взять машину, чтоб не толкаться в трамвае, где вдруг кто-то в тесноте прижмется к портфелю и нащупает довольно объемистые цилиндры корпусов, а москвичи - народ в большинстве своем воевавший, понять им будет нетрудно, что это за цилиндрики.

Благополучно вернувшись домой, я стал думать, под каким видом переправить их Толе, к Никитским, чтоб они были у меня почти под рукой. Решил под видом посылки. Разыскал я в чулане фанерный ящик, завернул разобранные гранаты в тряпки, чтоб не гремели, забил крышки гвоздями и обшил материем, как это делают с почтовыми посылками. Теперь осталось только написать какой-нибудь выдуманный адрес. Занесу Толе, скажу, что не приняли на почте, а мне нужно по делам, пусть, дескать, полежит пока у него а на днях я зайду...

Так я и сделал... Толик радушно меня встретил, взял посылку, сказал, что пусть полежит. О чем-то мы еще поговорили, и я вышел, дошел до бульвара, и... тут ударило мне в сердце - что же я сотворил?! Как можно быть таким легковерным?! Разве не вероятно, что не случайно оказался Толик в поезде, не случайно рассказал мне о пистолете, не случайно продал его мне, а я... я самую важную улику, не оставляющую никаких сомнений о моем замысле, оставляю у него дома!

Я резко остановился, потом прошел на бульвар, сел на скамейку, жадно закурил... Но ведь больно славным казался мне Толик парнем, к тому же стихи, такие правдивые, искренние... Однако и они не дураки, чтоб подсовывать людей, которые с первого взгляда вызывают недоверие. Наверно, подбирают именно симпатичных на вид, располагающих к себе.

Ну что я сижу раскуриваю? Когда он, быть может, в этот момент раскурочивает мою посылку! Я поднялся и быстро зашагал к Толиному дому, соображая, что же мне делать, если я действительно

застану его при вскрытии ящика? Однако, подойдя к его подъезду, я понял, что ничего делать мне не надо, поздно уже, я провалился и придется либо пускать пулю в лоб, либо исчезать...

У двери Толиной квартиры я закурил еще раз и позвонил. Открыла пожилая женщина, я буркнул: "Мне Толю", отодвинул ее плечом и помчался по длинному коридору, без стука и резко открыл дверь его комнаты и вошел в Толину комнату. Он сидел за столом и что-то писал, крапал, видно, свои стихи.

- Что-нибудь забыли, Николай Юрьевич? - поднялся он.

Я не успел ответить, как вошла женщина, открывшая мне дверь. Я понял, что это его мать, и стал извиняться, что так бесцеремонно ворвался, не поздоровавшись и не испросив разрешения.

- Господи, я уже давно ко всему такому привыкла, - улыбнулась она.

- Мама, это Николай Юрьевич, о котором я тебе говорил.

- Да, говорил, что он хоть и капитан, но вполне интеллигентный человек, что он и подтвердил сейчас, попросив извинения, - она лукаво посмотрела на меня.

Мы все рассмеялись... Я вздохнул с облегчением, ну что я выдумал? Разве может такой интеллигентный мальчик из хорошей семьи (использую я старорежимное выражение) быть их пособником. Однако надо объяснить чем-то свое возвращение.

- Толя, я как будто бы напутал адрес на посылке.

- Сейчас достану, я ее под кровать сунул, - он полез и вытащил ящик.

- Так и есть, неправильно написал номер дома. У вас есть химический карандаш?

Он дал мне карандаш, я переправил цифру... Толина мать предложила выпить чаю.

- Спасибо, но мне надо идти. Еще раз простите.

Я распрощался с ними успокоенный - нелепо было подозревать этого милейшего парня. Нельзя, нельзя думать так обо всех...

Итак, вроде бы все подготовлено... Ключ от Галининой двери я подправил, проверил, с ней договорился, что приду послезавтра. Приду от Толи с портфелем, в котором принесу гранаты. Чем ближе к цели, тем меньше в моей душе сомнений и разлада. Итак - послезавтра. Неприятный холодок все же разливается по телу, такой же, как всегда было перед поиском, перед выходом на нейтралку, но я знаю, все проходит, когда добираешься до немецких окопов, - там уже не до каких-то ощущений, там сосредоточиваешься лишь на одном. Так будет у меня и послезавтра.

Единственной помехой может оказаться лишь одно: когда я возвращусь в квартиру, кто-нибудь из жильцов окажется дома и заметит меня. Не знаю, удовлетворит ли их то, чем я объясню свое появление в квартире - Галя забыла что-то и попросила меня вернуться. Но все равно тогда мне придется уходить, и дело отклады-

вается. Может и не выехать в это утро машина, и что тогда? Уносить гранаты или оставить; если второе, то где спрятать в махонькой комнате почти без мебели? И еще, конечно, не исключено, что мой портфель вызовет вдруг подозрения "мальчиков", болтающихся у особняка, и они остановят меня, тогда... тогда придется отстреливаться и попытаться убежать, что весьма проблематично...

Вечером я пошел в Каптельский, хотелось напоследок поглядеть на дом, где жила Тая, где я часто крутился на велосипеде перед ее окнами, куда молчаливо провожал после школы. Молчаливо, потому как почти полтора года я не решался заговорить с ней и шел не рядом, а поодаль. Около своего парадного она кидала на меня выразительный взгляд и через некоторое время выходила гулять со своей собачкой, которую вела в церковный двор, находящийся рядом с домом. Там мы и гуляли, по несколько раз обходя небольшую церковку... Церковь снесли еще до войны, на ее месте построили школу, пропал и милый церковный дворик... Я постоял напротив дома, посмотрел на окна первого этажа, откуда часто выглядывала она, когда я вертелся по небольшому кругу на велосипеде... И вот чудо - в бывшем Таинном окне я увидел двенадцатилетнюю девчонку с такой же пепельной косой, какая была у Таи... Богты мой, как давно все это было и как безвозвратны, увы, дни нашей жизни...

Обратно я шел к себе пешком, на Самотеке зашел в кафе и выпил пива. Я был почему-то очень спокоен, я с печалью, но без боли прощался с прошлым, и этот день показался мне очень значительным, я нахожусь сейчас у последней черты, а этот миг, наверно, всегда очень важен для человека...

Сейчас я дописываю последние строчки. Мне надо еще спрятать их в тайник, нарисовать план и отнести его Инне, поглядеть на нее, быть может, выслушать какие-то едкие словечки и мысленно проститься с ней. Ведь, несмотря на то, что так часто спорили, пикировались, она для меня все же очень дорогой человек. Вот и будет первой читать мою исповедь и, не сомневаюсь в этом, мысленно снова спорить со мной и упрекать меня в чем-то... Ну что ж, милая и колючая Инна, пора прощаться. Скажу только, что, несмотря на твою агитацию и пропаганду, мой будущий поступок не имеет политических мотивов, он - мое личное дело, мое возмездие, не свершив которого я просто не смогу дальше жить, потеряв к себе всякое уважение как к личности. Ну, еще раз, Инна, прощай...

Ну вот, на этом и заканчиваются Колины записки... Конечно, я всплакнула на этой последней странице, зримо встала передо мной прощальная наша встреча, которую я и должна описать подробно. Он позвонил мне на работу и попросил на минутку выйти. Он был совершенно спокоен и даже улыбнулся, когда приступил к разговору.

- Значит так, Инна... Я кое-что нацарапал, думаю, для тебя будет небезынтересным когда-нибудь это почитать. Записки я спрятал в тайничке в Ботаническом саду. Ты знаешь, конечно, аллею, идущую

параллельно 1-й Мещанской. Так вот, дойдешь до четвертого фонаря, сделаешь пять шагов от него в сторону забора... Посмотри схемку, - он показал мне листок бумаги. - Запомнила? Все очень просто. Покопаешь немного, и найдешь тетрадку, завернутую в клеенку...

- Я что-то не понимаю... - сказала я, хотя страшная догадка охолодила сердце с самого начала разговора.

- И не надо ничего понимать. Ты должна дать мне слово, что эту тетрадку ты достанешь только через много лет, ну через пять, не меньше. И еще - дай слово, что ты не будешь ни звонить мне, ни заходить в мою квартиру и никого и ни о чем не расспрашивать. И вообще лучше тебе забыть, что мы были знакомы или, во всяком случае, ни с кем обо мне не говорить. Договорились? Эти условия для твоего блага.

- Скажи...

- Я ничего больше сказать не могу, - оборвал он меня.

- Николай... значит, ты...

- Инна, я же сказал тебе - ничего больше.

У меня подкосились ноги, и я схватила его за руку и повисла на ней.

- Что с тобой?

- Совсем не держат ноги, - постаралась я улыбнуться. - Пойдем присядем где-нибудь.

Мы зашли в ближайший дворик, нашли там скамейку и сели. Я попросила закурить, он дал мне папироску, я жадно затянулась и стала судорожно соображать, что же мне делать? По всему видно - он решил, чем можно удержать? Я же не хочу, чтоб он погиб! Чем? Сказать, что я его обманула и все выдумала, что ничего подобного с Таей не произошло, она действительно перебрала снотворного. А я нафантазировала на основании рассказа одной своей подруги, которая жила на Герцена и около нее один раз остановилась машина с Берией, вышли два молодца, но она убежала (это, кстати, правда). Нафантазировала, чтоб иметь человека, с которым можно было разделить мою ненависть к режиму, к этой банде. Чтоб иметь единомышленника, с кем можно было бы поговорить по душам, а не задыхаться одной в безысходной ненависти? Поверит ли он этому сейчас? Боюсь, не уложится у него в сознании, что неправду можно сказать человеку и тем толкнуть его на поступок, цена которого жизнь! Ну и какой подлой дрянью я ему покажусь! Но на это наплевать! Надо же спасти его любой ценой.

- Николай, - начала я, - а у тебя никогда не было сомнений в том, что я сказала тебе правду?

- Нет, конечно. Такое нельзя выдумать.

- Ну, положим, выдумать можно все что угодно.

- Зачем, какая цель?

- Ну а если я психопатка? Сумасшедшая? Тебе не приходило такое в голову?

- Прекрати, Инна! Хватит! - холодно и жестко сказал он.

- Нет, я продолжу. Как ты можешь решать свою судьбу, доверившись только моим словам. Для тебя не секрет, что я сумасбродная баба. Положим, я была не только влюблена в тебя, но и любила, а не получив

взаимности - возненавидела тебя. Вот и придумала, чтоб тебя погубить. Может так быть!

- Не может, - усмехнулся он.

- Много ли ты знаешь обо мне? Чужая душа - потемки. И на основании лишь моих слов...

- Не считай меня идиотом, Инна. Я видел твое лицо, слышал твой голос. Давай бросим об этом.

- Но ты пойми - это только слова, слова и слова!

- Я понимаю. Сейчас ты сожалеешь, что их сказала. Но из-за чего весь сыр-бор? Я хочу сохранить свои записки, но не хочу, чтоб ты читала их сейчас - вот и все. Я, наверно, надолго уеду...

- Куда ты уедешь?! Не обманывай меня, Николай. Я все, все поняла.

- Ладно, Инна, хватит. Я прошу только не разыскивать меня, записки достать через много лет. Ты давний друг и выполнишь мою просьбу. Да? Ну, до свиданья... - он приобнял меня и поцеловал в щеку.

Он шел со двора ровной уверенной походкой, я глядела ему вслед, повторяя про себя сквозь слезу: "Что же я натворила, что натворила..." Это сейчас, перепечатывая его записки, я могла в своих мыслях спорить с Николаем, упрекать его в наивности и легковерии, но тогда я просто погибала от чувства своей вины и от невозможности предотвратить и остановить запущенный мною же ход событий... Ну и что я пережила после исчезновения Николая, не передать словами. Первые дни я с ужасом ждала сообщения или слухов о свершившемся покушении, но ничего не было. Значит, у Николая ничего не получилось, и он наверняка либо арестован, либо уничтожен на месте. Каково мне - виновнице этого - было, не трудно представить. Данное мною слово, ну и страх, разумеется, не позволили мне ни позвонить ему, ни зайти в его квартиру, а также пойти в Ботанический сад и достать записки.

Почему же Николай мне не поверил? Я не сумела убедительно соврать? Но почему не сумела? Я хорошо помню, тогда я жаждала лишь одного - спасти его, сделать так, чтоб он отказался от задуманного. Но было ли это желание очень сильным? Или все-таки другого я хотела больше? Господи, даже страшно теперь подумать! Неужто я так ненавидела, так жаждала, чтобы свершилось возмездие, хотя бы над одним из этой банды, что невольно и неосознанно не смогла быть убедительной, лепетала что-то о своей психопатичности и прочих глупостях... Могла бы поклясться жизнью своей матери, что солгала про Таю, а сейчас говорю правду. Могла бы! Но почему-то не сделала этого. Почему?.. Сейчас я совершенно искренно хочу разобраться в этом, но как страшно заглядывать иногда в свою собственную душу! Прошло сорок пять лет, почти на полвека ушла в прошлое вся эта история, а я и по сию пору не могу определить точно, чего же я тогда хотела больше?.. А от решения этого вопроса зависит и мера моей вины...

И еще - а кто Николай? Безызвестный герой, первый и, конечно, последний, осмелившийся наказать одного из главных преступников и поплатившийся за это жизнью, или человек, не сумевший или, быть может, отказавшийся в последнюю минуту это сделать, неизвестно по

каким соображениям. Этого я тоже не знаю и вряд ли когда-либо узнаю...

Ну и возьмется ли кто публиковать эти записки без финала, без которого остается неизвестной и судьба их автора, и - что самое главное - судьба его дела, если можно так выразиться? Хотя, конечно, они, как писал сам Николай, "некий документ нашего страшного времени", однако, сейчас опубликовано столько разных документов, что дай Бог народу в них-то разобраться. И вряд ли кого-либо сможет заинтересовать эта исповедь, где неизвестен и не развязан самый важный узел. Но попытка - не пытка, и у меня тлеет все же небольшая надежда, что если это будет опубликовано и Коля жив, то, может, попадетя ему на глаза эта публикация, и он даст о себе знать, и сам завершит тогда свои записки. Все же попробую отнести эту вещь некоторым издателям, благо есть среди них у меня знакомые..."

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Инна Сергеевна, разумеется, права в том, что публикация этих, на наш взгляд, довольно интересных, записок, оборванных перед самым главным поступком их автора, вызовет и недоумение, и даже разочарование читателей, которые так и не узнают ни его дальнейшей судьбы, ни судьбы той женщины, знакомства с которой он так добивался, чтоб суметь совершить задуманное. Но поскольку нас заинтересовала эта история, мы решили провести свое расследование, на успех которого редакция, правда, не особенно рассчитывала, так как действительно прошло так много времени, что найти следы двух людей, автора записок и женщину, жившую в доме напротив особняка Берия, которые только и могут завершить записки, казалось почти невозможным. Мы не будем рассказывать о всех перипетиях наших розысков, скажем только, что одного человека нам найти удалось - это Галина Константиновна Коваленко.

Приняла она нас настороженно и поначалу не захотела с нами говорить, признав только, что много лет тому назад она была действительно знакома с человеком по имени Николай, но очень недолго, и с тех пор ничего о нем не знает...

Тогда мы сказали, что имеем его записки периода их знакомства, из которых видно, что он собирался совершить покушение на Берию...

- Ничего об этом не знаю, - резко оборвала она нас. - Какие записки? Какой безумец решится вести записи, задумав такое, это же самоубийство.

- Тем не менее записки существуют, и мы можем дать вам их ксерокопию, вы же, наверно, знаете почерк Николая?

- Нет, не знаю как раз... Покажите.

Мы протянули ей листки ксерокопии, она пробежала глазами несколько листов, задумалась, потом тихо сказала:

- Да, это писал он... Но какое безумие.

- Оставить вам рукопись?

- Пожалуй, оставьте, - не сразу согласилась она.

Через неделю мы позвонили ей и попросили разрешения приехать.

- Вам нужна рукопись? - спросила она.

- Нет; Мы хотим, чтоб вы рассказали нам...

- Рукопись вам передала эта... Инна?
- Да.
- Я ничего рассказывать не буду.
- Вы чего-то бонтесь? Но теперь же можно рассказать всю правду. Берия давно расстрелян, власти переменялись...
- Это все понятно, но рассказывать я вам не намерена.
- Почему?
- Мне трудно и больно вспоминать об этом.
- Мы понимаем это... Ну хотя бы несколько слов. В комментариях Инны Сергеевны есть предположение, что Николай Юрьевич в чем-то прокололся и вызвал ваши подозрения, и вы... вы...
- Я не сделала того, что предполагает эта Инна, - перебыла она.
- Но что же произошло? Почему исчез Николай Юрьевич?
- Я не знаю, куда он исчез.
- Он жив?
- Это я хотела сама бы узнать... Вы собираетесь публиковать эти записки?
- Да. Если вы расскажете, чем же закончилась эта драматическая, а может, и трагическая история.

- Вы мне оставите ксерокопию насовсем?
- Разумеется.
Она помолчала, потом не очень-то уверенно сказала:
- Я, может быть, постараюсь описать, не знаю только, получится ли что. Наверно, мне это будет легче, чем рассказывать.

Мы обрадовались, хотели было спросить, когда ей позвонить, но она предупредила наш вопрос, сказав, чтоб мы оставили свой телефон, она позвонит сама, если что-то у нее выйдет. На этом и распрощались.

РАССКАЗ ГАЛИНЫ КОВАЛЕНКО (напоминаем, что имя и фамилия не настоящие, как и все остальные в рукописи, их изменил сам автор записок).

"Не знаю, с чего и начать... Вспоминать обо всем этом мне тяжело. Наверно, главным в записках Николая для меня стало то, что в них он оказался таким, каким я его и представляла, то есть честным и порядочным человеком. Я говорю это, несмотря на то, что познакомился он со мной с определенной целью, не испытывая никаких чувств... Но он все же мучился этим обманом, для его натуры это было противоестественным...

Для меня то короткое время было очень значимым, оно принесло мне и большое счастье, и великое горе. Наверно, не раз я буду реветь, вспоминая те дни, ведь ничего более яркого и сильного в моей дальнейшей жизни не произошло... По-видимому, мне не стоит вдаваться в лирику и описывать свои переживания, но я должна сказать, что было совершенно искренно, когда призналась ему в любви. Для меня, провинциальной девчонки, он был как бы тем "принцем", которого я ждала, о котором мечтала девочкой в своем родном, захудалом городке. И почему-то мне думалось, что встречу я своего "принца" именно в Москве, вот и глядела жадно на окна московских поездов, встречая и провожая их на перроне нашего вокзальчика. И мои слова Николаю, что он еще узнает, как я его

люблю, были не пустыми словами, в чем можно будет убедиться по ходу моего рассказа.

Наше знакомство в троллейбусе было вполне естественным и не вызвало у меня никаких подозрений, но все же я должна была сообщить о нем начальству. Встреча в "Национале" с Виктором, разумеется, была не случайной, кто-то из опытных работников должен был посмотреть на него, а может, и познакомиться. На Виктора он произвел хорошее впечатление, и он сказал мне, что я могу с ним встречаться, но пока они "не разработают" его, не надо приглашать его к себе...

Я же, влюбившись, как говорится, с первого взгляда, ни о чем другом не думала кроме того, чтоб понравиться Николаю. К тому же в то время просто невозможно было представить, что кто-то может решиться на террористический акт. Воздей, конечно, надежно охраняли, но, помимо, ни сами охраняемые не верили в вероятность покушения. Ну а мне, проработавшей в этом учреждении всего полгода и не успевшей еще заразиться поголовной подозрительностью, и в голову, конечно, не приходило подозревать Николая, офицера, фронтовика, награжденного многими орденами, в том, что он познакомился со мной, имея какие-то цели. К тому же его прямотушие не вызывало никаких сомнений. Если он и играл, то играл самого себя, и это оказалось самым лучшим, что он мог придумать...

Правда, иногда мне, видимо, как-то передавалась его внутренняя напряженность, мне становилось от чего-то тревожно, и появлялись какие-то мрачные предчувствия, однако я, как всякая женщина, связывала их с боязнью потерять его, боязнью, что я скоро надоем ему. Эти мысли стали особенно мучить меня после того, как я увидела его красивую соседку Владу. Тут появилась и ревность, ведь та была действительно интересной женщиной, имеющей гораздо больше шансов на внимание со стороны Николая, чем я. Да и поглядела она на меня, когда мы столкнулись в его квартире, так, словно я перебежала ей дорогу.

Надо сказать, что когда Николай стал ночевать у меня, мне было очень неловко просить его по утрам уходить вместе со мной. Хоть я и объяснила ему причину этого, но все же мне думалось, что это ему неприятно, так как может казаться, что я не доверяю. И я однажды спросила Виктора, закончили ли они "разработку" Николая, и можно ли ему оставаться у меня? Тот, как всегда со смешками, ответил: "А что, в его фатере кровать не та? На своей слаще, что ли?" Тогда я задала ему вопрос, действительно ли хотят они предложить ему работать у них или это какая-то игра? "Какая игра, голуба? Вообще-то он по многим параметрам подходит, но Ярослав Васильевич сказал, что слишком прост твой Коля". Из этого разговора я сделала вывод, что Николай их больше ни с какой стороны не интересует, а раз так, то нечего и мне соблюдать какие-то предосторожности. Вот поэтому я и оставила его в то утро у себя, когда ушла на работу...

Вечером он пришел ко мне немного возбужденный, с большим старым портфелем, из которого стал выгружать разные вкусные вещи, куплен-

ные в коммерческом, две бутылки вина, а потом небрежно положил портфель на пол, сказав, что там картофель, который он взял на рынке для меня, и надо его куда-нибудь потом пересыпать. Когда он выставил вино на стол, я спросила, в честь чего сегодня мы будем "гулять"? Он засмеялся.

- Есть причина, Галя. Сегодня, милая, у меня знаменательная дата. Этим сентябрьским днем, два года тому назад, в меня в упор выстрелил немец, но... вышла осечка. Помню, вернулись мы с задания, крепко выпили с ребятами, ну и они поздравили меня со вторым днем рождения. Так что, дорогая, кабы не осечка, не сидеть бы нам с тобой вместе. Ну а на день рождения выпить не грех.

Он споро разложил по тарелкам закуски, разлил вино и с улыбкой протянул мне стакан.

И раньше, вспоминая этот вечер, и теперь я поражаюсь, насколько Николай владел собой, - ведь до задуманного им оставалось всего несколько ночных часов. Он был так безмятежен внутренне, что мне, несмотря на "чертову женскую интуицию", как выразился в своих записках Николай, ничего-ничего не передалось. Он был весел, шутил, рассказывая мне подробности того поиска... Даже странно это. Сейчас так много говорят о передаче мыслей на расстоянии, о каком-то человеческом биополе, но тогда, в тот вечер, я была совершенно спокойна, а когда немного выпила, то и вообще ушли из моей головы все тревоги, я готова была верить, что Николай, наверно, все же любит меня, и будущее наше стало казаться мне безоблачным и светлым. Скажу больше, пожалуй, никогда мне не было так хорошо, как в тот вечер. **Никогда!** Может быть, мне это кажется теперь, потому как затем был сокрушительный удар, после которого я не могла оправиться много лет.

Мне очень вкусным показалось вино, и я выпила больше, чем обычно, с удовольствием закусывала сыром и ароматной колбасой, такими редкими для меня, да и для многих людей продуктами в полугодное послевоенное время... И ночь оказалась необыкновенной; Николай был нежен и ласков со мной, что впервые я испытала то, что не испытывала до этого. Я стала женщиной, и он это почувствовал, по-моему...

Утром я с трудом поднялась с постели, разморенная от счастья, да, наверно, я могу назвать этим словом то состояние, которое испытывала тогда. Не став будить Николая, я быстренько позавтракала, поцеловала его сонного в губы, написала нежную записку, что люблю его так, что не могу выразить словами, что постараюсь прийти как можно пораньше с работы и что хочу быть с ним всегда...

На работе я была рассеянна, все валялось из рук, я с трудом дождалась ее конца. Мое состояние не осталось незамеченным нашими девочками, да это и немудрено было, так как вид у меня был, наверно, полоумный. Они подшучивали, догадавшись, конечно, о причинах: "Глядите, девочки, Галка наверняка в кого-то втрескалась". - "Да уж, видок совсем обалделый", - говорила другая, а остальные стали допытываться: "Ну, скажи, Галка, кто он?" Надо сказать, что до этого я скрывала, конечно, и знакомство с Николаем, и свои чувства... А в тот день не сумела.

Домой я мчалась как на крыльях - сейчас я увижу Николая, обниму, прижмусь к нему. Около дома посмотрела на свое окно и удивилась, что нет света. Неужто ушел? Однако когда вбежала в комнату, полную табачного дыма, увидела, что он лежит на постели с потухшей папиросой во рту и с закрытыми глазами. На столе стояла на три четверти опорожненная бутылка водки. Я зажгла лампу, он открыл глаза, потянулся за спичками и прижжег папиросу.

- Что с вами? Почему лежите в темноте? Заболели? - спросила я с вполне понятной тревогой.

- Не знаю, Галя... Что-то лихорадит.

Он с трудом поднялся, подошел к столу, положил в полную окурками пепельницу выкуренную папиросу, налил остатки водки в стакан и поднес его к губам... Тут мы встретились взглядами; я даже отшатнулась, так поразили меня его мертвые глаза и осунувшееся, потемневшее лицо. Он выпил небольшими глотками водку, достал из пачки еще папиросу...

- Вот, - кивнул он на бутылку, - хотел согреться...

- Я пойду возьму у кого-нибудь градусник.

- Не надо. Так бывает у меня, это последствие контузии. Слабость какая-то и головная боль. Не волнуйся, пройдет.

Но я, конечно, взволновалась, пошла за градусником, попросила у соседней таблетки от головной боли, заставила его смерить температуру, она оказалась невысокой - тридцать семь с чем-то. Но это меня не успокоило, мне так дорог был этот человек, я так боялась его потерять, что даже небольшое нездоровье его меня страшно взволновало. Вот, думала я, стоило мне вчера и сегодня побыть счастливой и спокойной, как к вечеру что-то случилось с Николаем, именно случилось, потому как только нездоровьем я не могла объяснить то, что за день изменилось так его лицо, его глаза... Особенно глаза...

От ужина он отказался, попросил оправить постель, разделся и лег. Я еще повозилась с какими-то домашними делами и тоже вскоре легла. Николай лежал :а спине с открытыми глазами. Когда я дотронулась до его руки, почувствовала, что она немного дрожит...

- Скажите, что же с вами?

- Да ничего, Галя... Спи, - ответил он вроде спокойно, но некая нотка раздраженности была в его тоне.

Спала я плохо, часто просыпалась... Свет от фонаря над воротами особняка освещал немного комнату, и я всматривалась в лицо Николая, мучительно стараясь понять, что же произошло, почему за один день он так осунулся, даже постарел... И ничего, конечно, не поняла, но смутное предчувствие какой-то беды все же появилось у меня... Я где-то слыхала, что у людей, перенесших контузию, случаются эпилептические припадки. Может, и с ним был припадок, но он не стал мне об этом говорить. На этом предположении я и остановилась, потому что ничем другим не могла объяснить для себя состояние Николая.

Утром мы проснулись вместе, я спросила его, как он себя чувствует, он потянулся и ответил, что вроде нормально. И верно, выглядел он гораздо лучше.

- Выотлежитесь все-таки, Коля. Ая постарюсь пораньше уйти с работы. Перед уходом я поцеловала его, губы были сухие и холодные. Что-то кольнуло в сердце от ощущения, будто бы я поцеловала покойника... Уходя, я машинально, по привычке заперла дверь своей комнаты и, как всегда спеша, вылетела на улицу и быстрым шагом пошла к Никитским воротам, времени оставалось в обрез...

Отойдя от своего дома метров двести, я опомнилась - я же заперла Николая, он даже не сможет выйти в туалет! Я повернулась и опрометью припустилась обратно... Пробегая мимо ворот особняка, я боковым зрением ухватила, что охрана выстроилась около них... Вбежав по лестнице, влетела в квартиру, открыла дверь своей комнаты и... Тут надо мне перевести дух и прийти в себя. Очень трудно передать словами кошмарный сон, а мне тогда увиденное показалось действительно сном, в первые минуты я не могла представить, что это реальность... Николай не одетый, в одних трусах и в майке, стоял у окна с большой гранатой в руке, на подоконнике лежал пистолет...

Я охнула, у меня потемнело в глазах, какие-то секунды я не могла ни сдвинуться с места, ни крикнуть, потом бросилась к нему с раскрытым для крика ртом, но вскрикнуть не успела - он схватил меня сзади левой рукой, зажал рот и стал оттащить от окна, однако я увидела краем глаза выезжающую из ворот машину. Видел ее и Николай, и у него вырвалось матерное ругательство. Он бросил меня на постель, прижал к ней и, тяжело дыша, сел рядом... Я задыхалась, потому как его широкая ладонь закрывала мне не только рот, но и нос. Я попыталась своими руками отодвинуть его руку, но, конечно, ничего у меня не вышло. Он, видно, понял, что мне нечем дышать, и отпустил свою ладонь, освободив мне дыхание.

- Теперь слушай, - сказал он, отдышавшись, однако хриплым голосом. - Этот подонок, твой шеф, изнасиловал мою жену, и она... покончила с собой. Понимаешь - покончила! - повысил он голос. - Я поклялся его уничтожить. Поняла? Ты не будешь орать? - не снимая руки, он немного освободил мне рот.

- Да... - промычала я.

И здесь со мной случилась истерика. Я вывернулась из-под его руки, уткнулась в подушку, но не заревела, а застонала, даже завывала. Такой боли, такого отчаяния я не испытывала никогда в жизни. Все, все рухнуло, раздавлена моя любовь, которую я так лелеяла, надеясь, что она обязательно передастся ему - не может не передаться, такая она большая и глубокая... Лучшие бы он убил меня до этого, я бы тогда ничего-ничего не знала... Лучшие бы убил, повторяла я про себя, лучше бы убил... Я отняла голову от подушки и бросила ему эти слова:

- Лучше бы убили меня!

Он ничего не ответил, осторожно положил гранату на пол, пристально поглядел на меня и покачал головой.

- Ты дважды помешала мне...

Для меня и это прошло мимо, я снова уткнулась в подушку, не вникнув, почему он сказал "дважды". Я слышала, как Николай подходил

к шкафу и как булькало что-то наливаемое им. Потом он подошел ко мне, тронул за плечо.

- Выпей, Галя. Нам надо прийти в себя, - и он поднес мне полстакана водки, которой я поперхнулась. - Ну как, очнулась немного? Мы можем говорить?

Я не ответила, но приподнялась и села. Он поднялся, запер дверь, потом подошел к окну, взял пистолет с подоконника и положил его в карман. Подвинув стул к кровати, он уселся напротив.

- Да, ты дважды помешала мне... И что будем делать, милая?

- Почему дважды?

- Вчера и сегодня...

- Не понимаю, - пробормотала я.

- Вчера мысли о тебе заставили на минуту замешкаться, и время было упущено.

- Ты... подумал обо мне? - сказала я с придыханием, перейдя почему-то на "ты", еще не понимая, что это для меня значит.

- Да.

- А сегодня, если бы я не появилась, мысли обо мне помешали бы тебе?

- Не знаю... - он охватил голову руками. - Ни черта я не знаю, - оторвал он одну руку от лица и стукнул себя по коленке. Потом уставился на меня и спросил: - Ну, а что ты собираешься делать?

- А что я, по-твоему, должна делать?

- Как что? - удивился он. - Выполнить свой долг. Знай только, вашим молодчикам я живым не дамся.

- Мы говорим о чем-то не о том, Николай, - сказала я тихо. - Скажи, правда ли то, что ты сказал о жене?

- Правда. Ради какого черта тогда было мне связываться с этим гадом, - ответил он грубо. - И вот - не вышло. Из-за тебя.

Я ожидала увидеть на себе ненавидящий взгляд, но ненависти в его глазах не было, в них была боль и какая-то отрешенность, значение которых я не поняла в ту минуту, главным для меня было то, что он не ненавидит меня. Кстати, в нем не было злости и тогда, когда он схватил меня и зажал рот, а ведь он мог просто оглушить меня, по почему-то не сделал этого. И я сказала:

- А разве ты не мог, когда я кинулась к тебе, оглушить меня ударом кулака или рукоятью пистолета, тогда ты успел бы...

- Да, наверно, мог бы...

- Но не сделал, - возликовала я. - Ты и сегодня подумал о моей судьбе. Помнишь, я говорила тебе, что ты когда-нибудь убедишься в том, как я тебя люблю? Помнишь?

Он безразлично пожал плечами. Он никогда не придавал значения моим словам, он и сейчас даже не интересуется, как я поступаю, он примирился со смертью, а я... я возвращу ему жизнь! Он оценит мой поступок, поймет, как я его люблю, почувствует благодарность и, может... может, все-таки полюбит меня... Увы, тогда мне не пришлось в голову, что с моей стороны это будет походить на шантаж, что он будет жить со мной под постоянной угрозой разоблачения и в конце

концов может возненавидеть меня. Это придет ко мне потом, а сейчас я судорожно ухватилась за эту соломинку надежды. Я положила руки ему на плечи, приблизилась к нему и сказала... нет, наверно, торжественно продекламировала:

- Коля, этого дня не было в нашей жизни. Забудем о нем навсегда. И пусть все останется по-прежнему. Я плюю на свой долг, о котором ты помянул, мне плевать на все и на всех, я люблю только тебя. А раз ты подумал все же обо мне в тот миг, значит, я для тебя не совсем пустое место, значит, за эти полтора месяца...

- Что за полтора месяца? - холодно перебил он.

- Не знаю что, но ты же подумал обо мне, подумал! Ты не любил меня, знаю, но ты подумал... Коля, тебя никто и никогда не будет любить так, как люблю я. Я же доказываю тебе сейчас это, - цепляясь я за этот довод. - Давай соберем эти... вещи, вынесем их и куда-нибудь выкинем. И забудем, навсегда забудем этот день! И ты полюбишь меня, полюбишь! Вот увидишь!

Он отстранил мои руки, поднялся и стал ходить по комнате. Пройдя несколько раз туда-сюда, он остановился около меня.

- Выходит, ты милостиво даруешь мне жизнь, но требуешь... - с усмешкой сказал он, но я перебила:

- Я ничего не требую, Николай. Я отдаю долг. Ты тоже дважды подарил мне жизнь. Если бы ты сделал задуманное, расстреляли не только бы меня, но порасстреляли весь наш дом.

- Не умиляйся, это вышло помимо меня... - он помолчал немного. - Но мы, Галя, не сможем забыть этот день. Не выйдет... - Он оделся, потом стал разбирать гранату, одну, затем другую, которая лежала на полу у окна, которую я не заметила. Разобрав, он положил их в свой портфель.

В это время я мучительно соображала, что мне еще сказать такое, чтоб удержать его.

- Пройдет время, и мы забудем... Я не смогу без тебя, - с отчаянием наконец вырвалось у меня.

- Без меня тебе будет лучше, Галя... Ну, я пойду? Если сможешь, прости меня. Пойми, у меня не было другого способа подобраться к логову этой мрази, - он пошел к двери...

- Подожди. Ты так уверен, что я не закричу в окно, чтоб тебя задержали?

Он повернулся ко мне и поглядел мне в глаза.

- Будет же шум, стрельба. Боюсь, это не принесет тебе пользы.

- Ты думаешь... ты думаешь, что я решила молчать ради того, чтоб спасти себя? - воскликнула я, пораженная таким предположением.

- А разве не так? - спросил он холодно.

- Господи, ты ничего не понял! И ни разу не подумала о себе! Ни разу! Лишь о тебе, а ты... - Я была в отчаянии от того, что мой поступок, исходящий из самых высоких чувств, он снизвел до жалкой расчетливости.

Мое лицо, наверно, было таким жалким и несчастным, что Николай подошел ко мне и сказал уже совсем другим тоном:

- Прости и за это, Галя... В моем состоянии мне трудно разбираться в нюансах.

- Погоди. Я пойду с тобой. Вдруг твой большой портфель вызовет подозрение и тебя остановят, а меня они знают.

- Хорошо... Да... возьми свои ключи...

Я догадалась, что это вторые ключи. И, отдавая их, он дает мне понять, что отказался окончательно от своего замысла. Мы вышли из дома вместе, я взяла его под руку и страшно трусила, мне казалось, что агенты, прохаживающиеся около особняка, смотрят на нас, и успокоилась лишь тогда, когда мы повернули на Садовую. На своей остановке, у Лихова, Николай слез, и последний свой взгляд на него я бросила из окна троллейбуса. Больше я его уже не видела... Как я провела этот день на работе, можно представить, хотя я и убедилась, что я все же мужественная женщина, я сумела скрыть свое отчаяние и безысходное горе...

Ну и что же дальше? А дальше - ничего... Через неделю я не выдержала и позвонила к нему на квартиру и парвала, конечно, на эту самую Владу, которая противным голоском ответила мне, что Николая нет дома, он вообще куда-то пропал и даже не почувет, мы думали, он у вас пропадает... Не один вечер я бродила около его дома, надеясь увидеть свет в его окне, и один раз мне показало, что оно горит. Я бросилась в подъезд, бегом по лестнице, позвонила в его квартиру, сама дрожу как в лихорадке, сердце екает... Открыла мне Влада и с ухмылочкой:

- Что у вас произошло, милочка? Николай, видимо, куда-то уехал. Вы что, поссорились?

- Вроде...

- Ай-ай, разве можно, да еще вам, ссориться с таким мужчиной. Нас сейчас много, а их мало. Вот так-то, милочка... - и она прикрыла дверь.

Вот и все... До сих пор не знаю, жив ли он, где он. Так вот нелепо и окончилась моя необыкновенная любовь, единственная, кстати, за мою жизнь... Я вышла, правда, замуж, но это было не то... Замужество не принесло мне ни счастья, ни даже радости...

Если у кого-то возникнет вопрос, почему я так сразу поверила насчет жены Николая, то скажу, что какие-то смутные слухи о любовных забавах Берии ходили в нашей конторе. Ну и еще надо сказать об опасениях Николая, что его "вычислили" как мужа женщины, изнасилованной шефом, то этого, наверно, не было. Любовниц Берии поставляла личная охрана, какие-то особо преданные ему люди, делалось это все в тайне. Берия сам, несомненно, опасался, что Сталин узнает об этом... И вряд ли вела такая-то оперативная разработка всех жертв, тем более, как выяснилось в 53-м, их было огромное количество...

И все же скажу напоследок, что, несмотря на всю трагичность случившегося, несмотря на ту огромную душевную травму, полученную мною, я благодарна судьбе ли, случаю, сведшему меня с Николаем, -я испытала настоящую и большую любовь, пусть и разрушенную обстоятельствами; но если бы не было такого чувства в моей жизни, то она прошла бы еще бесцветнее и серее, а эта любовь оставила в моей душе какой-то луч, светивший мне все долгие годы одиночества. Я испытала

то, что редко дается людям. И я продолжаю любить этого человека, а память о нем помогает мне жить и верить в людей..."

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Пока рукопись готовилась к изданию, мы продолжали поиски Николая Перевалова, но они не увенчались успехом. Тогда мы снова связались с Инной Сергеевной и спросили ее, как, по ее мнению, могла сложиться судьба этого человека?

- Трудно сказать. Я сама часто и помногу думала об этом... Он же дал себе клятву и не смог ее исполнить. Неважно, по каким причинам, но не смог. После такого, по-моему, люди его типа либо стреляются, либо спиваются. Не исключаю ни того, ни другого. Николай был человеком прямолинейным и кристально честным. Возможно, другой бы нашел себе тысячу оправданий, да они и существовали: не смог переступить через жизнь ни в чем не повинного человека, тем более женщины, к тому же полюбившей его. Думаю, что полтора месяца напряженной игры, притворства, на что он был мало способен, не могли не оставить следа. Он же постоянно ломал себя и, боюсь, душевно сломался... Дай Бог, конечно, чтоб я ошиблась... И что Николай жив и здоров. Ну и если вы опубликуете его записки, вдруг попадутся они ему на глаза и он... откликнется. Для меня это станет великим счастьем: я смогу попросить у него прощения. А простит ли, нет - его дело. Что ведь ни говори, если бы я не сказала ему всей правды, то его жизнь не была бы сломлена. Я, и только я виновата во всем! И эту вину я ощущала всю свою жизнь...

К.Г.Уманский

МЕРТВАЯ ЗОНА

Да простит меня Стивен Кинг за заимствование названия его книги, вышедшей в 1979 году. Прочитав ее, я был потрясен внутренним чутьем автора, его видением трансформации мироощущения человека, по воле судьбы перенесшего тяжелейшую черепно-мозговую травму. Для подобного восприятия романа, как вы убедитесь в дальнейшем, у меня были не только профессиональные, но и личные основания. Так что не считайте заглавие плагиатом. Это то, с чем я живу вот уже пятьдесят лет. Но как?

Я

Самый близкий человек, друг, Володя Тульчинский погиб накануне. Шальная пуля угодила прямо в сердце. Сколько их, шальных, посвистывало в ближайшем тылу, если можно назвать тылом вторую линию окопчиком пехоты, вырытых на скорую руку так, чтобы спрятать хотя бы часть груди и голову за выброшенную вперед кучку земли... Весь этот день я вспоминал Володю, лежи точно в таком же окопчике, наспех вырытом за крошечным бугорком среди огромного поля. На окраине его виднелось чудом уцелевшее украинское село с соломенными крышами над аккуратными, искрящимися на ярком солнце белыми мазанками, с гнездом аиста, свитым над трубой одной из изб. Внешне все это совсем не было похоже на поле сражения - настоящая мирная лубочная картинка. Однако именно здесь мы, связисты - "пауки", опутывавшие передовую проводками телефонной связи, местами опережали пехоту, налаживая связь с наблюдательными пунктами, неся при этом серьезные потери. Неожиданный сентябрьский зной этого дня был насыщен звоном цикад, шмелей и еще множества иной жесткокрылой летучей армии; мирно трудившейся на запущенной ниве, где среди злаков буйно пробивались трава и море почти нереальных в своей красоте полевых цветов.

А на зеленом бугорке, за которым я укрывлся, в самом центре цвел, неизвестно откуда появившийся здесь, ярко красный раскрывшийся тюльпан. И так как поглядывал я на него снизу, он казался еще более, просто неимоверно красивым на фоне нежно-голубого неба. Замерший в безветрии в одно мгновение, он вдруг как-то вздрогнул и вновь застыл в своем величии. Уже потом я услышал свист пули и увидел в одном из лепестков круглое отверстие, через которое виднелось голубое небо. Очевидно, нас заметили, потому что послышался лай немецкого пулемета и над головой роем понеслись пули. Когда же я вновь смог поднять голову, то увидел надломленный стволик цветка с откинувшейся вниз головкой, пробитой пулей. Володе, как и мне, было 19 лет. Старше он уже никогда не будет...

Тогда раненый и вскоре погибший тюльпан у меня естественно ассоциировался с Володей. В то время мы были напрочь лишены предрассудков, тем более не верили в разного рода приметы, "знамения". Но теперь-то я знаю, что тот тюльпан погиб не случайно. Это было

предсказанием моей судьбы. Недаром все прошедшие с войны годы я нередко вижу все это во сне, в котором переплетается судьба того тюльпана с моей, с обстоятельствами последнего ранения. До этого было еще два ранения и одна контузия. Но, как ни странно, ни один из этих тяжких эпизодов никогда не посещал меня во сне.

Через пару дней мы форсировали ставшую теперь известной всему миру реку Припять, недалеко от того места, где почти через полвека произойдет гигантская катастрофа на Чернобыльской АЭС. А еще через день - и могучий Днепр. Форсировали на исходе ночи, в зыбком предрастветном тумане, на лодках и плотках, ведомых молчаливо-мрачными партизанами, утопив под обстрелом почти все средства связи. Так что на берег вышли почти в полном составе взвода связи, превратившегося теперь, по сути, в отдельное пехотное подразделение.

Успели оседлать ближайшую к берегу заросшую буйной травой высотку, находившуюся на опушке редкого леса. Окопаться не успели. Фрицы обнаружили нас к полудню и повели наступление. Отбиваться пришлось под прикрытием лишь высоченной травы, из-за которой противника можно было увидеть, только приподнявшись "во весь рост", стоя на коленях. Лишенные возможности перебежек, мы, стоя на коленях, кричали "Ура!", изображая наступление, высовываясь лишь для того, чтобы выпустить очередь из ППШ. Небольшое прорвавшееся передовое подразделение фрицев, человек в десять, мы успели ликвидировать. Но вскоре в низинке показались цепи противника, небыстрым шагом продвигавшиеся в нашу сторону. Видно было и два разворачивавшихся на боевой позиции небольших миномета. Из старенького ППШ туда "недострельнешь". Фрицы, видимо, хорошо знали это и спокойно начали планомерный обстрел высотки из минометов. Всего живых в нашем взводе оставалось человек десять-двенадцать.

Видно было, как немцы начали кидать в стволы минометов мины, откуда они вывалились и высокой дугой падали прямо на нас. Первая разорвалась далеко впереди. Вторая - порядком сзади, но уже ближе. Третья с коротким рычанием рванула сзади, где-то совсем близко. Я в это время лежал на правом боку, силясь вдавиться в землю. В голове зазвенело и загудело. Левая половина головы вдруг онемела и стала очень тяжелой. Касок у нас уже не было. С ними давно расстались, ибо тяжестей хватало. Тридцатishестикилограммовая катушка с проводами, плюс полная солдатская выкладка с шинелью, сидором, несколькими гранатами, штыками для заземления, автоматом и патронами в придачу, были в целом не под силу городским тощим мальчишкам.левой рукой стянул с головы пилотку и обнаружил в ней ровное отверстие и свежую кровь. Пощупал в том месте голову - появилась небольшая "шишка", рука в крови. Ранен. И тут же в гудящей голове единственная, многократно повторяемая мысль, как четко очерченная фраза - "Мама будет плакать". С трудом обернулся - позади на расстоянии метра от головы гладкая, до земли выбритая, в траве круглая площадка на месте взрыва мины.

Черт с ним, с обстрелом. Начал медленно, изо всех сил подниматься на ноги и уже почти выпрямился, но ноги подкосились и я скатился на несколько метров вниз. Сознания вначале не терял. Но после внезапного

провала в темноту, почувствовал, что невесомо лечу вниз, а потом вперед, как бы в бездну, в каком-то туннеле, в конце которого все ярче разгорается бело-голубой свет с неясным мерцающим контуром. Легкость в теле невероятная, скорее невесомость и полное душевное спокойствие, даже какое-то умиротворение. Неожиданно, как бы со стороны и сверху, увидел себя лежащим, распростертым на животе в траве. И снова провал в темноту.

Потом были бегущие в обмотках ноги своих, а затем мельтешащие фрицы, стаскивающие наших погибших в кучу, в том числе меня, а на меня еще кого-то, очень тяжелого. И притом полная безучастность ко всему происходящему, без попытки пошевелиться, произнести слово или хотя бы какой-то звук. Потом снова бегущие в грехоте наши. Вот они совсем рядом. Кого-то удалось зацепить левой рукой за обмотки. Знакомое лицо и ужас, навалившийся на меня после того, как тот убежал. Потом оказалось, что побежал он за носилками. Затем лодка, переправа. На том берегу начавшаяся строиться изба, в которой было выложено несколько венцов, образовывавших загончик, куда на траву складывали раненых. Еще не понимал, что у меня полностью парализованы правая рука и нога, а также речь. Здоровой левой схватил протянутую круглую краюху черного хлеба, потом выданный шматок сала и поочередно хватая их, начал жадно есть. До этого в наступлении нам долго не могли подвезти продукты, и мы жили впроголодь, питаясь тем, что находили в вещмешках убитых фрицев.

Подошел черноволосый, скуластый и раскосый молодой врач, очевидно, казах, долго смотрел, с какой жадностью я ем, и сказал пророческие слова: "Ты посмотри, как ест! Этот будет жить".

А вечером долгая, на всю ночь, тряская фронтовая дорога до госпиталю "Голова", во время которой единственной рукой пытался поддерживать надрывно болевшую, раскалывавшуюся голову. Госпиталь, расположенный в сельской школе. В спортивном зале, превращенном в операционную, склоненное надо мной лицо, как я потом узнал, доцента Кан-Когана, с хрустом выкусывавшего раздробленные кости черепа вокруг раны и что-то там скоблившего и зашивавшего. Все это делалось под местной анестезией, и все это я наблюдал в никеле осветительной лампы и в чудом сохранившемся зеркале, очевидно, служившем до этого детям, занимавшимся в школе до войны самодеятельностью.

После войны, уже будучи врачом, долго пытался разыскать оперировавшего меня хирурга, не только спасшего жизнь, но и в значительной мере определившего мою профессиональную судьбу, но так и не нашел.

Из операционной в палату, бывший школьный класс, а потом и регулярно на перевязки, нас носили на руках медицинские сестры. Очень они жалели тяжело раненных мальчишек. Да и носить тощих, почти детей, очевидно, было не столь уж трудно. В том числе и меня, с оставшимся в голове стальным осколком размером со средний ноготь, порядком пропахавшим мозг и застрявшим на всю жизнь в самой его глубине.

Паралич руки и ноги надолго приковал к постели. Очень плохо было с речью - говорить не мог, хотя понимал все. Объяснялся одной левой

рукой, жестами. Однако через пару месяцев уже в Нежинском госпитале пытался понемногу ходить, и начала восстанавливаться речь. Как все мы "черепники" радовались успехам друг друга! Помню, еще в том сельском госпитале со время генеральского обхода (бывали и такие) лечащие врачи показали всех, кроме одного. Звали его Вася. После ухода комиссии все начали над ним подтрунивать - дескать, обошли, никому ты не нужен... Белобрысый Вася, так же потерявший возможность говорить, весь красный от обиды, мучительно сидел с огромным "бубликом" (перевязкой) на голове и вдруг громко и совершенно отчетливо сказал: "Ну и х.. с ними". Что тут началось! Васю поздравляли, ликовали, собрались все, кто мог ходить, прибежал и персонал. Так отмечались, хотя бы небольшие, успехи у всех. Медсестра, носившая меня на перевязки и кормившая с ложки, каждый раз пыталась "разговорить" - "Скажи "ложка", а то не дам каши". Такой воспитательный подход иногда давал свои результаты. Тогда эти специализированные госпитали были созданы впервые и у персонала - от врачей до сестер, еще не было навыка в реабилитации подобных раненых. Да и слова такого - реабилитация - тогда еще никто не знал. Говорили "восстановление функций".

В более поздний период, когда мы уже порядком поправились, естественно начинали грешить, не понимая, чем это грозит. Не знаю, какому идиоту пришло в голову выдать на праздник всем "черепникам" солдатские "сто грамм". Остальное пусть вам подскажет воображение. Разумеется, и без этого тоже выпивали, меня казенные калоши на зеленоватую водочку военного времени под названием "Тархун". Это я и о себе тоже... Кто-то после этого в дальнейшем начинал страдать припадками, головными болями. У других это был лишь пролог к быстрому прогрессирующему алкоголизму. У меня все обошлось. Но дальнейший путь был сложен и непредсказуем.

9 мая 1944 года, которое в следующем году стало Днем Победы, день моего рождения, двадцатилетие, я уже встречал дома, в Москве, с вернувшейся из эвакуации несчастной мамой. Действительно несчастной, потому что за время войны она получила на меня две похоронки. Матери поймут... Дальше нужно было входить в жизнь. А ходил все еще с палочкой - правая нога не очень слушалась. Было ясно, что все дальнейшее не столь уж радужно и совершенно непредсказуемо. Непредсказуемо хотя бы потому, как скажется на дальнейшем подобное ранение. Сколь тяжела была жизнь в тылу, даже в Москве, объяснить нет необходимости.

Передо мной стал вопрос адаптации в широком смысле этого слова. Адаптации к обыденной жизни инвалида Великой Отечественной войны второй группы.

ОН

В Москве, на углу Трифоновской и Второй Мещанской улиц с дореволюционных времен стоит старинное, довольно высокое, свое-

образной архитектуры здание красного кирпича с частыми узкими, как бойницы, окнами. Внутри здание похоже на улей. За каждым окном находятся крохотные, одинаково вытянутые в длину соты, где от одной стены до другой можно достать, раскинув руки. В комнате с грязными, очевидно, никогда не мытыми стеклами окон и темно-серыми оштукатуренными стенами и потолком, есть минимум необходимых удобств, которыми можно привычно воспользоваться на ощупь. Этот дом - богоделня, специально построенная для слепых купцом-меценатом в дореволюционное время.

В просторном уголке парадном этого дома, между наглухо забитой внутренней дверью и парадной, располагалась в последние военные годы фотография. Все это находилось рядом с Рижским вокзалом и прилегающей к нему площадью, а также старым Рижским рынком. Над парадным, срезая угол дома, красовалась большущая вывеска - "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ". Естественно, что на таком бойком месте она никогда не пустовала. В ней работал всего один мастер - юноша лет двадцати, с шапкой черных, чуть вьющихся волос, скрывавших слегка оттопыренные уши, и крупным носом, еще более заметным на исхудавшем, вытянутом лице трудного живущего человека. Он всегда ходил в весьма поношенной фланелевой гимнастерке с привычно подшитым белоснежным целлулоидным подворотничком и не более новых армейских ботинок, заправленных в кирзовые сапоги. Прихрамывая на правую ногу, помогал себе при ходьбе, опираясь на палку с изогнутой ручкой. Словом, типичный для тех времен инвалид войны. Была осень сорок четвертого года.

Ремесло фотографа Костя унаследовал со школьных довоенных лет от отца, когда-то давно обучавшегося ему в Париже, а сейчас, в 1944-м, бравым старшиной подразделения самоходок, с боями, под лязг гусениц, прорывавшегося к сердцу Европы. Это ремесло давало возможность прокормиться, продержаться до лучших времен, не пойти, как большинство, на тишинскую барахолку промышлять мелкой спекуляцией или игрой в наперсток. На пенсию инвалида войны второй группы в 110 рублей (дореформенных!) невозможно было полностью выкупить даже мизер, полагавшийся по карточкам, не говоря уже о маминой зарплате, медсестры. Заработок фотографа позволял жить довольно сносно. В то же время постоянно преследовали образ Кан-Когана и мечта стать когда-нибудь таким же нейрохирургом. Но как пойти учиться после всего, что произошло? Да еще в медицинский! Что сможет голова, ставшая иной, постоянно забитая заботой о хлебе насущном? А голова стала действительно иной, не той довоенной, что напоминала с легкостью все школьные премудрости, делая одного из типичных представителей знаменитой даниловской шпаны отличником.

Все это пугало. Поверг в смятение и вчерашний случай.

К полудню среди клиентов появился не очень молодой, лет сорок, мужчина. Правый рукав новенькой гимнастерки, на которой красовалась медаль "За отвагу", был пуст и аккуратно закатан кверху

по самое плечо. Из него торчала короткая культяшка. Растолкав небольшую очередь, он уселся на стул перед фотоаппаратом и резко отрубил:

- Сотвори, солдатик, карточки инвалиду войны на паспорт.

Ситуация привычная. Никто не возмущился. Включено полное освещение. На матовом стекле он напряженно завис вниз головой. Но почему-то в этот момент все вдруг замерло в абсолютной тишине с цикадным звоном, как тогда в поле с красным тюльпаном. Фронтвик на мгновение стал как бы полупрозрачным. И не осознавая того, что происходит, Костя без всякого внутреннего побуждения почему-то вдруг резко задал ему вопрос:

- За руку, отрезанную траваем, тоже дают медали? Покажи пенсионное удостоверение!

Мат разорвал тишину фотографии. Единственная рука рванула к Костиному горлу, но выручила тяжелая палка - и он пулей вылетел за дверь. Не было у фронтвиков таких наглых и холодных глаз. В то время глаза всегда, в любом настроении выдавали человека немного, блаженного, пусть искалеченного, но избежавшего верной смерти, успевшей на миг вцепиться в него когтями. Точно такая же история произошла накануне с липовым фининспектором, потребовавшим взятку. Он тоже вдруг замер на миг в той же тиши цикадного звона, став полупрозрачным в каком-то нереальном освещении. Ему от Костиной палки досталось прилично, не то что однорукому.

Тогда эти странные явления произвели сильное впечатление. Появилась даже идея сходить к врачу. Терапевт направил к невропатологу. Этот попросил сначала посмотреть на лампочку, а потом на него и отослал к психиатру. Кстати, интересная подробность. На Костю большое впечатление, сохранившееся на всю жизнь, произвел неврологический молоток. Разумеется, кустарный. Но это было произведение искусства: Металлическая рукоятка в конце была обоюдоостро заточена наподобие кинжала, а повыше можно было откинуть углубленную в ручку стальную спиральку штопора.

Психиатр, интересная женщина средних лет, оказалась очень внимательной. Заставила несколько раз повторить рассказ, углублялась сочувственно в детали, расспрашивала о ночных сновидениях, вздрагиваниях, даже болях в животе. И пришла к заключению, что речь идет о несомненном заболевании эпилепсией. Диагноз был однозначным и категорическим - "травматическая эпилепсия". И надо же было так случиться, чтобы в этот самый момент, прямо в кабинете, все повторилось. Замерший в цикадной тишине полупрозрачный психиатр и вслед за этим непроизвольно произносимая фраза - "Посмотрите сегодня вечером "Анну Каренину" и потом измените свое мнение о диагнозе".

- Откуда тебе известно, что я сегодня иду в театр?

- Понятия не имею. Сейчас произошло то же самое, о чем я вам рассказывал...

Не совсем уверенный взгляд и новые вопросы, судя по всему ничего не прояснили, но и диагноза не изменили тоже. Однако было обещано показать профессору-консультанту. Разумеется, ничего этого не было. Очевидно, просто забыли, тем более что по характеру ранения - большущий дефект черепа и осколок в веществе мозга, явились основанием для бессрочной группы инвалидности, без перекomisсий.

Выданные рецепты были благополучно выброшены. Благо больше поверилось в собственное произвольное провидение. Стало ясно, что все это не случайности. Еще раз точно такое же произошло и тогда, когда кто-то из бывалых фронтовиков рассказал, что моя "Семидесятая Гвардейская" дивизия была полностью уничтожена в котле под Чернобылем, вскоре после ранения. Это было неправдой и выяснилось лишь спустя срок с лишним лет.

От Девятинского переулкa теперь не осталось и следа. Коротенький, застроенный деревянными домишками, он начинался сразу от Садового кольца, рядом с теперешним американским посольством. В январе сорок пятого они имели печное отопление и там было всегда тепло и по-своему уютно среди множества диванчиков, пуфиков, покрывал и салфеточек, которыми накрывали почти все, в том числе и крышку пианино, и даже пресловутых слоников, выстроившихся на нем по росту, каждого в отдельности. Именно туда, в дом, хозяйка которого была Косте небезразлична, он направился со своим другом на чью-то свадьбу. Было шумно и безмерно весело, все перепились, в том числе и жених с невестой. Проснувшийся Костя вспомнил, как он застал друга в коридоре под лестницей с новобрачной и начал разыскивать его, переступая через спящих гостей. Разбудил сидящего в том же месте под лестницей и повел на улицу.

- Старик, ты подцепил триппер...

- Брось! Она же невеста, невинное существо, тонкое и возвышенное! Это невероятно... С чего ты взял?

Объяснить было невозможно. Невероятное стало реальностью через несколько дней. Хорошо, что на базаре уже можно было купить всемогущий сульфидин.

Тогда, на улице, в снегу, Костя никак не мог понять, почему он неожиданно сказал об этом другу. Через пелену обильно выпитого, начал вспоминать события ночи, и они стали видением общей картины, как бы со стороны, как в кино в полутонах сменявшего во временной динамике кадры фильма, восприятием действий и внутренних ощущений каждого персонажа. Точно в таком же отстраненном видении и самого себя, как тогда в туннеле невесомости, устремленном к яркому свету, что произошло с ним во время последнего ранения.

С тех пор никогда больше не появлялись ни полупрозрачные замершие картинки, ни цикадный звон, равно, как и неконтролируемые сознанием реплики.

Во время войны американская помощь не ограничивалась вооружением и продовольствием поступавшими по лендлизу. Для разоренной страны они собирали среди населения еще и множество различных вещей, в основном б/у (бывшие в употреблении), которые, в частности, можно было приобрести по талонам в специальных секциях для инвалидов войны в некоторых магазинах. В ту зиму были одновременно приобретены неизмеримо яркий светло-серый, в крупную, как шахматная доска, клетку, модно удлиненный шерстяной пиджак и выдавшие виды фигурные коньки с закрученными носами и широкими лезвиями. Последнее неплохо обеспечивало устойчивость.

Эти коньки и почти ежедневные походы на каток с палочкой сделали свое дело. Он наконец перестал быть достопримечательностью катка - "хромым фигуристом" ("фигуристом" прозвали за коньки, ребята побогаче бегали на модных тогда "гагах" или "английском спорте", а самые-самые, разумеется, на "норвегах"). С палочкой было покончено.

Работа "художественного фотографа", мастера-универсала (фотограф, лаборант, ретушер и кассир в одном лице) к концу весны подошла к финалу. Продолжалась она, как беременность, ровно девять месяцев и закончилась "родами". Один из друзей спротезировал его работать на "Мосфильм", в должности ассистента кинооператора. И не просто кинооператора, а еще и комбинированных съемок. Так стал он ассистентом ведущего в то время в этой области мастера, известного не только у нас - Николая Степановича Ренкова, работавшего в киностудии, снимавшей самый одиозный фильм времен разгара т.н. культа личности Сталина - "Клятва". Фильм снимался, в основном, на Мосфильме и в дотла разрушенном Сталинграде. Впервые в нашей действительности, только этой группе разрешили съемки и на территории Кремля, в том числе и в Георгиевском зале.

Нужно было многому учиться, очень много работать и еще больше пить. Платили Косте тысячу восемьсот дореформенных (это при стоимости буханки черного хлеба или пол-литра на базаре в тысячу сто рэ). На выписку все скидывались, подрабатывали, халтурили, приписывали и даже приторговывали. Так было не только в этой киностудии. Например, известнейший кинорежиссер Александр Лукич Птушко подрабатывал изготовлением простеньких босоножек на дервянной подметке. Макетчики и декораторы изготавливали яркие и очень модные в то время перстни, вытачивая их из редкой тогда пластмассы.

Но все это было для него неосновным. Главное - появилась необходимость учиться, проверить наконец свои возможности среди упорядоченной распорядком съемочных часов и дней, и неизмеримой суеты жизни, под аккомпанемент сильных головных болей, возникавших по поводу и без, нередко прихватывающих и редко исчезающих произвольно.

Но при всем этом в нем появилось еще что-то такое, что несмотря ни на что, позволяло быстро вживаться во все это, и еще то, что он потом это назвал "перспективной ориентировкой". Нет, это не было ориентировкой на кого-то, расчет на чей-то авторитет или покровительство, чью-то помощь, тем более пресмыкание или подхалимаж с установкой на выгоду или блага.

Врожденная тяга к технике, начавшаяся с семейной реликвии - часов фирмы "Павел Буре" с репетитором, игравшим гимн "Боже царя храни...", разобранных и онемевших навсегда, в которых оказалась куча "ненужных" деталей, продолженная на удачном ремонте швейной машинки и будильника, а после школы "отточенная" фронтовой необходимостью ухода за оружием и его ремонта, в течение короткого времени позволила освоить кинесъемочную аппаратуру. Это было совсем не трудно, т.к. после разборки механизмов любой сложности, перед ним как бы повисала в воздухе прозрачная их модель, в которой были отчетливо, до винтика, видны все детали, прочно фиксирувавшиеся в памяти. А вот с электроникой подобного не получалось, несмотря на то, что во время войны освоил специальность связиста и научился работать с рацией. Механика, в отличие от электроники, всегда была понятна до предела. Похоже, что и человеческие взаимоотношения с окружающими постепенно стали восприниматься Костей как структура сложной механической аппаратуры. Но не в застывшей схеме, а в совокупности внешней неупорядоченности броуновского движения, чуть опережая предвидением конечного эффекта, быстро становившегося в этой ситуации промежуточным. Но только ли человеческие? Дружба с животными, в первую очередь собаками, демонстрировала те же особенности, и даже с непредсказуемыми кошками... Он мог перенести внутрь самого себя мир чужих внутренних ощущений, вплоть до боли.

Но осознано все это было значительно позже.

В разрушенном Волгограде киноэкспедиция расположилась на комфортабельном пароходе "Пушкин". Жили дружно. Костя с шефом занимали двухместную каюту на нижней палубе. В багажнике под откидывающейся койкой всегда было полно арбузов. На соседнем дебаркадере, являвшемся по сути магазином, приобретали водку и копченую воблу или лещей, расплачиваясь фотографиями. Благо в городе почти нигде было сфотографироваться даже для удостоверения или паспорта. Костю там прозвали "мальчиком с Лейкой". Кормились здесь же, на борту парохода, коллективно. Родина не скупилась на производство "главного фильма" тех времен.

На корме парохода, в лучах утреннего солнца, в ярком, очевидно, трофейном халатике, Тамара Макарова и спортивно одетый Николай Боголюбов, одни из самых известных актеров того времени, снимавшиеся в "Клятве", с улыбкой рассматривали подходившего к ним Костю. Тамара (на пароходе все называли друг друга только по имени, но на Вы, кроме, пожалуй, Гиацинтовой - ее почтено величали

Софьей Владимировной, т.к. она была старшей по возрасту, старше даже главного режиссера, Михаила Эдишеревича Чиаурели), остановила проходившего Костю и с схидной улыбочкой констатировала:

- Вчера мы с Николаем заключили пари - в какую сторону свалитесь с узкого трапа. Вас так раскачивало, что было просто невозможно не свалиться в воду. Но вы с честью выдержали это трудное испытание...

Действительно выдержал. На соседнем дебаркадере, прямо на складе, среди мешков с чем-то сыпучим, ящиков с воблой и луком, справлялся день рождения. Почли втроем. Костя, его шеф и главный художник картины Лева Мамаладзе. "Тархун", за неимением другой посуды, наливали в пол-литровые банки доверху. Косте тоже? Он с сомнением смотрел на свою банку, размышляя примерно так: "Понемногу мне все равно ее не выпить, а сразу может пронести. Все равно больше не нальют - другой водки нет". И после первого тоста, задержав дыхание, в один прием осушил банку, срочно зажевывая ее хрустящей луковицей и тягучей, сильно просоленной воблой. У шефа, только слегка отхлебнувшего из банки, зримо полезли на лоб глаза. Слегка приподнявшись, он промолвил вполголоса: "Лучше пойдем сразу". И, бережно поддерживая, проводил до узенького трапа "Пушкина". Этот трап с поперечными полосками, набитыми на манер лестницы, устанавливали на ночь, убрав дневной - широкий комфортабельный, с поручнями. По узенькому мог пройти только один человек. Благополучно сбалансировав, Костя помахал Николаю Степановичу ручкой, и тот вернулся на дебаркадер. Последнее, что запомнилось Косте, это то, как он добрал до своей каюты и рухнул на койку лицом вниз.

Проснулся часов в шесть, уже начинало светать. Сквозь легкий звон в голове, напоминавший вчерашнее, начал просматривать прошедший вечер. Именно просматривать, т.к. все виделось как в кино, в динамике и сопровождалось неслышным звуком. Все реплики как бы читались внутри головы. А в конце вдруг увидел стоящих на корме знаменитых актеров и выслушивал насмешливую реплику Тамары Макаровой.

Встав и раздевшись до трусов, прошел на корму и привычно нырнул в сторону широченной Волги. Поплавал несколько минут и, оставляя мокрые следы на узком трапе, вернулся в каюту. Шефа еще не было. Расположив хрустящий арбуз, опохмелился его сочной сладкой мякотью, сплевывая косточки через окно и прилегающую узкую палубу прямо в Волгу. Затем оделся, соскоблил "Жиллетом" со щек хилую щетинку. И вышел на палубу. Население парохода оживало в предверии завтрака.

На корме в жарких лучах восходящего солнца стояли Тамара Макарова и Николай Боголюбов... Тамара, с уже виденным выражением лица, произнесла услышанное ранее...

Как ни странно, но после такой ночи голова была совсем светлая. Легко думалось, и столь же легко все делалось. Но при этом пресле-

довало какое-то предчувствие чего-то неприятного, что непременно должно было произойти. В тот день снимали на окраине города. К полудню объявили перерыв, и все потянулись к столу, установленному прямо на съемочной площадке. Михаил Чиаурели, чувствовалось, уже неплохо "принял", хотя ни на походке, ни на речи это не сказывалось. Выдавали только глаза, ставшие красными и жестокими.

Так уж получилось, что и он, и Костя сидели почти рядом, на двух, несколько отодвинутых от стола, металлических кофрах, упаковочных ящиках самой дорогой в то время киносъемочной аппаратуры "Бел-Хауел". Костя дожевывал свой бустерброд. Чиаурели молчал. Вдруг он чуть повернулся и, не называя по имени, спросил:

- Тебя, говорят, немцы ранили в голову. И осколок там остался?
- Да, точно.

И вдруг неожиданное, очевидно, из того самого предчувствия:

- Жалко, что тебя совсем не убили...

Непонятно, что с ним произошло. Такое грузинам, а тем более интеллигенции, вообще не свойственно, даже в состоянии полной невменяемости.

Дальнейшее произошло мгновенно, в кромешной тишине цикадного звона, без какого-либо внутреннего контроля. Не поднимаясь с места, внезапно круто развернувшись, Костя наотмашь смачно, изо всей силы, врезал ему звонкую пощечину, да так, что Лауреат многих Сталинских премий чуть не слетел со своего сидения. Простреленная головка красного тюльпана, вздрогнув, беспомощно повисла на перебитом стебле.

Окружающие всегда прислушивались к тому, что он говорил. Поэтому, услышав его вопрос, повернулись в сторону шефа, и все явились невольными свидетелями этого невероятного происшествия. Встав со своего места и не оглядываясь, Костя пешком побрел в город. Съемочный день был сорван.

Мгновенно протрезвев, Чиаурели был неумолим:

- Немедленно самолетом отправить в Москву!

Это было вполне реально, т.к. в его распоряжении были не только воинские подразделения, участвовавшие в съемке с их транспортом, но и транспортный военный самолет Дуглас, курсировавший в Москву по мере необходимости главного режиссера.

Неимоверный скандал сорвал съемки на несколько дней. Коля Ренков твердо стоял на своем, что без Кости он снимать не может и не будет. Пусть ищут другого оператора. Костя и сам хотел немедленно уехать, но шеф резко возражал, матеря заглазно главного режиссера. По тем временам дело было рискованным и непредсказуемым. Косте запросто могли "пришить" и 53-ю... За съемками наблюдал САМ. Очевидно какую-то примирительную роль, действительно, как мне потом говорили, сыграл и Михаил Геловани, игравший Сталина. Даже к образу великого вождя Чиаурели относился с почтением, хотя чувствовалось, что как личность и актера он его

ценил не очень высоко. Но сходство, заученные манеры движения и интонации речи воздя, которыми тот пользовался даже в повседневной жизни, решали его актерскую судьбу.

До конца съемок фильма главный режиссер и ассистент главного оператора избегали каких-либо встреч. А в таком небольшом коллективе сделать это было очень трудно. Однако несмотря ни на что премий и еженедельных бутербродов с сыром из кремлевской кормушки, что находилась рядом с Петровским пассажем, Костю не лишили до конца работы над фильмом. В то время это было существенным подспорьем для семьи.

К вечеру того злосчастного дня навалившаяся головная боль жестким обручем сдавила голову и болезненной пульсацией отдалась в мягкую яму на месте дефекта костей черепа. Осторожно потрогав пульсирующую кожу с перерезавшим ее выбухающим шрамом, Костя полез в карман за анальгином, который всегда носил с собой. Выходя из каюты или из дома, можно было забыть что угодно, только не таблетки.

Этот день запомнился не только тем "историческим" эпизодом. После захода солнца, проявив в затемненной каюте кинопробы, решил лечь спать пораньше. Голова после вчерашнего была все еще не своя. Однако выспаться не удалось. Заполночь разбудил настойчивый стук в дверь, в которую просунулась взлохмаченная голова директора картины Виктора Серапионовича Циргеладзе. Говорил он взволнованно, от чего грузинский акцент заметно усиливался. Да и было от чего разволноваться.

- Вставай, дорогой. Вы севой в этом проклятом городе всех знаете. Нужно срочно раздобыть такую медицинскую лампу, солюком называется. У Тамары на интересном месте прыщик вскочил, так что может сорваться съемка. Берите любую машину с водителем.

Костин шеф остался спать, а он вместе с главным художником картины, по которому сохло все женское население города-героя, уселись в новенький "виллис", ведомый заспанным сержантом.

Реально оценив обстановку, решили, что в такое время искомую лампу в развалинах города все равно раздобыть не удастся, но для очистки совести все же проехали мимо городской больнички в наспех подправленном разбитом здании. Окончательно успокоили совесть наглухо закрытые двери и черные провалы окон.

По совету сержанта решили воспользоваться случаем и поехать на бахчу, попытать счастья в охоте на зайцев. Благо у сержанта было два пистолета - немецкий парабеллум и наш ТТ.

Ночная охота на зайцев, на машине весьма специфична и азартна. Если случайный заяц попадал в лучи фар мчащейся машины, то он мог стремительно лететь только вперед. В сторону, в окружающую темноту, он уже вырваться не мог. Такова его природа - окружающая темнота представлялась непреодолимой стеной. Опустив ветровое стекло и сняв пистолеты с предохранителей, мы понеслись по дороге, что шла вдоль бесконечной бахчи, откуда в вечерних сумерках мы

воровали арбузы. За ночь встретили по очереди всего трех зайцев, по которым открыли огонь. Попасть из пистолета на ходу, по тряской дороге не так просто. Палали много, по очереди, перезаряжая оружие. Первые два зайчишки благополучно удрали, а третьему не повезло. Его ранили, и он отчаянно, голосом младенца, которого режут живьем, орал на всю степь, пока Лева не пристрелил его окончательно. Этот крик потом часто возникал в костинной голове при одном только упоминании слова "охота". Никогда в жизни он не мог больше даже подумать об охоте.

Уже успокоившийся Виктор Серапионович встретил машину в предрассветных сумерках у самого трапа.

- Не достали? Так я и знал. Ничего страшного. Тамара спит, а сон то же лечит.

Трофей принял с достоинством.

- Под зайчатину легче пьется...

Лева со знанием дела немедленно отреагировал, имитируя грузинский акцент:

- У настоящего мужчины пьется, дорогой, хорошо все, что льется. А закусь хороша тем, что под нее больше пьется и крепче любится.

Завернувшись в бурку кавказских горцев, которые были выданы почти каждому в съемочной группе, Костя проспал даже свой обед. Никто не разбудил.

На съемках в жаркой волжской степи под Сталинградом, он еще не знал, что его боевая 70-я Гвардейская дивизия родом из этого города. За героизм солдат и офицеров, она одной из первых стала Гвардейской. Но именно здесь он все чаще вспоминал ту украинскую степь с ее цикадным звоном, тяжело раненным, но до конца не сломленным красным тюльпаном. Операционную в сельской школе, слегка вытянутое усталое лицо доцента Кан-Когана, его простенькие очки, привычно оседлавшие горбинку носа. Все чаще вспоминал о своей заветной мечте стать нейрохирургом, а для начала - хотя бы невропатологом. Это желание, особенно после инцидента на съемочной площадке, становилось все более острым.

Но до медицинского института было еще далеко - целых два года. Еще два, промелькнувших затем года работы в кино. Совмещение "Клятвы" с "Беспокойным хозяйством". Блестящий актер Михаил Жаров и Людмила Целиковская, в то время его жена. "Пушкин", где главную роль играл гениальный Петр Алейников, к приезду которого на съемку закрывали все студийные буфеты, прятали водку и любое иное питье. Учеба среди почти круглосуточной работы, "История искусств" Бернулли, "Операторское мастерство", "История мирового и отечественного кино" и многое другое. Экзамены и диплом экстерна. Становилось ясно, что если очень хочется и не очень бояться, то учиться можно.

Был и еще один памятный июльский день 1947 года. Когда на мосфильмовской казенной машине, по дороге во ВГИК с большущим пакетом собственных рисунков, раскадровок, фотографий актеров, рабочих моментов и пейзажей, предназначенных для выставки, Костя неожиданно для себя, преодолев, что-то тормозившее изнутри, повернул с Манежной прощади на Моховую, прямо в приемную комиссию 1-го Московского Ордена Ленина Медицинского Института.

Инвалида-фронтовика, к тому же отличника, приняли в институт вне конкурса, без экзаменов.

С кино покончено. И не было даже доли сожаления об уходе с работы, о которой мечтали многие, готовые на все, чтобы только в любой роли попасть в сферу "важнейшего из искусства". Не было и тревоги о том, на какие средства жить дальше, ибо мизерная зарплата ассистента кинооператора постоянно компенсировалась работой фотографа. Этого никто и никогда отнять не сможет. К тому же жил с работающими родителями. Отец вернулся с фронта перед началом войны с Японией. Медсестра и фотограф - не очень доходные специальности.

Первого сентября в замерзшую аудиторию быстрым шагом, улыбаясь, вошел декан лечебного факультета профессор-анатом Борис Николаевич Усков. Не поднимаясь на кафедру, поздоровался, назвав студентов коллегами и прочитал первую лекцию, рассказав об истории и традициях института, бывшего медицинского факультета Московского Императорского университета.

Затем были организационные вопросы. Когда речь зашла о выборах старосты потока, Костя почувствовал, даже как бы знал заранее, что сейчас декан назовет его фамилию. Среди, примерно, двухсотпятидесяти студентов фронтовиков насчитывалось не более десятка. Они были заметны не только из-за возрастной разницы и отличались не столько гимнастерками и неуловимо иной манерой поведения, но еще и грустной завистью во взгляде на молоденьких однокурсниц и однокурсников, никогда не нюхавших пороха и не видевших крови.

Вначале фронтовики не столько завидовали вчерашним школьникам, сколько с ужасом оглядывались на себя. После долгого фронтового перерыва нужно было снова входить в ритм учебы. Но если бы только это. Для большинства многие школьные предметы оказались напрочь забытыми или полузабытыми. Приходилось постоянно рыться в школьных учебниках. Физика, химия, органическая химия восстанавливались почти из ничего. Именно они были бичем первых двух курсов. Тогда органическую химию преподавал доцент Шишло. Почти всех постигала печальная участь - "Шишло пришло, засыпало и ушло".

А каково было Косте?! Прошло чуть более трех лет, как заново научился не только говорить, но и читать, писать и считать. Пусть довольно быстро, но заново... Все это было. Дома лежали школьные

учебники по всем предметам, в дополнение ко всему, что касалось фотографии, операторского мастерства, истории искусств и даже логики. К ним прибавлялись новые учебники, по которым творили медиков. И потом - старосте ли потока показывать свою немочь...

Первые два года учебы в институте вспоминались потом с ужасом, как длинный тяжелый сон. Почти круглосуточная работа с учебниками, зубрежка анатомии и латыни. Все усваивалось "фенаминально". Но не от слова "феномен", а от названия лекарства "фенамин", весьма популярного в то время мощного стимулятора центральной нервной системы. Известен он стал во время войны. говорили, что его давали летчикам дальней бомбардировочной авиации, чтобы пилоты не могли заснуть. Достать его можно было в любой аптеке. Так что первые два года учебы проходили на этом препарате. Хорошо, что студенты не знали, что злоупотреблять им нельзя, т.к. возможна была даже внезапная смерть. Дальше становилось учиться легче, а вот доставать фенамин все труднее. Его тогда вдруг причислили чуть ли не к наркотикам.

Учился вполне прилично, хотя до отличника не дотягивал. По крайней мере, обходился без переекзаменовок, как тогда, так и всю последующую жизнь, не говоря уже о довоенной школе.

Он давно уже начал замечать за собой одну особенность: во время занятий в институте, библиотеке или дома, все равно где, в том числе и в обыденной жизни, постоянно наблюдал себя как бы со стороны. Видел все перед собой и одновременно себя и окружающее как бы со стороны. Себя, раздел учебника и любой конкретный факт, и даже поступок. Это странным образом помогало и в учебе, и в общении с окружающими. Избавляло от свойственной ранее, до ранения, закомплексованности. Однако никогда и никому, даже самым близким людям, об этом не рассказывал. Казалось заурядным и свойственным всем. Для них Костя был тот же "мальчик с лейкой", но мало кто знал, что именно это его кормило.

Улица Алексея Толстого соединяла Маховую с кафедрой биохимии. По ней, как по протопанной муравьиной тропе, временами в обе стороны небольшими стайками весело брели студенты-медики. Поближе к Садовому кольцу располагался знаменитый ДЗЗ - дом звукозаписи, перед подъездом которого нередко можно было встретить знаменитых актеров, а дальше, на углу, глухие стены скрывали особняк самого могущественного в то время Лаврентия Павловича Берии. И хотя все прекрасно знали, чем это грозит, но все же постоянно рассказывали наиболее надежным друзьям о том страшном, что, по слухам, творилось в этом особняке. Потом уже через многие годы, гласное прозрение донесло до нас крошечный ужас происходившего там.

И надо же, чтобы именно на этом отрезке муравьиной тропы, Костя однажды увидел сто раз виденную до того на лекциях, очаровательную блондинку с огромной кесой. То был момент истины - любви и судьбы всей его жизни. Но даже ей и ее отцу, рядовому врачу,

невропатологу от Бога, понимавшему сложности и опасности, несомые подобным ранением будущему, и благославившему, несмотря на все это, их счастье, Костя никогда не рассказывал о том самом красном раненом тюльпане, ни обо всем остальном. Вначале, как бы боясь с этим расстаться, а затем из сомнения - нужно ли сдирать с себя кожу, ибо вряд ли кому-то доставит удовольствие увидеть то, что под ней скрывается.

МЫ

Если тебе не только на работу, но и домой звонят почти непрерывно, то значит, очевидно, ты действительно кому-то нужен. Но когда телефон замолкает надолго, то сначала возникает чувство тревоги и какого-то вакуума. А после того, как выяснится, что он просто вышел из строя, появляется долгожданное ощущение хотя бы временной свободы, как у узника, выпущенного ненадолго на волю. Делай, что хочешь! Но хорошо, если бы был дополнительный выбор, а так - кругом одни долги. Не только перед кем-то, но и перед самим собой. Стоит очередь из тем и проблем, требующих своего решения и завершения, статей для медицинского журнала, и не только медицинской публицистики.

Как радовалась мама, когда была защищена докторская диссертация, а потом присвоено звание профессора... Ни в ее семье, ни в семье отца никогда дотоле не было не только профессора, но и кого-либо с высшим образованием. Она никогда об этом не говорила, но было заметно по чуть улыбающимся слезящимся глазам. Плакать не умела ни в радости, ни в горе. Слезы кончились давно, еще в сорок пятом. А вот до Заслуженного Деятеля Науки России, она уже не дождала. Похоронили ее на девяносто восьмом году жизни. До последних дней она больше всего боялась погладить по голове сына, наткнуться на мягкое, лишенное кости пульсирующее углубление и еще - взглянуть на хранимые в особом конверте, в тайнике, изрядно выцветшие, десятки раз оплаканные две похоронки на единственного сына.

Занимаясь всю профессиональную жизнь самыми различными аспектами клинической и теоретической неврологии, Костя почти постоянно возвращался к анализу, как он выражался, "собственной персоны". И руководило им не простое любопытство - было много необычного и профессионально непонятного. Давно уже сжилась с ними и приучилась преодолевать головные боли, порой походая, рассчитывая свои силы и подавляя эмоции и перепады настроения, которые никто посторонний не мог заметить. И преодолевал все это не столько лекарствами, сколько работой, постоянной загруженностью головы, в которой непрерывно рождались и отметались новые идеи, формировались никому неведомые концепции, определявшие собственное мироощущение и мировоззрение. И только часть из них появлялась потом в печати, вызывая разноречивую реакцию, но не безразличие. У него были свои авторитеты, с которыми постоянно

обсуждались наиболее важные аспекты работы. Одним из самых непререкаемых авторитетов был его учитель - академик Александр Михайлович Гринштейн. С ним познакомился вскоре после его освобождения из тюрьмы. В пресловутом "деле врачей" его фамилия была третьей... Изможденный, с грустными запавшими глазами и желтушными склерами, он по сути своей был одним из величайших неврологов не только своей страны. Слушать и читать его книги было трудно, так как говорил он весьма быстро и чрезвычайно насыщенно, за что у студентов получил прозвище "пулемет". Из устной и письменной речи были напрочь выброшены все ненужные слова-паразиты, без которых можно было обойтись. Энциклопедически образованный, он был не справочником, но творцом, предпочитавшим разного рода собраниям и заседаниям работу. Костя всю жизнь гордился, что именно он был руководителем его кандидатской диссертации. Очевидно, в чем-то заимствовал и стиль его жизни и отношение к работе.

Умер он рано, но с ним можно было советоваться долгие годы даже посмертно. Костя всегда мог вполне реально услышать, что он сказал бы своим тихим голосом в том или ином случае, как оценил бы материал и какой мог дать совет. Ответы на многие вопросы давала и главная книга его жизни "Пути и центры нервной системы". Книгу эту Костя осторожно стащил из подлежащих уничтожению "устаревших изданий" (тогдашний официальный термин), написанных "врагами народа", "врачами убийцами", еще будучи студентом последнего курса, в период ареста Александра Михайловича по делу врачей. Подобные ученые - редкость. Обычно современный профессор-медик, оцененный однажды в жизни своей кандидатской, чаще всего перестает быть творческим продуцентом и занимает более высокое положение только благодаря званию. Вторым профессором у Александра Михайловича была Хася Ильинична Иерусалимчик. Очень хороший человек, врач и лектор. Та самая Хася, о которой Николай Островский в своем романе "Как закалялась сталь" написал всего одну строчку - "Лечил меня доктор со странной фамилией Иерусалимчик". К своим основным учителям Костя относил также академика-невролога Н.И.Филимонова, академиком-вирусологов В.И.Жданова и здравствующего ныне С.Г.Дроздова. Последний, будучи по своей природе прекрасным трезвым аналитиком, явно недостаточно публиковался в теоретических изысках. Однако беседа с ним, обсуждение проблем, давали очень много.

Сейчас трудно сказать, что сделало Костю аналитиком. Может быть, это было заложено природой. Хотя вряд ли. До ранения ничего подобного он за собой не наблюдал. Скорее, это было одно из его следствий. Попав в труднейшую ситуацию, он был вынужден выбираться из нее без посторонней помощи. Не так-то просто в девятнадцать лет заново учиться говорить, читать, писать и считать. Да и учиться с таким ранением вообще чему-либо дальше, тем более в такие тяжелые годы. Всему этому наверняка способствовали и ряд

появившихся особенностей восприятия окружающего. Об этом уже говорилось. Но приходится возвращаться снова и снова, как возвращался он к этому повседневно, ибо все это было его обыденной жизнью фотографа, врача, ученого. Сам себя он почему-то всегда считал ремесленником, ибо все, чем он занимался, включая профессиональное творчество, и есть ремесла. Высшей оценкой для него было определение - "профессионал".

Профессионал - не тот, кто умеет просто и качественно что-либо делать, а кто умеет кроме того творить, привлекая весь широкий комплекс знаний не только по специальности, но и извлекая необходимое из всего смежного, сопутствующего и даже стороннего. Профессионализм - это постоянный поиск и анализ, постоянные сомнения и еще непрерывное "самоедство". Для последнего необходимо все время видеть самого себя как бы боковым зрением, со стороны, быть к самому себе беспощадным и, что не менее важно, воспринимать чужое мнение и принимать его, если оно побеждает твои сомнения.

ОНИ

Больному было всего тридцать пять лет. Изможденное лицо перекошенной маской выражало страдание. Настороженные глаза, один из них красный, отекавший, с подвернутым веком, неестественно расширен, постоянно слезится. Чуть измененная походка и напряженно согнутая в локте рука с непрерывно вздрагивающей, вычурно изогнутой кистью, пальцы которой сведены остроконечной лодочкой. Сопровождала его, бережно поддерживая за здоровую руку, жена, совсем еще девочка.

Костя привычно почувствовал, как у него начали появляться невидимые другим ощущения больного. Ослабла и онемела щека, казалось, что расширился и начал слезиться глаз. Одна неведомая струна натянулась в руке, манипулируя пульсирующей ладонью, другая струна натянуто пробежала по ноге, делая ее не своей. Все это происходило в то время, пока больной передвигался от двери к кушетке. Столь же привычно возник образ мозга и почти зримая зона его поражения, выделяющаяся небольшой тенью. Годами выработавшийся автоматизм уже давно делал ненужным решение задач на сопоставление путей и центров нервной системы для решения вопросов топки поражения, то есть местоположения его в нервной системе. Доведенные до автоматизма, они, как в дисплее компьютера, возникали почти мгновенно. Появились и иные ощущения, выходящие за рамки виденного, подтвержденные затем рассказом больного. Становилось ясно, где "перегорела пробка".

Дальше нужно было выяснить, чем все это вызвано, решать вопрос, можно ли исправить ситуацию или хотя бы облегчить ее. Обычная работа невролога. Но было в ней и необычное - первый этап впечатлений, результатов исследований и зримо ощущаемого места поражения, определяемого без видимых усилий, почти автоматически.

Подобное случалось не столь уж часто. Один Бог знает, от чего это зависело. Но сам он уже знал, что усилием воли почти всегда может запустить этот механизм. В сложных случаях, особенно при напряженной консультативной работе и при обилии больных, Костя пользовался этим довольно часто, хотя заранее знал, что потом ждет "расплата" - некая опустошенность, общая слабость и усталость, разбитость, как та, что наступает после длительной изнурительной физической работы. Все это быстро снимал только короткий сон, хотя бы на пять-десять минут. Проведение же сеанса психоанализа всего у одного больного, требовало затем более продолжительного сна.

Почти каждый больной прочно врезался в память, откуда его можно было извлечь в любой момент, даже спустя десятилетия. Причем, во всех деталях развития заболевания, симптоматики и даже нередко результатов проводившихся тогда исследований. Вспоминал все, кроме одного - фамилий, имен и отчеств. Это "проваливалось" напрочь почти сразу после окончания первого осмотра. Больной же в дальнейшем "восстанавливался" по одной-двум деталям, характерным для его заболевания. Так же как фамилии, мгновенно исчезали из памяти номера телефонов и адреса. Однако так же отчетливо, навсегда зримо запоминались почти все пройденные пешком или проделанные за рулем маршруты. Запоминалось только то, что имело аналитический смысл и динамику. Аналитическая динамика памяти, очевидно, была также следствием особенностей нервных процессов, постоянно искавших окольные пути вокруг "мертвой зоны". Наверное, это было то же отстраненное видение.

Интересно, что в отличие от фамилий пациентов и людей, с которыми приходилось достаточно редко контактировать, фамилии авторов при изучении и разработке научных проблем фиксировались более прочно. Очевидно, они также укладывались в динамику аналитического процесса научного исследования.

Один из самых ранних учителей, с которым Костя часто общался на протяжении последних четырех лет учебы в институте, был крупный невропатолог, академик Евгений Константинович Сепп. Еще в двадцатые годы им была создана оригинальная теория положительного или прямого неврологического диагноза. Диагноз в таком случае формировался на основании всех имеющихся данных, без предварительной дифференцировки. Все сведения о больном сводились в единый фокус, на острие которого высвечивалось законченное решение. Разумеется, оно не всегда было столь уж окончательным, но как правило основательным, базовым. Этот метод отличался от принятой методологии, когда, как говорил Евгений Константинович, на больного поочередно примеряли "диагностические рамочки различной конфигурации". Какая подойдет, так и определяют диагноз.

Концепция прямой диагностики весьма импонировала Косте. Она в значительной степени соответствовала особенностям его мышления, возможностям широкого окольного видения и фокусирования конечного эффекта на самом главном. Неоднозначность и

вариабильность диагностического комплекса постоянно рождала сомнения и требовала поиска альтернативы как способа нахождения окончательного мнения составляемого для себя самого.

Анализируя собственные особенности восприятия, он столь же зримо представлял свой мозг как прозрачную субстанцию, в которой системно переплетались непрерывно общающиеся ячейки памяти. Это общение и было звеньями логики автоматического мышления и действий. Он в любой момент мог "вытащить" из памяти любой зрительный, слуховой, обонятельный, но лучше всего - ситуационный образ бывшего ранее, во всех мелочах, включая особенности собственных переживаний.

Однажды он нашел нечто подобное в романе Стивена Кинга "Мертвая зона". В самом деле - у главного героя тоже была довольно большая "мертвая зона" мозга. Та самая, которую околлицей должны были проходить нервные импульсы, используя обходные пути и задействуя дополнительные, лишь косвенно связанные с ними, центры. Все это создавало реальную картину отстраненности, стороннего же наблюдателя, резко увеличивая полосу восприятия и одновременное видение всего сопряженного с каким-либо явлением, проблемой. В какой-то степени это похоже на ситуацию, когда в объезд перекрытой основной дороги, вы пользуетесь окольными путями, пусть более долгими, но значительно расширяющими ваше видение окружающих мест в их взаимосвязи.

Проницательность автора книги, не имеющего никакого отношения к медицине, не имеющего к тому же и собственной "мертвой зоны", была поразительной. Потрясала точность проникновения в чувства и ощущения созданного автором образа, подтверждаемого нелегким личным Костиным опытом.

Именно тогда стало очевидным, что подобными же механизмами можно объяснить и популярность некоторых провидцев, предсказателей и целителей. Известно же, что большинство наиболее известных прорицателей и оракулов имели те или иные механические, электрические или какие-либо другие значительные травмы мозга. Вспомните хотя бы известную всему миру Ванду. "Прозрение" наступало вскоре после выхода из тяжелого бессознательного состояния или длительной летаргии. Стало очевидным, что получив некоторые новые свойства нервной системы в связи с появлением собственной "мертвой зоны", приобретающей как бы второе, стороннее видение, необычную обостренность внутренних ощущений и довольно быстрый подсознательный анализ, они чувствовали себя "исключительностью" и, уверовав в это, начинали заниматься прорицанием и исцелением. Людям казался чудом быстрый прямой результат их расширенно-утонченного восприятия и анализа. Они действительно более зримо видят то, что человеку очень трудно, а порой и невозможно заметить в самом себе. Все это рождало веру окружающих в чудо. Разумеется, предсказать точно и реально они не могли, так же как и определять судьбу по фотографиям. Однако уверенные

в исключительности, они широко рекламируют свои редкие попадания, умалчивая о большинстве неудач. Но люди либо не понимают, либо просто не хотят понимать этого. Человечеству во все времена безумно хотелось верить в чудеса, тем более хочется в наше смутное время.

Смутное время рождает еще и (гораздо больше) огромную разномастную плеяду прорицателей, знахарей и целителей разного толка, из которых лишь небольшая часть искренне убеждена в своих исключительных возможностях. Это в основном экзальтированные, самоутверждающиеся личности с неустойчивой психикой, во многом напоминающие цыганских гадалок. Подавляющее же большинство составляют расчетливые циники, для которых больные люди являются лишь источником немалых доходов. И дело не в их рекламируемой неведомой сверхчувствительной силе целителей, а в нашем сегодняшнем обществе, потерявшем ориентиры среди размытых ценностей жизни, обществе потерявшем в массе своей интеллектуальный потенциал.

С одним из таких целителей Костя столкнулся в больнице, куда тот был приглашен к больному родственниками. Очень долго с невозмутимым видом тот руками совершал над больным разного рода пассы, периодически стряхивая с кистей рук нечто неведомое. После сеанса решил козырнуть перед профессором, предварительно заявив во всеуслышание, что он лучший из существующих экстрасенсов, к помощи которого часто вынуждены прибегать аж "на самом верху". Кстати, это довольно типично, т.к. все они страдают от избытка ощущения некоего собственного превосходства над остальными людьми. С улыбкой самоуверенного человека он спросил:

- Знаете, профессор, я готов сейчас совершенно бесплатно обследовать вас. Вижу, что вы тоже нуждаетесь в моей помощи.

- Не стоит, - ответил Костя, усилием воли погружаясь в цикадный звон. - Лучше займитесь собственными головокружениями и еще основательнее заболеванием вашей же печени. Начните хотя бы с того, чтобы "завязать" с алкоголем. Но главное - обратитесь, наконец, к урологу. Нельзя так запускать хронический простатит. Это облегчит давно возникшие у вас проблемы с половой потенцией. Или вы предпочтете со всем этим обратиться к экстрасенсам?

В наступившей тишине он "слинял" мгновенно. Зато потом Костя вынужден был довольно долго разъяснять врачам, на основании каких внешних, в том числе и поведенческих данных, он составил "клинический портрет" целителя. Пришлось по полочкам раскладывать элементы почти автоматического анализа.

История эта имела неожиданное продолжение. На имя Кости в больницу почтой пришло письмо без обратного адреса, в котором были присланы завернутые в бумагу фекалии. Слава Богу, немножко. И никакого текста. Вычислить автора и узнать его адрес не составило труда. В ответ на бланке лаборатории лечебного учреждения было отправлено "официальное" заключение:

"Проведенное исследование присланного мозгового вещества автора письма выявило его полную идентичность с кишечными испражнениями."

Опровержения не последовало, несмотря на наличие обратного адреса.

Интересно, что вскоре после этой истории к Косте обратился за помощью другой, весьма оригинальный экстрасенс, которого правильнее было бы называть "экстраСЕКСом". Отличаясь врожденной гиперсексуальностью и культивируя это, он, "жертвуя собой", за немалые деньги "лечил" вначале только женщин, обрета широкий круг "пациенток", передававших его друг другу. Это было настоящей мужской проституцией. Свой хлеб он зарабатывал под флагом "секс-терапии". Затем его шантажировали и приспособили для себя голубые. Здесь он был уже двуполым. В конечном счете наступило полное истощение половых возможностей и, став "профессионально непригодным" (его выражение), он решил обратиться к врачу.

Преодолевая естественную брезгливость, пришлось Косте долго и упорно лечить этого целителя. Наконец, обрета некоторую уверенность, граничащую с наглостью, он однажды торжественно, в своем стиле, объявил:

- Поздравляю Вас, доктор! "Больному" стало значительно лучше, и хотя он еще слабоват, но уже приступил к исполнению своих прямых обязанностей. На хлеб с маслом зарабатываем. Надеюсь, что такая профессиональная "лечебная физкультура" в сочетании с экстрасенсорным воздействием, поможет ему восстановиться полностью.

Костя отчетливо увидел, как его бравада увязла в глубине серого ступка тишины и жалости к самому себе, в котором метались, борясь между собой, надежда и недоброе предчувствие. Последнее вдруг растворилось, подавленное призраком надежды. Он никогда не сможет понять, что истинный, свободный и независимый от обстоятельств разум всегда дороже и выше денег.

Ни "лечебная физкультура", ни "экстрасенсорика" не спасли. Жажда денег была выше его разума.

И снова Я

Гипотеза, это всего лишь зыбкое предположение. Зато концепция является фундаментальным сооружением, построенным на твердо установленных фактах. Это по сути своей и есть теория. Я никогда не высказывал гипотез. Они рождались и тихо умирали фантомными призраками первичных прикидок собственных наблюдений и ассоциирующихся с ними разрозненных, известных науке данных.

Зато логическое построение концепции привлекало своей неординарностью задачи, для решения которой тербовалась "всеобщая мобилизация". Мобилизация и концентрация всех накопленных до тебя знаний в сочетании с результатами собственных исследований

и наблюдений. И еще привлечение других сведений из любых областей науки, порой кажущихся несовместимыми, отвлекающими от основной задачи. Это уже было не построение концепции или теории, но формирование парадигмы. В нее закладывался не только бетонно-прочный фундамент и кирпичики надстройки, но и трансформирующееся собственное мышление, мироощущение и мировоззрение. Ибо фактически парадигма и есть мировоззрение, построенное на концептуальной базе. Оно, как застывающий бетон, постепенно превращается из чего-то зыбкого, в незыблемый краеугольный камень твоих представлений и всегда со скепсисом воспринимается окружающими. Так формируется внутренний мир, мое тайное, собственное "Я". Оно универсально для восприятия и отношения ко всему, ибо научное - это не отстраненное от души. Оно в одном ряду с личностным.

Очевидно, это и есть истинный творческий научный процесс, с которым постоянно путают накапливание всякого рода фактов уточняющего или подтверждающего характера, или, что совсем уже плохо, повторение чужих исследований и выводов, для того, чтобы "с неподдельной гордостью" сказать, как это делается в большинстве до сих пор - "мы впервые в СССР...", а теперь очевидно будет "в России..."

Накапливание фактического материала, равно как и его обобщение, никогда не требовали большого напряжения и, тем более, прозрения. Зато предварительное построение концепции, равно как и завершение ее формирования, всегда происходило в мертвой тишине цикадного звона и было усеяно призраками красного погибающего тюльпана. Порой это происходило и во сне. А виной всему был червь гложущего сомнения, постоянно и во всем, что касается науки, диагностики и лечения. Однажды именно этот червь, как-то внезапно возник со своим вопросом:

- Разве можно называть все население стотысячного города убийцами, если убийство совершил всего лишь один его житель? Такое никогда и никому не может прийти в голову. Тогда как можно называть все вирусы убийцами, если какой-либо конкретный вирус, например, полиомиелита, проникая в организм ста тысяч жителей, ведет к гибели только одного человека?!

Именно тогда впервые в цикадной тишине начинающегося прозрения зажегся призрак красного тюльпана, и бессильно повисла его головка. Все остальные вопросы стали второстепенными. Почти год цикадного звона позволил построить неопровержимую для самого себя концепцию о роли вирусов в природе, как необходимой составной ее части, по своему биологическому значению не уступающей ничему живому, в том числе и человеку. Стало ясно, что роль вирусов в природе является чуть ли ни ведущей, ибо они в конечном счете объединяют все живущее на земле, являясь своего рода посредниками, носителями функциональной информации, двигателем эволюции и еще многого другого. Ну, а вирусные болезни? В таком случае они оказывались своего рода издержками индивидуальной врожден-

ной или приобретенной иммунной недостаточности, издержками процессов адаптации. Эта парадигма стала моим мировоззрением. Изменился концептуальный подход к проблемам диагностики и терапии вирусных и некоторых других заболеваний нервной системы, он стал основой некоторых более эффективных методов и схем терапии. В чем-то изменилось и мироощущение за пределами науки.

Я хорошо представлял себе, что подобная научная мировоззренческая ломка будет встречена в штыки и вряд ли сразу сможет найти сторонников. Вспомнился Э. Розерфорд заметивший, что вхождение нового в науку проходит ряд долгих стадий, от "абсурда", до "это давно известно!"

Поэтому разработал "тайный" план представления информации, которая была разбита на ряд статей, с постепенным нарастанием логического обоснования подходов к проблеме. Тогда только появился термин "персистенция вирусов", т.е. был установлен факт возможности (а позднее и обязательности) длительного нахождения их в организме, даже пожизненного. И первая статья и доклад, вызвавшие смехи и некоторую полемику, назывались "Вирусы как фактор иммунитета и патология персистенции". Затем было много других статей, развивающих концепцию. А основная, обобщающая работа вышла только через восемь лет с задиристым названием "Убиквитарность вирусов и презумпция невиновности" (убиквитарность означает универсальность вирусного феномена - нахождение их всегда повсем живом).

Обобщающая работа была доложена на ученом совете, опубликована в ведущем журнале "Архив патологии" и некоторых других. Она имела большой резонанс. Ни один факт не был опровергнут, как и невозможно было опровергнуть и общую концепцию. Не было даже ни одного существенного неопровержимого контраргумента. Последовало приглашение выступить на семинаре Минздрава СССР, где присутствовали ведущие ученые страны, в основном академики АМН СССР, директора Институты, министр и его замы. Доклад был заслушан со вниманием и принят хорошо. Но "на закуску" мной был подготовлен "сюрприз" - еще один, как я его обозначил "содоклад", который должен был послужить разрядкой, если бы возникло информационное или логическое противостояние. Этого не было, но все же прочитал его, как заключительную "аргументацию". В нем не было ни одного авторского слова. Он был сплошь составлен из цитат "классиков" и "пророков", истинных и ложных. Привожу его полностью,

"Иному из вас, может быть, покажется, что в словах моих больше дерзости, нежели правды, но приглядимся чуть повнимательнее к жизни..." (1). Ведь "...один и тот же материал дает диаметрально противоположные выводы при разных методах группировки" (2), хотя "Нет ничего более практичного, чем хорошая теория" (3).

"Ключем ко всякой науки является вопросительный знак", (4), но при этом стоит вспомнить, что "Бог, хоть и изощрен, но не злонаме-

рен" (5). А потому, перед нами всегда встает дилема - "Либо мир является огромным хаосом, либо в нем царствует порядок и закономерность" (6).

"Как это часто бывает, когда к исследованиям приступают клиницисты, они игнорируют некоторые научные соображения, но в конце концов достигают правильного результата, как мы все убеждаемая позднее" (7). Они нередко доказывают, что "Многие болезни на самом деле являются болезнями адаптации, т.е. отклонениями общего адаптационного синдрома, чем результатом прямого повреждающего действия патогенных агентов" (8).

В науке "Есть не окончательно установленные факты. Факты всегда различимы. Есть окончательно установленные отрицания". И "Чем менее точны науки, тем более они неподвижны, а в точных науках колоссальная, постоянно идущая перестройка". Именно поэтому в биологии "Избитые истины уцелели главным образом потому, что выработали стойкий иммунитет к побоям" (9).

"При своем появлении всякая научная истина проходит три стадии понимания. Сперва говорят, что это абсурдно. Затем - в этом что-то есть. Наконец - это давно известно" (10). Даже когда "Нет никакого сомнения, что перед нами безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, что бы быть правильной" (11).

В заключение должен сказать, что "У меня нет столь высокого мнения о своей собственной теории, чтобы не прислушиваться к мнению других" (12).

После этого были названы истинные авторы "содоклада":

1. Эразм Роттердамский. 2. В.И. Ленин. 3. Л.И. Брежнев. 4. О. Бальзак. 5. А. Эйнштейн. 6. Марк Аврелий. 7. Цеппилини. 8. Г. Селье. 9. Д. Гранин. 10. Э. Розерфорд. 11. Н. Бор. 12. Н. Коперник.

Прошло более десяти лет. В современной науке срок предосточный не просто для опровержения, но и для забвения. Но нет ни того, ни другого. Наоборот - накапливается все больше фактов, подтверждающих правомерность концепции. Более того, для некоторых уже все "это давно известно".

Очевидно, что подобный концептуальный подход был свойственен мне и раньше, но с середины семидесятых годов он стал, если можно так выразиться, стилем жизни, образом мышления. Только теперь становится понятным, что иначе и не могло происходить. Здесь опять возвращаю к "мертвой зоне". Очевидно, что именно она способствовала формированию особенностей нервных процессов, в которых всегда были вынужденно задействованы те отделы центральной нервной системы, потребность в которых в обычных условиях, очевидно, функционально ограничена. Окольные связи нервной системы, формировавшиеся и отрабатывавшиеся годами, постепенно превратились из компенсирующих в основные. А широкий их захват определил то самое дополнительное "зрение", которое уже упоминалось. Широкое видение всегда способствует находке-

нию реального под контролем критического второго видения самого себя со стороны, более острого и утонченного восприятия окружающего и окружающих. Оно же позволяет совмещать разработку сразу нескольких разнородных проблем (и не только).

Наверное, именно поэтому структурно сложный доклад всегда был делом труднейшим. Но не столько в подготовке, сколько в выступлении. Легче и быстрее было его прочитать. Но ответы на вопросы и дискуссия, требовавшие стремительного извлечения аргументов и контраргументов, порой совершенно неожиданно возникавших из глубины сознания любой давности, были всегда самой желанной частью такой работы, доставлявшей истинное удовольствие, особенно если возникало противостояние, и даже если порой тебя обидно не хотели воспринимать.

Это касалось не только "чистой" науки, хотя в медицине чистой науки быть не может. Но и клинической практики, и диагностики, и лечения. Особенно на сложных консилиумах, где нередко царил дух "коллективной безответственности". И еще напрямую имело отношение к медицинской публицистике, постоянно сопутствовавшей науке и врачебной практике.

Здесь помогало не только аналитическое видение, но еще и прогностическое - особенностей мышления и аргументации окружающих тебя людей. Очень легко выделялось отношение скрытой неприязни, уязвленности, а особенно остро угрозы. Последнее виделось раньше всего и острее. Это нельзя было относить к предчувствиям, а было прямым видением, но всегда без внешней реакции.

Несомненно, что каждый человек может вырабатать в себе свойство обостренного восприятия. Сверхчувствительного, или, как теперь говорят, "экстрасенсорного". Известная Джуна начинала именно с этого. Я сам однажды наблюдал, как в раннем периоде своей деятельности, перед тем как дистанционно обследовать больного ладонями, она прогревала их в специальном приборе - своеобразном термостате. Естественно, что чувствительность кожи ладоней повышалась весьма существенно. Факт широко известный, как и тот, что человек, у которого на месте содранной или обожженной кожи образуется новая, незрелая, воспринимающая очень остро любые раздражения. Даже легкое дуновение ветерка может вызвать разного рода неприятные ощущения, вплоть до острейшей боли. Подобная экстрасенсорная прецепция у отдельных людей нередко рождает мистическую веру в собственные сверхвозможности, особенно у людей с обостренным психическим восприятием, экзальтированностью или неуравновешенностью, нередко запрятанными достаточно глубоко. Именно они бывают очень огорчены, когда находится человек, видящий и объясняющий это обычными фактами, хотя бы немного обнажающими подноготную "сверхвосприимчивости", а тем более "сверхвлияния", которого практически нет ни у кого из них. Нет никакой сверхсилы и никаких сверхвозможностей у всякого рода целителей, экстрасенсов и присных, а есть моральное,

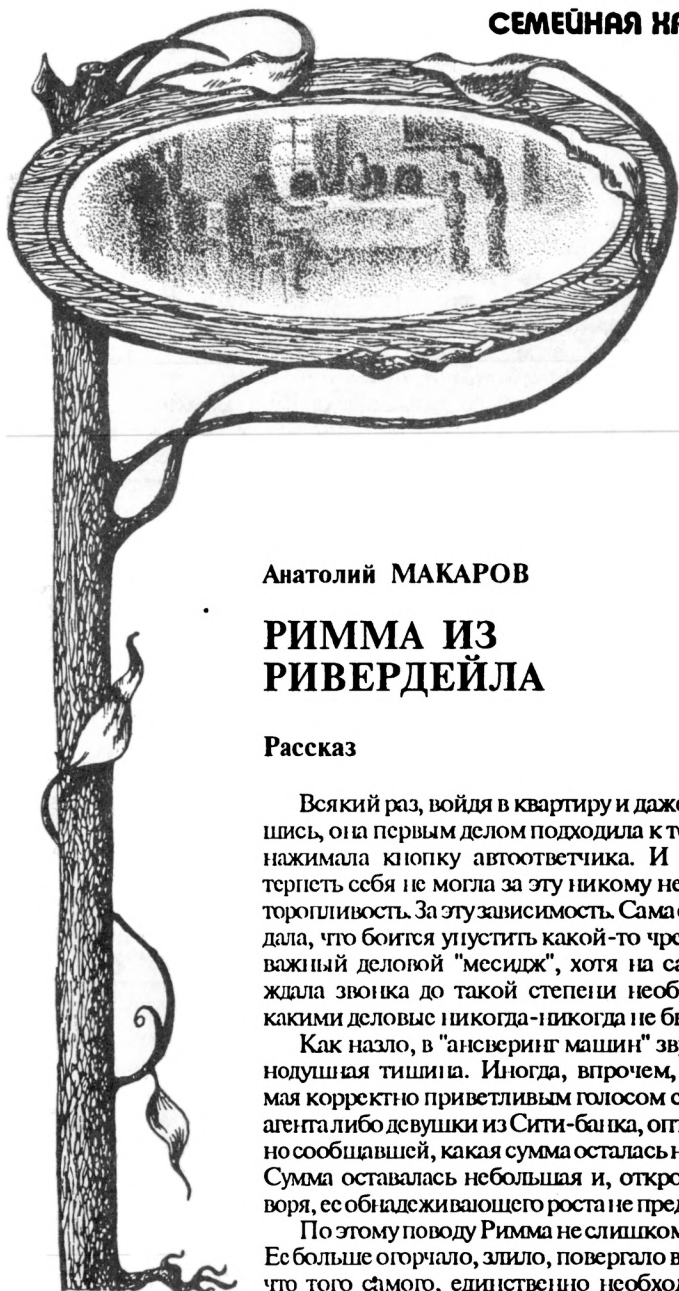
духовное и физическое обнищание людей и общества в целом, в изменившихся сейчас для многих катастрофически условиях жизни. Только деградация общества выталкивает на поверхность подобные явления. Так было во все времена. Людям хочется верить в чудо.

Дома с военных времен случайно сохранилась гимнастерка, та самая, в которой был ранен. Она хранит проржавевшие следы моей крови. Гимнастерка тридцать восьмого размера, тощего девятнадцатилетнего мальчишки, которому предстояла сложная жизнь. На ней, еще в госпитале, были сделаны четыре нашивки - одна золотая, две красные и одна черная. Свидетельства одного тяжелого ранения, двух легких и одной контузии (черную потом спорол - это была принятая в те времена солдатская "самодеятельность"). Гимнастерку храню как талисман. Ее теперь не могут примерить даже мои внуки, которым до тех моих девятнадцати лет еще расти и расти. Просто очень мала. Не сходится в аляках на двух долговязых. Дай Бог, что бы им вообще никогда не пришлось носить военную форму. Пусть в удовольствие стреляют в тире из духовушек.

Трудно и необычно, когда организм вынужден постоянно пользоваться окольными связями в нервной системе, избегая прямого контакта с прошлым, обходя его бритвенно острые углы и изломы крупновской стали, компенсируя в полной мере интеллектуальные возможности.

И все же можно полноценно жить и работать и с "мертвой зоной" и с "содранной кожей", с восьмью стальными осколками, что иногда звенят в аэропорту на спецконтроле, пугая охрану возможным наличием оружия. Но нет его у меня, есть только осколки. Порожденная оружием пожизненная "начинка",

Можно жить и работать, преодолевая головные боли и все иное посредством работы, постоянной загруженности, своей необходимостью другим людям. И таблетками тоже. Можно и нужно. Просто необходимо. До тех пор, пока есть хоть малейшая возможность.



Анатолий МАКАРОВ

РИММА ИЗ РИВЕРДЕЙЛА

Рассказ

Всякий раз, войдя в квартиру и даже не разувшись, она первым делом подходила к телефону и нажимала кнопку автоответчика. И при этом терпеть себя не могла за эту никому не видимую торопливость. За эту зависимость. Сама себя убеждала, что боится упустить какой-то чрезвычайно важный деловой "месидж", хотя на самом деле ждала звонка до такой степени необходимого, какими деловые никогда-никогда не бывают.

Как назло, в "ансеринг машин" звучала равнодушная тишина. Иногда, впрочем, нарушаемая корректно приветливым голосом страхового агента либо девушки из Сити-банка, оптимистично сообщавшей, какая сумма осталась на ее счету. Сумма оставалась небольшая и, откровенно говоря, ее обнадёживающего роста не предвиделось.

По этому поводу Римма не слишком страдала. Её больше огорчало, злило, повергало в отчаянье, что того самого, единственно необходимого ей

звонка она ждет так, как будто бы ей не сорок, а восемнадцать. Как будто бы она, как в юности, живет в Киеве на Крутом спуске. Или как в молодости в Ленинграде на Московском проспекте. Тогда это было естественно. Тогда и там. В стране, где даже финансовые работники знают наизусть стихи. А что знает наизусть эта девушка из Сити-банка? Котировку акций? Учетные ставки доллара? Римме почему-то казалось, что личная жизнь хороших, спортивных и похожих на куклу Барби, американок безоблачна и пресна. По телевизору и в газетах время от времени сообщали о преступлениях на почве ревности и семейных неурядиц, далее следовал обычно столь запутанный психоаналитический комментарий, что нормальные человеческие отношения, бабы мотивы безумных поступков терялись в наукообразном тумане. Россия, как всегда, представляла страной классической ясности. Убивают, потому что ненавидят. Или любят. В Америке же и ненависть, и любовь отступают куда-то в тень перед чувствами более рациональными и позитивными. И, кажется, даже считаются признаком некоторой что ли невоспитанности, нецивилизованности. Незрелости, как выражались в России партийные функционеры, от которых зависели продвижения и назначения.

Видимо, это была ее планета: с позиций прямо противоположных, считаться не вполне зрелой и не вполне цивилизованной.

Может быть, это и справедливо, что человек, который постоянно думает о личном счастье, надеется на улыбку судьбы, не может считаться вполне основательным и надежным. В России в ответ на упрёки в непоследовательности и ветренности Римма всегда отвечала: "Я - женщина" с осознанием своей не подлежащей сомнению правоты. Что было говорить здесь в качестве не подлежащего сомнению аргумента? "Я - русская"?

Похоже, что американцы и без того многое списывали на этот счет. Слава Богу, что у нее хватало опыта, не прибегать к первому доводу, не ссылаться на иррациональность женской природы. Это вообще прозвучало бы для них загадочным анахронизмом. Ну как, например, объяснить им, что она в Киеве, в Ленинграде, в Москве, во всех русских городах, в которых жила, привыкла к тому, что ее постоянно кадрят на улице. То есть, хотя с ней познакомиться - в магазине, в кино, в метро, в толкучке возле сигаретного киоска... Не то, чтобы ей и в самом деле нужны были эти знакомства (да она половине этих ловеласов со всеми их отработанными приемами и отрететированными островами знала настоящую цену); ей важно было ее женское самоощущение, которое от этих наядливых нью-йоркских авеню и стритов оно временами сходило на "нет". И это при всех возможностях одеться и держать себя в форме, при научных диетах, бассейнах, косметологах, массажистах, дантистах на каждом углу, да еще при лучезарной американской приветливости:

- Хай! Вы сегодня прекрасно выглядите!

То-то и оно, что за этим "хай" и "файн" ничего ровным счетом не следует. Они - формальность чистой воды, деталь делового

этикета, поверхностное свойство того явления, которое называют американским образом жизни.

Между прочим, он оказался весьма целомудренным, вопреки мнению, которое было распространено в России среди молодежи и поддерживалось ради обличения капитализма журналом "Крокодил". Во всяком случае, не в пример более пуританским, нежели те нравы, какие были приняты в кругу, в котором она отчасти тусовалась в Питере и в Москве. Там встречались актеры каких-то полуподпольных студий, режиссеры, выпускники ГИТИСа, ставившие свои гениальные спектакли где-то в провинциальных ТЮЗах, дети богатых художников и сами художники тоже. Еще не богатые, но уже обучившиеся привычкам обеспеченной богемы: многодневным загулам в огромных мастерских на чердаках славных московских зданий, частым внезапным пазздам в Крым и, разумеется, многобрачию. И вообще, обыкновению не раздумывая заводить легкие, не располагающие к ответственности связи, пересекающиеся, переплетающиеся, запутанные и не требующие ни распутывания, ни выяснения отношений.

Отголоски этой оставшейся за океаном жизни, этой рассеявшейся по свету компании иногда оседали в ее автоответчике.

- Автоответчик Риммы Радецкой, - услышала она недавно с легкой досадой знакомо хмельной голос, - говорит автоответчик Валерия Дрючина. Мы тут отдыхаем у меня в Сохо. В хорошо гам известном узком кругу ограниченных лиц. Так что подваливайте. В смысле, подгребайте. В любое время, поскольку до утра, судя по всему, горючего хватит.

Она в этом не сомневалась. Чего другого, а водки им хватало. И родимой "столичной", и "смирновской", и "борзой", и "горбачевской" и шведской "абсолют", которая, в полном соответствии с названием, возводила алкогольную субстанцию в степень неслыханного совершенства.

В Сохо Римма не поехала. Сценарий вечера был ей известен с давних блаженных, коктейльских и судакских времен. Долгий кутеж, прежде таивший иллюзию некоего романтического преобразования жизни, прояснения горизонтов и выявления подспудных желаний, с потерей молодого задора и пьяных надежд вырвался в заурядную российскую пьянку. С бахвальством, юродством, с пробуждением давних обид, с дурацким маскарадом, застарелыми обидами и скучновато деловитыми попытками соития где-нибудь за мольбертом...

Уж если на то пошло, от тоски и одиночества увлекательнее было бы подцепить какого-нибудь вовсе незнакомого мужика и за один вечер пройти с ним все стадии романа от невинного флирта до никого ни к чему не обязывающей близости.

В Москве во время своего недолгого отказничества, не желая видеть никого из бывших любовников и возлюбленных, она нередко поступала именно таким образом. Закатывалась с приятельницей в

актерский либо в киношный клуб и без труда, равно как и без натужного кокетства обзаводилась необременительным знакомством, о котором чаще всего забывала к обеду, но иной раз хранила в душе благодарно романтическую память. Характерно, что Америка оказалась вовсе непригодной для такого рода знакомств и отношений. Честную искательницу приключений, желающую забыться и выбиться на вечер из накатанной житейской колеи в лучшем случае могли принять за проститутку. Кадрить же порядочных женщин в общественных местах суперменистые, но добропорядочные американцы категорически не умели. Или не желали. А скорее всего опасались, поскольку защитницы и качательницы женских прав из всякого рода всемогущих лиг и союзов воздали вокруг женской автономности изощреннейший юридический заслон. В сущности, следуя их логике, кадриться следовало бы через адвокатов, так, мол, и так, мой клиент хотел бы осведомиться у вашей клиентки, не желает ли она выпить "мартини" в его компании. Что ж, если намерения вашего клиента не выходят за рамки традиционного ухаживания с определенными, однако не назойливыми намерениями... и так далее в том же духе.

Можно было, конечно, заехать на пятьдесят вторую в "Русский самовар" (там атмосфера для случайных встреч была вроде бы вполне подходящая, напоминающая московские клубы с их панибратством и понтырской свойскостью), но, во-первых, все его посетители были ей знакомы не хуже, чем участники художественной пьянки, а во-вторых, при нынешних своих обстоятельствах она не могла себе позволить одинокий ужин в ресторане.

Да, господи, если бы и могла! Она ждала звонка, вот в чем было дело! И ни о чем другом не могла думать даже на работе; и осторожные заигрыванья начальника и коллег (опять же, как бы не ущемить священные женские права!) воспринимала равнодушно, а то и с раздражением. А вечером, выехав на хайвей, стремящийся с гулом и ревом вдоль Гудзона, с ужасом ловила себя на мысли, что вспоминает не о дочке, попечением еврейской организации взятой после школы на продленку, а о том, кто должен был позвонить из-за океана и моря, из страны, в которой она никогда в жизни не была, хоть Россию покинула ради воссоединения с этой своей якобы исторической родиной.

В ту страну ее и не тянуло никогда, поскольку еврейкой в истинном смысле слова она себя не ощущала. Просто красивой женщиной с несколько экзотической для славянских мужчин, и потому, особо притягательной внешностью. У кого-то из психоаналитиков, которыми она в первые свои американские годы, естественно, увлеклась, было написано, что сексуальный контакт острее переживается с партнером другого этноса. Вот вам объяснение, почему кавказцы так любят русских женщин. Но и русские мужики увлекаются глазастыми брюнетками, хотя и не слишком это афишируют. Что же касается национальных чувств, то чисто еврейских

компаний она даже не любила. И все ее ухажеры, друзья и первый муж были русскими. О том, что ее национальная принадлежность каким-то образом ставит ее в особое положение среди окружающих, она узнала однажды в пионерском лагере. Она была уже взрослой девочкой, перешедшей в девятый класс, и очень нравилась начитанным мальчикам: тоненькая, длинноногая, похожая на олененка, какими их рисуют в мультипликационных фильмах лирического свойства. Особенно увивался вокруг нее паренек из первого отряда, судя по всему сын приличных, обеспеченных родителей, однако вовсе не маменькин сынок, наоборот, бретер, задира, спортсмен. Нет сомнений, что в пионерлагере под Бояркой его настигла первая любовь. Та самая, что в старых русских романах заставляла героя в дедовской старосветской усадьбе с вязами, тропинками в хлебном поле и эгегическими прудами. Классическая любовь гимназиста. С записками, многозначительными взглядами, попытками уединиться (почти всегда безуспешными) где-нибудь в парке, с роковым подпиранием столба на танцплощадке в момент, когда избранница сердца танцует с другим. И к тому же с чисто современными способами обратить на себя внимание возлюбленной - то есть, с попытками отлупить кого-нибудь у нее на глазах, надерзить старшему пионервожатому, забить во время матча с соседним лагерем особо эффектный гол...

Сколько помнилось, Римма не осталась равнодушной к знакам внимания и преданности, проявляемым в такой причудливой форме. Хотя, как показала ее последующая женская судьба, углубленная сосредоточенность, естественная отстраненность от всяческих молодецки забав оказывались для нее порой притягательнее любой лихости. Однако и перед лихостью, чему свидетельство то незабвенное лето, нелегко было устоять.

Началось то, что в пионерлагерях тех лет называлось "дружбой". Иными словами, что-то вроде любви до любви, со всем ее очарованием, исключая пересечения роковой черты, к которой, учитывая тогдашнее время, темпы и возможности, молодые люди неотвратимо приблизились бы месяцев через восемь. Во всяком случае, оба они ее закономерность предчувствовали и пребывали от этого в состоянии счастливого возбуждения, романтической эйфории, которая, очевидно, не была тайной для окружающих. Наверное, кто-то из них посмеивался, кто-то недоумевал, кто-то завидовал и злился. В день закрытия лагеря, когда после ужина на поляне за озером разжигали костер и кроме надоевших официальных песен разрешалось петь геологические, туристские, Визбора и даже Окуджаву, Римма ждала своего мальчика на берегу озера, чтобы вместе идти к костру. Его высоко взлетающие искры и треск разгорающихся веток обостряли чувства, воспринимались обещанием счастья.

Мальчик появился не один, а в компании горлающих, ржущих приятелей. Римма уже догадывалась, что таким способом выражается их мужская самостоятельность. Мальчик ее заметил, он прекрасно знал, что она его ждет, однако, как ни в чем не бывало прошел мимо.

Римма его окликнула. Он продолжал шагать, сделав вид, что не расслышал. Она крикнула еще раз:

- Сережа, я здесь!

Компания остановилась. Все обернулись, кроме того, кого она звала. В густеющей синеве она все же различала их насмешливые, подначивающие лица. И по сережиной спине понимала, что его раздражают противоречия между верностью товарищам и привязанностью к ней. Товарищи вновь заржали. Тогда Сережа в досаде махнул рукой и побежал к ней. Щеки его пылали, как всегда, когда он к ней приближался или собирался взять ее за руку. На этот раз он не добежал до Риммы нескольких шагов, остановился, словно повинуюсь свистку арбитра, и выкрикнул громко и отрывисто, будто срочное донесение:

- Ты, ты... жидовка!

И опрометью понесся к приятелям.

Самое интересное, что тот, от кого она ждала теперь звонка, в те самые годы, быть может, в то самое лето отдыхал именно в том лагере, в котором так своеобразно завершилась ее первая любовь.

И ее благое неведение относительно своего особого положения на земле.

Впрочем, обострению в ней национальных чувств это жестокое осознание не способствовало. К ним у нее вообще был стойкий иммунитет, быть может, безотчетно подpiraемый самоощущением красивой девушки, которая безошибочно улавливает, какое впечатление производит на окружающих и потому знает себе цену.

Вот и в Ривердейле, чистеньком, корректном анклаве на краю жутного, трущобного, многосемейного, хулиганского, кокаинового Южного Бронкса, она поселилась вовсе не оттого, что здесь было много добропорядочных еврейских семей, которые по субботам вместе с разряженными детишками чинно шествовали в богатую здешнюю синагогу. Кстати, и за квартиру в здешних местах она платила в два раза дороже, чем взяли бы с нее где-нибудь в Бруклине. Зато муниципальная бесплатная школа, куда приняли шестилетнюю Соньку, отличалась строгостью и благопристойностью нравов в отличие от бруклинских школ, напоминающих макареновские колонии для беспризорных. А главное - ей хотелось завести, наконец, собственный дом, который как бы подвел итог ее многолетним скитаниям сначала по Союзу, а потом по Америке. С кратким добавлением в виде нелепого, нищего пребывания в Австрии и Италии.

Когда-то, кажется за несколько дней до отъезда из Союза, Римма проходила с приятельницей по Садовой мимо запущенного особняка с тусклой казенной табличкой у дверей. "Дом туриста" - прочла она и вздохнула, - вот он, оказывается, где, мой дом, я ведь и есть турист. Кочую с места на место, везде живу понемногу.

И стала вспоминать Киев, Харьков, Донецк, Ленинград, где училась в театральном институте, Киров и Челябинск - куда ездила

ставить спектакли. Теперь она почти совсем забыла о том, что была когда-то любимой ученицей знаменитого мастера, звездой курса, молодым подающим надежды режиссером, о котором упомянули в своих отчетах столичные критики. Одна шестидесятница традиционного душевного направления и один подающий надежды концептуалист. Нынешние ее коллеги по благотворительной организации, занимающейся жизнеустройством и профессиональной переподготовкой новых американцев, должно быть, и уразуметь не смогли бы, кем она была, вернее, собиралась стать в далекой, совершенно непонятной и мало интересной им стране. В тех городах, о которых она уже почти ничего не помнила, кроме названий: Вологда, Павлоград, Магнитогорск... Американские города, по которым носила ее кочевая эмигрантская судьба, запомнились лучше б - снобистский, респектабельный Бостон, Майами, похожий на глянцевою рекламу авиакомпаний в "Тайме" или "Ньюс-вике", канадский Торонто, который за его ухоженную, благополучную, одноэтажную, патриархальную провинциальность хотелось назвать Хутор-онто.

... Звонка не было по-прежнему. Телефон молчал, чего в прежней ее жизни невозможно было даже вообразить. На День Благодарения, "Фенксгивинг", который в этот год предшествовал выходным, так что уик-энд разрастался до половины недели, позвонили соседи. Единственная семья, с которой она сошлась в Ривердейле на почве родительских забот. У соседей, едва разменявших тридцатник, выражаясь по-русски, было уже трое детей. Как, впрочем, и должно быть в процветающей американской семье, каковую они собой и представляли. Хотя жена, со странным для русского уха именем Нога, была явно старше мужа, которого вполне по-американски звали Стивом. Нога приехала в Нью-Йорк из Израиля и в небольшой, но солидной и, как говорится, подающей надежды фирме Стива, работала секретаршей. Теперь она делилась с Риммой опытом, как завлекать и опутывать богатых деловых американцев. По ее мнению, это было не так уж сложно, учитывая их простодушие и несомненную предрасположенность к семейной жизни. Лучшим объектом для умных женских притязаний Нога считала молодых боссов, хозяев и начальников. И, сочувствуя Римме от души, похоже, сомневалась в том, что та сможет плодотворно воспользоваться ее уроками. Римма была для нее носителем загадочной русской души, романтической и притягательной, но, как бы сказать, мало приспособленной к практической и рациональной американской жизни. Что же касается римминого напряженного ожидания звонка из той страны, в которой Нога родилась и провела юность, то оно казалось ей опять же чересчур романтической и мало оправданной экзальтацией. Римма это понимала. Сознавала, что в ногиных глазах выглядит блаженной, если не просто дурочкой. И очень ценила доброту этого семейства, всегда готового ей помочь, - то Соньку взять на вечер в том редком случае, если предстоял какой-либо редкий выход в свет, то починить машину. Стив, даром что процветающий бизнесмен, был, подобно

многим американцам, мастер на все руки. Словом, золотой мужик; Нога не просчиталась. Они даже машину позволяли ей ставить возле двери своего гаража, к немалому удивлению "суперинтенданта", то есть управдома, который бдительно следил за порядком парковки. По большим еврейским праздникам - на Ханукку или Суккот, - соседи зазывали Римму к родителям Стива, людям очень религиозным и очень богатым. Это было большое доверие, но Римма с благодарностью отказывалась. По причине все того же отсутствия ярко выраженных национальных чувств. Не укрепляясь в стычках с антисемитизмом, они практически сходили на "нет". А на позитивном материале еврейских праздников, магазинов, общественных организаций отнюдь не расцветали. Иными словами, американцы, называющие всех без исключения новейших эмигрантов из России русскими, в данном случае были не далеки от истины.

И все же однажды Римма раздобыла в ближайшем супермаркете еврейские свечи и после девяти, уложив Соньку, почитав ей на сон грядущий стихи Эдика Успенского, купленные на Пятой авеню в русском магазине Камкина, уединилась в пустой комнате. Она сама не понимала, что собирается делать. Точнее, не имела понятия, как это все назвать - ведовством, волхованием, молитвой, сеансом экстрасенсорной связи или черной магии. Горели ритуальные свечи Шаббата, но горела и толстая, как пушечный ствол, вылепленная, как было сказано на этикетке, в лучших христианских традициях Новой Англии. Субботние огоньки и праздничное новоаглицкое пламя отражались в стекле окна, похожего как и все почти американские окна, на вагонное или автомобильное. Сладковатый аромат иудейско-христианских праздников щекотал ноздри. Свое собственное отражение Римма, по женской неистребимой привычке смотреться в зеркало, тоже время от времени улавливала в стекле. И тогда ей казалось, что она снова едет, как ездила всю жизнь, в плацкартных вагонах, в купейных, а иногда и в СВ вот таким же русским ненастным вечером, переходящим в русскую дорожную ночь с каплями дождя, усеявшими стекло, с перекличками тепловозов, с запыленными крикливыми командами, подаваемыми на станциях с помощью радиотрансляции. Туда, куда стремилась она теперь в купе своей ривердейлской квартиры, доехать на поезде было невозможно. Туда можно было лишь долететь, но ей все-таки казалось, что она едет, как в молодости, прошедшей на ином, бесконечном, заснеженном, продутом всеми ветрами евразийском материке.

Вообще-то все это вызывание духов, попытка долететь мыслью и чувством через океаны и континенты вполне можно было счесть типичной бабьей блажью. Ведь пробиться сквозь трансконтинентальные расстояния можно было с помощью автоматической телефонной связи, стоило только не выходя из превращенной в кумирню комнаты набрать, нажимая на кнопки-клавиши, заветный код. Даже услуг приветливых американских телефонисток не требовалось. Несколько раз Римма уже принималась нажимать на кнопки, однако в последний момент останавливалась. Та м

должны были догадаться о ее терзаниях, томлении и тоске и позвонить первыми. Улучив для этого удобный момент, ибо вот так вот запросто звонить в Нью-Йорк отсюда не могли по самой заурядной причине боязни семейного скандала. Надо же было связаться первый раз в жизни с женатым мужиком! - сама на себя злилась Римма, совершенно искренне не принимая во внимание свои мимолетные связи, когда матримониальное состояние любовника ее нимало не занимало. Зато теперь мысль о том, что за океаном и за морем, где-то там в библейском городе, неподдалку от святых всех на свете религий существует законная красивая жена, сводила ее с ума. В принципе к женам ревновать не принято вроде бы, однако, ужасно ревновала. Как он может с нею спать, - возмущалась она совсем по-девчачьи, рассказывая Ноге о своих страданиях; Нога сочувствовала, но улыбалась с тайной насмешливостью. Римма и сама улыбнулась бы не менее лукаво, если бы кто-нибудь с российской откровенностью принялся бы ей рассказывать о своей страсти. Впрочем, тут, в Америке, и не рассказывают. Тут с такими проблемами прутся к психиатру. Она и сама иной раз была на грани того, чтобы к нему пойти. К психоаналитику, ученому последователю Фрейда и Юнга, умному лысому еврею, а может быть к хрупкому, как статуэтка, японцу или тайландцу, теракотовому азиату. Что-то ее все удерживало. Русская щепетильность скорее всего, неохота жаловаться на любовь, как на болезнь. Хотя она и есть болезнь, скорее всего. Особенно такая, заставляющая белый свет, заставляющая забыть обо всем, о чудесном "индейском лете", которое в России называют "бабьим", о медно-золотых буковых лесах за Гудзоном, вдоль которого она ездila на своей голубой "тойоте" каждое утро, и даже о Соньке. Отвезя ее в половине восьмого в школу, Римма как-то сразу теряла ее из виду и вдруг, вспомнив о ней среди дня, словно взглядом на нее наткнувшись, или, различив внезапно ее неустанную, веселую болтовню, испытывала жесточайшие угрызения совести. И представлялось, что и там о ней забыли так же резко и внезапно по русской жестокой пословице: с глаз долой - из сердца вон. В последнее время она все чаще убеждалась в поразительной меткости русских пословиц. Должно быть в этом сказывалась ее бессознательная тоска по Родине, а также боязнь забыть язык. Среди эмигрантов попадались такие, которые к этому даже и стремились, воображая, что иначе не сделаются настоящими американцами. Римма боялась остаться без языка с такою же метафизической нелогичностью, с какою в детстве страшилась сойти с ума. Ее пугало, что, начав думать по-английски, она утратит в себе нечто тайное, главное, невыразимое, что и составляет ее суть. Кем же она станет, лишившись этого своего существа? Какой-нибудь Дорой Аркадьевой с Брайтон-Бича, которая кричит своему отпрыску:

- Боря! Если мама сказала "ноу", значит "ноу"!

Сонька, за которой Римма заезжала вечером в некое подобие детского сада, где она отбывала свою продленку "сколаршип", бросалась к матери с радостным воплем и захлебывающимся английским монологом.

- Соня! По-русски! - неизменно одергивала ее Римма. Может быть, безотчетно завидуя естественному и безупречному сонькино-

му английскому. Точнее, американскому. Дома они разговаривали, естественно, только по-русски. Потому Сонька воспринимала этот язык не вполне серьезно, как домашний жаргон, годный для ласк, шуток, подначек, мелких перебранок, для общения между очень близкими людьми, похожего на маленький заговор. А когда ссорилась с матерью всерьез, то возражения и прочие принципиальные заявления делала по-английски. Очевидно, прозорливо догадываясь, что для защиты прав личности английский исторически приспособлен лучше. Звонок, как всегда, прозвенел неожиданно, в четверть восьмого, еще секундой позже - и Римма с Сонькой уже спустились бы к машине. На счастье Сонька замешкалась, не хотела подымать "худ" - капюшон курточки.

Итак, телефон зазвонил; Римма, вытолкнувшая Соньку за обитую сукном лестницу, в досаде вернулась на кухню. А когда поняла, что звонят вовсе не из той страны, о которой она в последнее время думала, не смогла скрыть досады. Впрочем, сама же этого устыдилась.

Звонил из Москвы Коля Баркалов, старый и добрый друг, которому она года полтора назад послала с оказией гостевое приглашение, оплаченное пошпиной и заверенное, честь по чести, в полиции. В те дни Римма разводилась со вторым мужем, Сонькиным отцом, делила имущество, с помощью адвоката отстаивала свои права, - у мужа мелькнула нешуточная идея лишить ее материнских прав, отобрать у нее Соньку. Измотанная своєю борьбой, скандалами, руганью деловыми открытостями с адвокатом, она, как никогда, нуждалась в сочувствии и душевном тепле. Причем, не в американском, приветливо-холодном, как у "лоэра" - адвоката, готового на всякую твою блажь отыскать подходящую закорючку в законе, а в российском, ни с какими законами не соотносимом, болтливом, исповедальном, ни к чему не обязывающим, но облегчающим душу. Коля для этого замечательно подходил. Как раз тогда пришло от него письмо, присланное опять же с оказией, с каким-то советским профессором, которых много появилось в американских университетах; коллины письма очень Римме нравились - и она о нем вспомнила. Она вспомнила, какой он был умный, тонкий, добрый и с какой нежностью к ней относился. Хотя выяснилось это не сразу. Сначала у них была просто ни к чему не обязывающая связь, заурядный южный роман. Это потом оказалось, что для Коли он предстал роковым событием его жизни, встречей с единственной незабываемой женщиной... А начиналось, как обычно, на коктейльской вечерней набережной, на пяточке возле столовой Дома творчества, где молодые художники продают акварели, стилизованные под Волошина и Богаевского, барды поют мнимо белогвардейские, якобы эмигрантские романсы и завязываются скоротечные южные знакомства, и составляются случайные компании... Римма приехала в Коктебель с первым мужем, отношения с которым уже дали непоправимую трещину. Муж тотчас загулял с приятелями, такими

же, как он сам, молодыми художниками, сыновьями старых богатых художников, лауреатов, орденосцев, академиков, владельцев роскошных неоглядных мастерских. Плейбои, автомобилисты, они нарыли в тихой бухте каких-то питерских балерин, загуляли с ними, завертелись, раскатывая с ними во всему Восточному побережью, не стесняясь присутствия жен, оставленных в садиках, снятых на лето лучших коктейльских домов. Объединенные общей судьбой и общей оскорбленностью, о которой не принято было говорить, жены сбивались в кучу. Внешне вполне респектабельные, ухоженные, обтянутые фирменными джинсами молодые женщины, а внутренне трясимые взаимной подозрительностью и неприязнью. Римме было нестерпимо чувствовать себя одной из этих верных Пенелоп с их коровье-постными, обиженно-спесивыми физиономиями. Жен так и подмывало наставить рога своим подонкам-мужьям, однако, на это у них не хватало ни дерзости, ни кокетства. Потому-то при всех своих статях они почти не притягивали внимания немалочисленных искаателей приключений. Эти тоже были неприятны Римме, они походили на светскую шпану, окружавшую ее денежного, добродушного мужа: напиться, нажраться на халяву - таковы были цель и смысл их жизни. Колю на набережной Римма выделила из всей этой публики, как раз благодаря его несомненной порядочности. Падкая в молодости, подобно многим ее ровесницам, на обаятельное подонство, к натуррам застенчивым, глубоким, духовным она тоже порой питала слабость. Тем более, что несомненная колина положительность была естественна, будто отвращение к неметенному полу и грязной посуде, и сочеталась в нем с юмором и теплом.

Римма приходила к нему темными крымскими вечерами без предупреждения, неизменно путаясь в закоулках между старыми татарскими домами, в калитках, в пристройках и сараюшках, сдаваемых отдыхающим. Ее приход оказывался для Коли неожиданностью, смятением, чем-то противоречащим его представлениям о своей судьбе, все это прорывалось такою благодарностью и нежностью, от которой у Риммы захватывало дух. Она не догадывалась, просто не знала, что мужчины бывают так нервны, нежны, трогательны.

Похоже, что и Коля этому удивлялся. Год назад он потерпел в том же Коктебеле любовную катастрофу - и вот теперь Римма, как говорится, возвращала его к жизни. Коля и радовался этому и не мог поверить, старая любовь все еще не отпускала его - Римму он иногда называл Ирой. Полагалось бы обидеться, но Римма не обижалась. Она сама выходила из позорно-покорного состояния жены, обреченной на прозябающую верность. Недаром творческие жены на набережной, наблюдающие от скуки за развитием курортных романов, замечали ей со значением:

- А вы, Риммочка, очень похорошели.

В ответ Римма улыбалась победительно и чуть высокомерно. Совсем не так, как услышав от Коли смущенное простодушное признание:

- Я от тебя не могу оторваться. Что-то небывалое. Я тебя все время хочу.

Тогда мудрая, всепонимающая улыбка тронула ее губы:

- Это потому, что я тебя чувствую.

Именно в этот момент она решила открыть Коле свое намерение круто изменить судьбу. Замысел этот созрел у нее давно, однако, признавалась в нем она только очень близким людям. Чаще всего тем, кто сам вынашивал подобные идеи. Отнюдь не только евреи встречались среди них. Были у нее подруги-художницы, румяные блондинки в кустодиевском вкусе, которые нечто вроде герцено-огаревской торжественной клятвы дали друг другу всеми правдами и неправдами, хоть вплавь, хоть ползком покинуть пределы ненавистой страны. Вот как раз ненависти у Риммы и не было. А что же было? Бог его знает. Какой-то рок, общее поветрие, смутная боязнь отстать от поезда, затеряться в застое неподвижной тогда русской жизни, завязнуть, пропасть, ничего не увидеть, не состояться... Другое дело, что пускаться в такой путь в одиночестве она боялась. Умные люди предупреждали: за границей русской бабе, будь она хоть еврейка, хоть татарка, выйти замуж очень трудно. Это в России фирмачи, профессора знаменитых университетов и даже дипломаты шалеют от русских женщин, закрутившись в вихре премьер, капустников, пьянок, ночных сборищ у художников, в подвалах и на чердаках, бесконечных хождений в гости, из одних в другие, а потом еще - в третьи, в сутолоке нелепой, безалаберной, обольстительной жизни. Вероятно, на этом экзотическом фоне впечатлительному иностранцу каждая смазливая девица представляется Грушенькой или Наташей Ростовоной. Натурой широкой, страстной, расточительной, чрезмерной. У Риммы в Москве была приятельница, якобы искусствовед, собирательница фарфора, хрустали, бронзы, а заодно и мехов, и шерсти, и шелка, и синтетика, короче - самая заурядная спекулянтка, акула, выжига, готовая нажиться на самых близких людях. А ее любовник-француз умилялся: Маша, она такая добрая!

Так вот за границей, лишившись экзотического фона абсурдной советской действительности, русские красавицы, будь они хоть еврейки, хоть татарки, неизменно теряли в глазах иностранных мужчин имидж исключительности. Становились обычными эмигрантками, иммигрантками, беженками, перемещенными лицами с кое-какими привлекательными сексуальными качествами, которыми можно воспользоваться без осложняющих жизнь намерений, а можно и пренебречь.

Все это Римма сознала и без осмотрительных предупреждений. Но ведь в отличие от заносчивых подруг она и не мечтала о фирменном муже. Идея родного и кожей, и языком, и мыслями близкого человека была для нее неопровержима, как в юности. Хотя что за идея, просто жить она хотела с тем, с кем хотела спать. А спать она чаще всего хотела с теми, кто, иногда самого не зная, действовал на нее своими словами, шутками, исповедями, красноречием, бредом, бормотанием стихов, жалобами на судьбу и обличениями мирового несовершенства. В те дни Коля владел, не

придавая этому значения, всем этим арсеналом. Недавняя обманутая его любовь придавала его речам горькую точность, стихов он с молодости помнил наизусть великое множество. Шутки же его, не отличаясь блеском и колкостью, обнаруживали игру внимания и воображения. К тому же в долиной нежности, при всей ее неустанности, сквозила какая-то ненадежная уклончивость, а это как раз то, что притягивает женщин вопреки всякой логике. Логика, видимо, такая, что не дается в руки, то и всего милее.

- Давай поедem вместе, - робко предложила Римма. Этим своим приглашением она прервала молчание, которым Коля ответил на раскрытую тайну ее жизни. Тайна была не ахти какая оригинальная, но для нее от этого не становилась менее роковой. Не только из опасений административных последствий скрывала она ее, но также из боязни слезить, из страха перед переменной участи...

- Давай поедem, - повторила она.

Они были совершенно одни в так называемой "тихой" бухте. Ступали босыми ногами по упругому песку, на который набегала неправдоподобно светлая волна. Более светлая, чем густеющие с каждым их шагом лиловые сумерки. Таких сумерек Римма не встречала потом нигде: ни во Флориде, ни на Багамских островах.

Коля по-прежнему молчал. Не то подавленно, не то удивленно. Звать его в Америку в третий раз было глупо, тем более, что это приглашение было в то же самое время предложением руки и сердца, а значит, и объяснением в любви.

- Не знаю, на кого я похож, - вымолвил наконец Коля, - может быть на еврея, может быть на армянина. Средний европейский тип, в Париже на улицах у меня все время спрашивали дорогу, а поляки полонезовали, что моя бабушка была полька. Но я абсолютно русский человек. Может быть, даже чрезмерно русский, если иметь в виду вечные сомнения и разлад с самим собой. Наверное, это очень плохо, но я не смогу жить нигде, кроме России. И это я понял в Париже, который очень люблю. Ты знаешь, когда я с Пушкинской переехал на окраину, то страдал года четыре. И каждый день готов был пешком переться в свою жуткую коммуналку.

- Но ты ведь очень способный к языкам, - ни в склад ни в лад возразила Римма, за что потом долго себя корила.

- Но ведь ни на одном языке я никогда не пойму, умный передо мной человек или глупый, хороший или плохой!

Коля не то гордился этим, не то сокрушался по этому поводу. Потом остановился и придержал Римму:

- А здесь мне бывает достаточно междометия!

Было заметно, что этот аргумент только что пришел ему в голову, хотя в спорах на данную искушающе бесплодную тему Коля участвовал нередко.

Дальше они шли молча. Набегающая волна, совсем как в песне Монтана, смывала на песке их следы. Правда, не с одного раза. А с двух или с трех.

Это был их первый и последний разговор об ее предстоящем отъезде. Больше она их не заводила, а колины попытки завести рсцитительно

пресекала. Намеки же, самые туманные, особенно в присутствии посторонних, приводили ее в неистовство. Тем не менее, быть может, именно в силу безысходности, бесперспективности, любовных в последние считанные дни догорала с какою-то неистовой обреченной силой. Они буквально не могли отлипнуть друг от друга. И даже в поезде без стеснения весь день вместе пролежали на верхней полке.

В Москве, однако, безбудущность, так сказать, историческая ограниченность этого романа взяла верх. Тем более, что все без исключения риммины планы, вплоть до самых бытовых, житейских, были сориентированы на другую жизнь. Любая мелочная покупка в галантерее фигурировала в качестве детали так или иначе соотносимой с предстоящим путешествием, со шмопом в таможене, с возможностью обмена на рынке в Остии, с качеством аналогичных американских товаров... Похоже, что и на людей, особенно на мужчин, Римма волей-неволей привыкала смотреть с точки зрения вероятной их пригодности для отъезда. Коля в этом смысле ценности не представлял. Так, по крайней мере, ей казалось в течение целого года, наверно, самого мучительного в ее жизни. Потому что ничего нет хуже того, когда не живешь, а доживаешь. Когда прощаешься со всем, что составляло ткань твоей жизни иногда праздничную, чаще обыденную до заурядности и обиды, но для тебя все равно уникальную и дорогую, - с профессией, юностью, надеждами, с прогулками по улицам. С каким-нибудь любимым деревом, каждый день попадавшимися тебе на пути, короче - со всем, за что заплачено, если уж не слезами и не бессонницей, то, по крайней мере, мгновением воодушевления, причиной которому шестел и кипение листы. В этот страшный год Римма успела поставить последний в своей жизни спектакль в Полтавском театре юного глядача, то есть зрителя.

А в самые последние месяцы перед отъездом, когда она еще не знала, считать ли ей себя от казницей или нет, но распродала уже все, что возможно и, расставшись со всеми, на кого рассчитывала, сидела без денег, вновь возник Коля. Водил обедать в рестораны, совал ей деньги в карман старомодного пальто, которое ей отказала дама, купившая у Риммы по дешевке роскошную болгарскую дубленку. Римма его поцеловала. Не как прежде, а с благодарностью. После поцелуя Коля совал еще одну купюру и вновь подставлял щеку.

- Покупасшь? - ухмылялась Римма.

- Это ты продасшь, - отвечал Коля.

И смотрел на нее так, как никогда не смотрел в Крыму, вероятно, эта новая грядущая потеря, окончательно подавила в нем последствия былой любовной катастрофы. Однако к скорому расставанию относился мужественно, вероятно, смирившись с его исторической неизбежностью и рассматривая его отчасти как повторение российской истории.

Так что вполне понятно, почему в переломный момент жизни Римма вновь вспомнила об этом человеке. Кто помог однажды нам,

тот и потом приходит на ум в схожих обстоятельствах. Хотя, конечно, расставание со вторым мужем Римма никак не могла приравнять к разлуке с Родиной. Год назад она вспомнила о Коле без всякого простодушно-хитроумного женского расчета, а из нормального человеческого желания прислониться к чему-то понятному и близкому. Послала ему приглашение, позвонила. При всем незабытом знании советского быта она рассчитывала, что появиться в Америке Коля сможет месяца через полтора. А он откликнулся только через год, не догадываясь, конечно, что пока он выправлял документы, маялся в безнадежных, скандальных очередях, у нее напрочь изменились не только бытовые, но и душевные обстоятельства. Настолько изменились, что вся ее несознанная ностальгия по былым привязанностям представлялась ей теперь не то минутной слабостью, не то блажью. Должно быть, там, в Москве, прижав к уху трубку допотопного по американским стандартам рижского телефона, Коля о чем-то догадался. Точнее, через несколько десятков тысяч километров уловил в ее тоне какое-то разочарование. Или равнодушие. Все-таки он не забыл ее за одиннадцать лет. Как и она его, как выяснилось впоследствии.

- Скажи мне честно, - попросил он, - может ты передумала... Или тебе теперь неудобно по каким-то соображениям.

- Да нет, все остается в силе, - ответила Римма без всякого энгуизама, хотя и стараясь добавить своего голосу недостающего тепла. В Москве был вечер, и в коллином голосе слышалась именно вечерняя тональность, объяснимая известными российскими обычновениями, в Нью-Йорке же только-только рассвело, а по утрам у Риммы, как у всех психостеников, было дурное настроение.

- Я тебя не стесню, - как бы в шутку, но на самом деле всерьез заверил Коля. - Приткнусь где-нибудь на кухне... Ты же помнишь, притязания мои минимальны...

- Да хоть бы и велики, - возразила Римма, - у меня большая квартира.

В своем тоне она сама уловила шуповатую советскую гордость, впрочем, может, и эмигрантскую, неизжитую за одиннадцать американских лет. Хотя квартира и впрямь была хороша по московским понятиям, пятикомнатная, если считать комнатой великолепное пространство в самой ее середине, служившее и кухней, и столовой, и холлом. Ну, а две туалетные комнаты с дунами вообще воспринимались роскошью, недоступной советскому пониманию. Хорош был и район, но объяснить это москвичу по телефону было бессмысленно. Зато нью-йоркские знакомые, услышав от Риммы, что она проживает в Ривердейле, с почтением приподнимали брови. Про себя, быть может, удивляясь: скромные римминь доходы соответствовали скорее Бруклину или Форестхиллу. Более близким людям она объясняла, что проигрывая в квартале, выигрывает в безопасности и тишине. А главное - получает возможность не тратиться на частную школу для Соньки: в Ривердейле и бесплатная муниципальная

отличалась благими нравами (дети обеспеченных родителей в отличие от детей крикливых, разномастных бруклинских, не были подвержены ни наркомании, ни хулиганской агрессивности).

В эти тонкости Римма, естественно, не стала посвящать старого друга, заверив только, что встретит его в аэропорту Кеннеди.

Однако не встретила, хотя примчалась в аэропорт по хайвею минут за сорок до предполагаемого прилета советского ИЛа. Самолет, как и следовало полагать, задерживался. До которого часа? Негритянка в справочном бюро называла неопределенное время и при этом совсем по-советски фыркала и злилась. Со времени подъема железного занавеса Римма стала замечать, что в пунктуальной Америке все, хотя бы косвенно, отдаленно связанное с ее бывшей Родиной, неотвратимо перенимало свойства российского разгильдяйства и необязательности. В русском ресторане обчитывали. Тетки в магазине советской книги Камкина ленились поднять задницу, чтобы достать с верхней полки требуемую книгу. Вот и эта чернавка всего лишь по обязанности сообщать о привычном опоздании советского самолета заразилась у своих никогда не виданных советских подруг из Шереметьево хамством и пренебрежительностью. Аэрофлотовский лайнер не прилетел и к ночи, и Римма, не в силах больше ждать, порулила домой. Надиктовала на автоответчик, именуемый в Америке "ансверинг машин" свой адрес, расплатилась с польской студенткой, которая весь вечер опекала Соньку, и завалилась спать.

Разбудил ее телефонный звонок. Коля звонил из автомата напротив ее окон возле тайландской зеленой лавки.

В белом махровом халате Римма спустилась в крохотный, английского типа, палисадник возле дверей своего дома. Коля, волоча чемоданы, перебегал дорогу, счастливо улыбался; небритый, с покрасневшими от бессонницы глазами, не красивый, но милый, как и прежде, почти не постаревший, растерянный и, как ни странно, как-то забыто по-английски элегантный посреди благополучной, субботней Джонсон-авеню.

Поставив надоевшие чемоданы, Коля бросился к ней с объятиями. Римма не уклонилась, но и сама навстречу не кинулась, что называется, дала себя обнять, сохранив чуть страдальческое равнодушное спокойствие. Почувствовав что-то, Коля смутился, посмотрел на Римму забытым влюбленным взглядом и пробормотал:

- Вот уж не верил, что снова увижу тебя когда-нибудь.

Римма понимала, что в ответ надо бы посмеяться над таким пессимизмом, однако не нашла в себе сил даже кисло-натянуто улыбнуться. Она была потрясающе искренним человеком. Как и Коля, кстати сказать.

- Сколько я могу прожить у тебя? - спросил он на следующее утро за завтраком.

- Сколько хочешь, столько и живи, - не задумываясь ответила Римма.

- Прокормишь? - несмело обрадовался Коля.

- Прокормлю, - заверила Римма, однако, заметила в колином взгляде нечто вроде сомнения.

- Тебе, наверное, мало, - догадалась она, сообразив, что поставила перед Буркаловым керамическую черную тарелку с одной-единственной сосиской посередине. - Прости, пожалуйста, я забыла, что в России за завтраком принято наесться.

- Ты заметь, - улыбнулся Коля, - что макарон с котлетами я у тебя не прошу.

- Можешь и попросить, только на обед. Не стесняйся, а то будешь рассказывать там у себя, что я тебя голодом морила. И что американцы вообще жадные.

- Я буду рассказывать, что ты была очень ко мне добра, - согласился Коля. - Добрее всех американцев.

- Особенно не преувеличивай, - предупредила Римма. - В ресторан я тебя, например, пригласить не смогу.

- Да я особо и не рассчитываю, - успокоил ее Коля. - Знаю я ваши американские рестораны...

- Американских ресторанов не существует, - просветила его Римма. - Только забегаловки и закусочные. А рестораны здесь бывают итальянские, французские, китайские, японские, мексиканские, греческие, еврейские и, само собою, русские, которые одновременно грузинские, армянские, узбекские и опять же еврейские...

- Отложим посещение их до Москвы, - решил Коля. - До Домжур, до Дома кино, до ВТО... Кстати, ВТО сгорел вместе с домом. В этом смысле беру свои слова обратно.

- Какая жалость! - вздохнула Римма. - Я ведь именно там познакомилась с Андриюшей!

- С каким? - насторожился Коля.

- С тем, который теперь у вас министр кинематографии. Или там это у вас теперь называется...

Она, конечно, знала, что причиняет ему боль, но делала это сознательно. Женщины, как известно, никогда не сознаются (это психологический феномен, засвидетельствованный юристами), но зато уж если на них находит стих, выступают с откровениями, о которых никто их и не просил. На нее именно этот стих и напал: ей безотчетно захотелось уколоть гостя за его нескрываяемо влюбленный взгляд, который и льстил ей, и раздражал ее; за дурацкую и не нужную ей верность, которую он неизвестно зачем ей сохранил, так и не полюбив всерьез другой женщины, и, наконец, просто за то, что именно он, милый, хороший, умный, тонкий Коля сидел тут в ее ривердейльской квартире, а не тот, чьего звонка она ждала все эти дни.

Римма принялась рассказывать о своем знакомстве с Андриюшей, который в те времена ходил как бы в оппозиционных, но одновременно и привечаемых талантах, был одновременно и актером, и режиссером, и сценаристом; до подробностей в отношении она не снисходила, однако, и падать чувства своего гостя не желала.

Наоборот, как-то особенно их уязвляла, гордясь наивно карьерой своего бывшего знакомого, будто своим женским достижением. Черт возьми, народный депутат, член парламентских комиссий, не то министр, не то выше министра...

Коля на эти ностальгические откровенности старался не реагировать, только краснел и бледнел страдальчески, явным усилием воли удерживаясь от ядовитых шпилек по адресу знаменитого кинодеятели, который представлял собой весьма удобную мишень, поскольку никогда в жизни не скрывал своего вдохновенного карьерного тщеславия. Наверное, не меньше хотелось ему одернуть иронической репликой Римму, но положение хлебника понуждало его к сдержанности. Он только шел пятнами подавленной ярости, предвидя, не без основания, какой пыткой грозит ему это заокеанское гостевание; не то, чтобы он рассчитывал простодушно на возврат былой нежности (ни в коем случае, для этого он был и впрямь слишком умен и тонок), он от самого себя не ожидал такого неуместного лирического наплыва.

Нельзя сказать, чтобы Римму он совсем не трогал. Вслед за триступом безжалостной откровенности накатывали угрызения совести, тем более, что, как бы поставив на место бывшего возлюбленного, она тут же испытывала к нему раскаянно теплые чувства.

- Ты все-таки родной мне человек, - признавалась она совершенно искренне, и Коля вновь краснел от нежности и морального удовлетворения. Как всякая стерва, в редкие ласковые минуты Римма бывала поразительно мила и прелестна.

Лучшим временем их странной совместной жизни было ранее утро. То есть, с постели Римма вставала раздраженной, мечта грома и молнии, варила кофе, шпыняла и торопила Соньку, мазала глаза, нетерпеливо разрывала принесенные почтальоном конверты со счетами безжалостных компаний, как выражались некогда советские газеты. Но за рулем своей голубой "тойоты королевы" Римма мало-помалу приходила в себя, хотя, по обыкновению всех на свете автомобилистов, бубнила под нос какие-то оскорбления по адресу то огняющих, а то задерживающих движение автомобилистов.

Сначала завозила Соньку в школу. Парковаться там было нельзя, за чем зорко следил "принципал", а по-русски завуч - сытый толстощекий еврей вполне одесского вида в превосходном двубортном костюме и в ярком, как у гангстера, галстуке. Звали его Джерри Ротштейн, что даже Коле было известно из многочисленных деловых писем, которые он чутьли не ежедневно присылал Римме, как и всем прочим родителям. Итак, останавливаться строго воспрещалось, но Римма все-таки притыкала "королеву" между двумя канареечно-желтыми "скул басами" и за руку волокла Соньку к школьным дверям, обгоняя не вполне проснувшихся, но аккуратно причесанных и весело одетых мальчиков и девочек всех возможных цветов кожи, рас, этносов, языков и народов. Джерри Ротштейн делал Римме неумолимый упрек, напоминающий китайское восемь тысяч

пятое серьезное предупреждение; она принималась просить прощения, клялась, что больше не будет, канючила, как девочка, не забывая при этом о чудесной улыбке; словом, - вела себя так, как всегда ведут себя знающие себе цену женщины в разговоре с постовым. Потом Римма возвращалась в машину, обзывая только что очарованного "принципала" идиотом и мудилой. Опять же, по обыкновению всех на свете красавиц, сумевших выторговать индulgенцию у гаишника или копа.

Римма лихо трогала с места, и после двух-трех крутых виражей, миновав туннель и мост, за проезд по которому надо было опустить в турникет долларовой жетон "токен" она выскакивала на хайвей, проложенный по берегу Хадсона, или Гудзона, как принято говорить и писать в русской транскрипции.

Гудзон, по признанию Коли, оказался совсем не тем, чего он ожидал: то есть не упорядоченной городской рекой европейского типа, скажем, Дуная или Сены, но мощным неоглядным потоком, напоминающим сибирские реки Обь или Енисей. Сходство довершалось пейзажем, который открывался взору на противоположном берегу. Там отливали золотом, медью и бронзой могучие леса, большей частью, должно быть, дубовые и буковые. А слева над хайвеем нависали небоскребы, иногда допотопные, являющие эстетический идеал, на который тайно ориентировались сталинские зодчие, иногда вовсе лишённые каких бы то ни было стилистических признаков, подобные поставленным на попа баракам; потом, по мере приближения к центру Манхэттена, все более фаггастические, похожие на ацтекские пирамиды из алюминия и голубого или сиреневого стекла.

То ли от волжского простора, которым дарил Гудзон, то ли от ощущения полета, неизбежно возникающего во время безостановочной стремительной езды по хайвею, Римму осеял своими крылами лирический ангел.

- Поговорим о приятном, - то ли предлагала, то ли просила она, вовсе не капризно.

- То есть, о тебе, - уточнял Коля. Ему самому эта просьба давала повод проявить и красноречие, и художественно цепкую память, и насмешливую наблюдательность, более внимательную к былому, нежели к мгновениям настоящего. Он принимался вспоминать, отводя свою уязвленную душу как бы демонстрацией эмоциональных картин, которые под сбоем житейской мути навсегда отложились в его сознании. Говорил о знойной пустынной дороге, ведущей в Тихую бухту, о скале Хамелеон, похожей на высунувшегося из воды динозавра, и еще о той краткой минуте перед полным наступлением темноты, когда волны кажутся светлее сиреневых сумерек, а сами эти сумерки вдруг пронзает Бог весть откуда взявшийся зеленый луч. Причем, появление этого луча каким-то загадочным образом вдохновляет, пробуждает желание жить, воспринимается как обещание счастья и перемен судьбы. Воссоздавая эти незабвенные картины,

Коля старался придерживаться объективности, поэтому, когда от красот природы он переходил к римминой красоте, это производило впечатление все той же почти научной достоверности, хотя память его хранила массу подробностей, свойственных именно личному восприятию. Он помнил, каким проясненным и нежным от загара становилось ее лицо, как трогательно совмещались в ней обидчивая гордыня и журчащий смех, будто бы уступающий шуткам и старанию развеселить, и как трепетал на ее шее сиреневый платок, когда вдвоем они сидели на теплом паранете совершенно пустой набережной и пили приторно-сладкое вино с высокопарным названием "Солнце в бокале".

- Скажи мне, Коленька, - спросила его Римма после одного из таких монологов. - А ты не собираешься здесь остаться?

- Ни в коем случае, - не задумываясь, чрезмерно быстро ответил Коля и понял, что этой испуганной быстротой реакции допустил оплошность. Или бестактность. Во всяком случае, известную неадекватность. Потом, в десятый и двадцатый раз отвечая совершенно разным людям на тот же самый вопрос, при той же определенности ответа, он научился облекать его в более обтекаемую дипломатичную форму, поскольку догадался - безапелляционный отказ стать эмигрантом оскорбляет спрашивающего, ставит под сомнение правомерность его собственного выбора. Может, чего доброго, он дал маху, всеми правдами и неправдами перебравшись за океан, после долгих мытарств и передрыг добившись кое-какого стабильного положения... Коля и в Римме, ничем его не урекнувшей, уловил подобную безотчетную мысль и потому пустился в объяснения.

- Понимаешь, - рассуждал он, не замечая уже ни небоскребов, ни красоты Гудзона с парусами яхт и мелюно-золотым рыжим "индейским летом" на противоположном берегу, ни автомобильной красочной рекламы с одной-единственной, вроде бы имеющей к нему отношение, фразой "Пэши из бэк" - "Страсть вернулась".

- Понимаешь, есть люди, для которых главное не недостаток, не благополучие, не эта вот замечательная машина, а самоопущение... Я не знаю, понятно ли я говорю... В каком бы материальном ничтожестве, по сравнению с тобой, я там ни жил, в каких бы очередях ни маялся, на какое бы хамство ни нарывался, я все равно ощущаю себя там уважаемым человеком... Даже элитой, если хочешь знать... Опять же, не в пошлом смысле привилегий, а потому, что я носитель российской духовности... Не смейся, пожалуйста! Ну, не всей, разумеется, какой-то малой ее части, но, правда, носитель! Хотя бы той, которая соединяет эту несчастную страну с европейской традицией, со всем миром! Что будет, если мы все уедем?!

Он замолчал, запугавшись в эмоциях и аргументах, и после паузы добавил:

- И вообще человек должен жить в своей стране.

- Вот это верно, - неожиданно просто и жестко согласилась Римма. И тут же, в подтверждение этого категорического тезиса,

углубилась в насущную для нее тему женского одиночества в Америке. По-прежнему не щадя Колиных чувств, а может воспринимая его как совсем уж своего человека, вроде подружки, она в который уж раз пустилась в рассуждения об американской неспособности к адюльтеру, к романтическому приключению, к легкой украшающей жизнь любовной охоте. Подрядить проститутку - это они могут, а обратить внимание на порядочную милую женщину, страдающую от одиночества - этого от них не дождешься.

- Может, это просто тебе так не везет? - мучительно краснея от подавляемой злости, спросил Коля.

Римма не обиделась. Или сделала вид, что не поняла грубости, хотя обычно обижалась на совершенно невинные реплики, единственным грехом которых могло считаться шутивное легкомыслие.

- Но почему же мне так везло в России? - пожалала она плечами. И начала рассказывать, как совсем юной девушкой, едва закончившей школу, ее на Крещатике скадрил сорокалетний москвич, направлявшийся в собственной машине на юг. Обычно москвичи едут в Крым через Харьков, но этот почему-то решил заглянуть в украинскую столицу. Вероятно, из чисто туристской любознательности, из почтенного желания посетить, отметить, свериться с бедкером, приобретенным в зарубежных краях. Он ведь был дипломатом, этот солидный товарищ ответственного вида; прикосновенностью к иным мирам он и заинтриговал Римму, сразу же распознавшую его начальственную занудливость и чисто номенклатурную боязнь быть замеченным в какой-либо предосудительной связи.

- Между прочим, знаешь кто он у вас теперь? Заместитель министра иностранных дел! - в риммином голосе вновь прозвучало женское тщеславие, питаемое карьерой давних любовников, будто собственными достижениями.

Коля переживал риммины воспоминания с юношеской оскорбленностью. Иной раз, дабы продемонстрировать свое к ним мнимое безразличие да и себя проявить не таким уж страдателем, а нормальным знающим себе цену мужиком, он и вам делал было попытку предаться рискованным мемуарам, кстати, вполне достоверным, однако, на полуслове осекался. То ли от того, что на Римму они не производили желаемого впечатления, то ли потому, что вне легкого хмельного куража, свойственного, скажем, мужской компании, самого же Колю угнетали какою-то методической пошлостью.

Римма припарковывала "тойоту" возле своей конторы на Беттери плейс и исчезала в мраморном подъезде небоскреба, напоминающего советский МИД на Смоленской площади. В эту минуту Коле приходила на ум ядовитая шутка о том, что он единственный из близких с нею мужчин не сделал никакой партийно-государственной карьеры; запоздалая колкость, называемая французами "остроумием на лестнице" была ему в высшей степени свойственна.

Оставшись один, Коля пускался в пешие странствия по Нью-Йорку. Точнее, разумеется, по Манхэттену: покинуть его пределы на

своих двоих было невыносимо, а Коля предпочитал путешествовать пешком. Не только из соображений крайней своей бедности на американской территории, но и потому, что по природе своей был пешеходом. Это было его единственное призвание, шутил он, не впадая в преувеличения. Единственное осуществившееся его намерение: в молодости он исходил с приятелями всю Москву, и вот теперь, после восемнадцати лет негласного запрета покидать отечество, выпало пошататься по Нью-Йорку. Он и шатался без видимой цели и без осознанного направления, благо, заблудиться в этом бестолковом, бесстильном, безразличном, но чрезвычайно логично распланированном городе было практически невозможно.

Коля исходил вдоль и поперек Манхэттена не один десяток километров - отдыхал на субтильной лавочке в чашом садике на Таймс Сквер, сидел среди студенческой братии на садовых скамейках в Сохо, заскакивал, проголодавшись, в забегаловки типа Макдональдсов, либо в дешевые мексиканские обжорки, где единственным ему известным и к тому же недорогим блюдом было "чили", нечто неуловимо напоминающее и плов, и суп-харчо, и вообще, молодые странствия по Средней Азии и Закавказью. Как это ни странно, Америка ему не понравилась. То есть, не то, чтобы не нравилась, а не нравилась, не очаровывала, не пленяла. Кайфа, как говорит молодежь, не ловил он на Бродвее, как бы протоптанном среди небоскребов, на скрещенных этих бюрократических, без затей пронумерованных, стритов и авеню. А, может, дело в том, что в Америку он никогда не стремился, даже в юности, в поздние пятидесятые, когда все они в компании были космополитами, коротко стриглись, самостоятельно сужали брюки, мечтали о недавно открытых джинсах, и, с особым шиком, не разжимая губ, курили иностранные - болгарские, либо албанские - сигареты, "Джебел" или "Диамант". В те годы он мечтал о Франции, и не нью-йоркские названия звучали для него волшебной музыкой: Манхэттен, Бруклин, Мэдисон-авеню, а парижские - Одеон, Монпарнас, Сольферино...

Впрочем, вполне вероятно, что на эти всемирные мостовые он попал не во время; не то, чтобы совсем поздно, поскольку еще в состоянии был пройти пешкодралом чуть ли не весь Манхэттен, но уже достаточно поздно, чтобы удивляться, восхищаться, опять же ловить кайф. Как говорили его любимые французы, в которых он успел разочароваться, но которых сумел заново и полюбить, Господь Бог посылает штаны тем, у кого нет задницы. К тому же в нью-йоркской сутолоке, в безалаберности и безвкусице толпы, в какой-то неутонченности, неизысканности, невзрачности быта ему постоянно мнилось нечто родимое российское, московское, что глубже и загадочнее благополучного торжества технологий и магазинного изобилия. Какое-то разгильдяйство, эстетическая глухота и даже, пожалуй, хамство, хоть и не агрессивное, добродушное, но то, ностальгии по которому за границей не испытываешь.

Иногда он звонил по телефону кому-либо из бывших московских приятелей и друзей. Ему радовались, но не слишком, Коля понимал, что года три назад, в период прорыва кэзэбэшной блокады, реакция была бы совсем другой, тогда встречались люди, привыкшие к беспощадной мысли, что не увидят друг друга уже никогда в жизни. Теперь же сенсационность визитов из-за океана мало-помалу сошла на нет. Более того, многие родственники и друзья, к отсутствию которых в своей жизни новые американцы успели уже привыкнуть, непрерывными визитами заставляли их вздыхать о незыблемости былого железного занавеса.

- Когда же Горбачев опять его опустит! - в сердцах посетовал один знаменитый эмигрант - и шутка его в мгновение ока сделалась обиде ступной и разлетелась по обеим сторонам океана.

Вечером, промявшись минут сорок в душном, вонючем, каком-то нерегулярном и необязательном сабвее, к разнообразию рас и этнических типов которого невозможно было привыкнуть, Коля доезжал до станции "235-я улица". В этих местах поезд гремел уже по чугунной допотопной эстакаде, и с перрона открывался вид на Бродвей, похожий на декорацию к ковбойским фильмам. Отсюда до римминого дома было минут пятнадцать ходу, по местам, поразительно напоминающим московские окраины Строгино или Беляево с их подноэтажными универсами и химчистками между стандартных жилых корпусов, со спортивными площадками за провисшими железными сетками и одинокими старыми деревьями, оставшимися на месте былых роц. Правда, временами дорога шла по улице собственных особняков, не столько богатых, сколько ухоженных, с безвкусыными гипсовыми львами возле дверей, каких в Москве не встретишь.

Своих хозяек, Римму и Соньку, Коля заставлял за традиционным выяснением отношений. Как все свосравные женщины, Римма оказалась очень авторитарной матерью; к тому же безнадежное ожидание последних месяцев находило выход в бессмысленно жестоких выкриках и поступках. Сонька, как могла, защищалась на языке правосознания, по-английски.

Быть свидетелем чужого семейного скандала - всегда тягостно. На этот раз стыд усугублялся собственной обидой. Отстаивать свое уязвленное самолюбие на правах гостя и нахлебника Коля не решался, проявляя прямо-таки чудеса смирения. Но за незаслуженно оскорбленную Соньку внезапно вступился, нарушив мудрое и деликатное решение не вмешиваться в хозяйские дрязги.

- Ты знаешь, - с неожиданно жесткой определенностью сказал он Римме, - я люблю ее гораздо больше, чем тебя.

Недаром все же, в давние времена их романа, Римма в качестве безотказного неопровержимого аргумента во время ссор и выяснения отношений убежденно произносила: "Я женщина!"

Вот и на этот раз на жесткую колину реплику она среагировала чисто по-женски, даже по-бабьи, - безотчетно оценила душевность мужика, без

всякой надежды расписавшегося в отцовской нежности к совершенно чужому ребенку. А потому сбавила тон, помягчала, сделалась почти такой же милой, как в незапамятные дни на крымском берегу, когда, похоже, любила Колю, во всяком случае испытывала от него зависимость. Он подумал о том, что расхожее мужское мнение о том, что бабу время от времени надо ставить на место, как это ни прискорбно, вполне справедливо. Даже по отношению к такой независимой и умной женщине, как Римма.

Впрочем, риммина покающая теплота обернулась совсем неожиданной стороной.

В полупустой комнате рядом с римминой спальней Коля ночевал на поролоновом просторном матрасе, положенном прямо на пол.

- Я сама так в первый год спала, - несколько высокомерно оправдывалась Римма, застилая матрас очень красивым бельем непривычного для русского глаза нежно-серого цвета и верблюжьим замечательным одеялом с геральдической монограммой.

Нашлявшись за день по Манхэттену, Коля засыпал на тугом матрасе под теплым невесомым одеялом быстро, как дошкольник после детской передачи, однако, перед сном успевал поддаться мечте; то есть, представлял на мгновение, что дверь сейчас откроется и войдет Римма. Была у него такая, ни на чем не основанная самонадеянная уверенность. Естественно, что от вечера к вечеру она мало-помалу сходила на "нет". Хотя иногда оживала с новой силой и провоцировала его самого на решительные поступки. Коля понимал, что, в соответствии с нетленной мужской легендой, следовало бы без церемоний войти в риммину спальню, кстати, такую же пустую, как и его комната, если не считать роскошной кровати в почти королевском стиле, купленной Риммой в расчете на никак с ним не связанное женское счастье. Боязнь отказа и связанного с ним унижения, производящего к тому же идиотски-комическое впечатление, благоразумно удерживала Колю от необдуманных действий. Захочет, так сама придет - мысль его в момент посоловения возвращалась к исходной точке, к еще одной стародавней заповеди мужского поведения, сформулированной, правда, прямолинейнее и определенной.

И вдруг Римма позвала его. По свойству природы Коля тотчас засомневался в своей долгожданной удаче. Однако с сознательной дерзостью, как бы памятуя и напоминая о бывлой короткости отношений вошел в соседнюю комнату в одних трусах. Правда, красивых, гонконгских или тайваньских, купленных на распродаже в универмаге "Мейсис". Римма, как и следовало ожидать, фыркнула, оскорбленная таким беспардонным напоминанием о том, чего она, конечно же, не склонна была возобновить. Тем не менее, овладевшее ею намерение оказалось сильнее вздорной ее оскорбленности.

- Садись, - указала она Коле на край кровати. Кровать была такая просторная, что от полуголого Коли лежащую Римму отделяла вполне целомудренная дистанция.

- Садись, - как бы соглашаясь на пренебрежение условностями, повторила Римма, и тут же спросила доверительно, интимно, и вместе с тем с тою ощутимой товарищеской прямоотой, которая исключает даже намек на возможность превратного толкования:

- Скажи, ты бы мог, расставшись со мною, вот тогда, в Коктебеле, не позвонить мне потом в течение двух месяцев?

Коля внимательно посмотрел на Римму. Она, конечно, изменилась за эти десять лет. Не то, чтобы постарела - это слишком беспощадное слово. Повзрослела - это и точно, и деликатно. Неуловимо изменилась внутренне, стала жестче, прямолинейней, резче... Соблазнительно, конечно, списать все эти перемены на Америку, как будто в России люди не изменяются. В России не изменился разве что он один.

- Меня от тебя невозможно было оторвать, - вздохнул Коля. - То есть, в буквальном смысле. Руки отрывал с кровью.

- Вот и у меня сейчас такое же ощущение, - обрадовалась Римма его сравнению.

Коля с тоскою догадался, что его ждет еще одно признание в романе, лестном для самолюбия. И не ошибся. Римма принялась рассказывать о своей последней любви, постигшей ее прошедшей весной, то есть, как раз в это время, тоскливо прикинул Коля, когда он таскался на Фрунзенскую набережную отмечаться, выслушивал исповеди, жалобы и житейские прикидки московских и провинциальных евреев в очереди на нью-йоркский самолет. Внутри у него все онемело, он никак не мог привыкнуть к ее тщеславным любовным мемуарам. Однако на этот раз Римма рассказывала по-другому. Волнуясь, сбиваясь, страдая и радуясь одновременно, то есть порусскому обыкновению, облегчая душу. В этом, безошибочно вызывая Колино сочувствие, он всегда ценил в ней искренность, безоглядность и то, что за все свои страсти она всегда платит сама; между прочим, в отличие от других женщин, которые в любой передрыге ухитряются остаться при своих интересах. Похоже, что и на этот раз Римма мало что выиграла от своей великой любви, которая началась, как ей и подобает, совершенно неожиданно в пансионе на 96-й улице, где она снимала тогда комнату у бывшей рижанки. В соседней комнате поселился физик из Иерусалима, которого определили на постой к рижской даме их общие с Риммой друзья. Римма в те дни искала работу и потому часто встречалась с этими ребятами, в течение десяти лет мечущимися от одного грандиозного проекта к другому. Ни один из них не осуществился, однако, бесследно и не пропал, обучив этих парней безжалостному и отважному опыту американской жизни. Умению улыбаться, не расстраиваться, на вопрос налогового инспектора отвечать "ай эм о'кей", иметь приятеля, который знает негра или латиноса, по дешевке чинящего "тойоту"... Прильчке братья за любое перспективное дело, не заботясь о том, насколько оно сообразуется с твоим образованием, с твоей профессией и, уж тем более, с твоими представлениями о собственном предназначении на этой земле.

Физик из Иерусалима такими качествами не обладал, был больше похож на ученых из хороших советских картин ранних шестидесятых. Что было неудивительно, если учесть, что закончил он московский физтех, а родился в Киеве на Куреневке. На киевских воспоминаниях они с Риммой и сошлись. Полночи просидели, вспоминая Крутой спуск, Круглоуниверситетскую, Боярку, Пуцу Водицу.

Физик вдруг словно впервые посмотрел на Римму и сказал:

- У меня такое впечатление, что и в детстве, и в юности вы были где-то рядом. И в лагере, и в школе, и вообще - во всей той жизни...

Римма призналась, что после этих слов с нею что-то произошло. Она поняла, что просто так это не кончится.

Коля кивнул. Он знал, что Римма из тех женщин, на которых действуют слова. Он сам добился ее одной шутливой фразой, которая вовсе не была рассчитана на победу, то есть, бессознательно, быть может, ей и служила, - вроде бы конкретной, но одновременно и умозрительной, постоянно ускользающей цели, но воспринималась лишь одной из бесчисленных ступенек к ней. А оказалась роковой, покоряюще точной. Коля назвал тогда Римму "цветком варшавского гетто", а физик вспомнил ее в той своей жизни, в какой никогда ее не встречал. Быть может, даже не предвидя последствий таких неосторожных воспоминаний. Это уже потом, посреди тропического влажного нью-йоркского лета, посреди этой Бог весть откуда взявшейся, обвальной, типично русской, ничего кроме себя самой не замечающей любви; он захотел передышки, вдоха и вспомнил о своей, живущей в апельсиновых рощах семье, чем поверг Римму в совершенную растерянность. Она ведь в эти дни не помнила даже о том, что у нее есть шестилетняя дочь. Однажды вернувшись домой с работы - к этому времени она уже нашла работу, сняла квартиру и перевезла от мужа из Бостона Соньку - она обнаружила на обеденном столе письмо. Физик писал, что возвращается домой в Иерусалим, поскольку стажировка его кончилась. Уверял, что таких красивых и талантливых женщин не встречал никогда в жизни. И при этом ничем не обнадежил, не пообещал приехать снова, не позвал с собой.

- Разве так бывает? - недоуменно спрашивала Римма. - Как же мне теперь жить?

Ее ничуть не смущало, что с таким вопросом она обращается к Коле. Она не видела в этом никакой моральной неточности. Коля вначале готов был обидеться, потом сообразил, что в нравственном отношении Римма сейчас абсолютно невиняема. И вообще решил отнестись к ее вопросам, как к проявлению особого доверия.

- Так объясни мне, - настаивала Римма, - как все это понимать?

Конечно, положение глуповатое, сообразил Коля. Попробуй объяснить чужое поведение, ответить за чужие поступки. Да еще в такой сфере, в которой люди, как правило, изощренно уклоняются от ответа... В принципе отвечать за себя еще обременительнее. И все же выступать толкователем чужих отношений... Получалось как-то слишком красиво, будто в роستانовском "Сирано де Бержераке".

Призвав на память весь свой не столь уж богатый любовный опыт, Коля принялся рассуждать о странностях мужской психологии применительно к этой деликатной и увлекательной области. Вначале запинаясь, не находил точных слов, потом неожиданно вошел во вкус. Зрелый мужчина, представлялось ему, рассчитывает на адюльтер, на безответственное приятное приключение. Любовь вовсе не входит в его планы. Слишком большого напряжения требует она даже от закоренелого холостяка, не говоря уж о семейном господине.

Риммино лицо приняло отчаянное, протестующее выражение...

Любовь приходит неожиданно, само собою, - опередил Коля ее возражения. - Как бы в процессе отношений. Если, конечно, приходит. Римма вновь захотела ему возразить, наверняка прокричать что-нибудь о том, что в пришедшей к нему любви у нее нет сомнений, она же женщина, она это чувствует, Коля остановил ее движением руки.

Допустим, что незапланированная, незаконная, неожиданная любовь все-таки нахлынула. Конечно, большое счастье. Но и большое, как бы это сказать, осложнение жизни. Нарушение всех профессиональных планов, настоящий мужчина живет профессией, делом, не надо этого забывать. Но не только об этом речь... дают сбой все привычные внутренние ритмы. Не хватает воздуха. Происходит что-то подобное лихорадке. Поразительной, ни с чем не сравнимой по интенсивности чувств, по восприятию мира, каждой секунды, каждой капли дождя, каждого солнечного луча... Но все же болезни, испытания, потрясения. Не всякая душа выдерживает такое счастье. Этот упоительный безумный бег. Возникает безотчетная потребность в передышке, в останковке, в одиночестве. Необходимо сбавить сердечные обороты, охладить мотор, иначе есть опасность, что он просто не выдержит. И вообще, мужчине хочется, хоть на какое-то время, вновь зажить разумом, контролировать свои поступки, владеть собой. Это нужно понимать и не делать из этого перерыва драмы. При всем при том, что в данном случае он к тому же осложнен, как бы это сказать, соображениями семейного свойства.

Коля почти верил в то, что проповедует, тем более, что собственный сердечный его опыт, как оказалось, не такой уж бедный, свидетельствовал именно о таком восприятии нежной страсти. Вот и в отношениях с Риммой, в тот самый момент, когда отношения эти реализовывались полно и беспрепятственно, он ощутил однажды нечто вроде моральной усталости, необходимости антракта. Хотя, по правде говоря, видимо этот самый антракт и знаменовал собой бесперспективность их с Риммой отношений. В том, что новая ее любовь тоже бесперспективна, он тоже почти не сомневался. Отнюдь не потому, что не верил Римме и считал ее иерусалимского физика прохиндеем. Как раз, наоборот, по неясным, по неопровержимым ощущениям догадывался, что человек это настоящий, то есть порядочный, тонко чувствующий, по рукам и ногам повязанный разнообразным чувством ответственности перед всем окружающим миром. Недаром в порыве горестных lamentаций Римма воскликнула:

- Господи, ну почему мне так везет на слабых мужиков!

- Еще неизвестно, кто сильнее! - с безотчетной солидарностью запротестовал Коля.

- Вот тут ты прав! - с неожиданной благодарностью согласилась Римма.

Еще бы ему не быть правым. То, что Римма назвала слабостью, то, что вообще слабостью принято считать, это ведь не что иное, как первейшее свойство хорошего человека. Во-первых, доброта, а во-вторых, из нее же проистекающая нерешительность, заключенная в боязни хоть одним резким движением хоть кому-то причинить неудобство. Или вообще обратить на себя излишнее незаслуженное внимание. Зато мерзавцы зачастую бывают размашисто решительны, поскольку не соотносят резкость своих поступков с их последствиями для окружающих. Делают только то, что им нравится, не отказывая себе в удовольствии даже преходящего неясного желания. За что их скорее всего и любят. И считают сильными.

Вот такая сложилась у них традиция. Уложив Соньку в постель, прочитав ей на сон грядущий Маршака либо Чуковского, Римма, как бы невзначай, не отрываясь от какого-либо домашнего занятия, предлагала постояльцу:

- Поговорим о приятном.

Коля уже знал, что от него требуются лирические воспоминания, сосредоточенные, впрочем, не на его чувствах, а на Риммином образе. На том, как шел ей сентябрьский коктейбельский загар, как хорошо она была пострижена и как бился у нее на щеке платок лилового, как она говорила, вдовьего оттенка. Ее словески, его обращенные к ней шутки, полные затаенной нежности, тоже входили в понятие "приятного", их полагалось помнить и предъявлять время от времени в доказательство того, что время бессильно перед очарованием неоднозначной и взбалмошной римминой личности. Удостоверившись в этом очередной раз, она без интервала переходила к постоянной волнующей ее теме, то есть, требовала новых доказательств тому, что не пишущий ей и не звонящий ей из Иерусалима возлюбленный на самом деле ее ничуть не забыл. Таким образом, доказавши свою собственную невостремленную верность, Коля должен был отработать и ожидаемую чужую. Он и отработывал. Заверял Римму, что в самое ближайшее время она получит из-за океана многостраничное письмо с описанием нахлынувшей тоски и с признанием, что жить без нее практически невозможно. Ссылался на причудливость собственных чувств, ведь только после отъезда Риммы осознал, какую потерю случилось ему понести. Опять же прибегал к литературным реминисценциям, зная, как простодушно доверяет Римма художественному слову; вот ведь и чеховский классический Гуров понял, чем обернулся для него мимолетный курортный роман, только посреди метельной февральской Москвы. Откровенно говоря, убедительным своим аргументам Коля верил мало. Кроме того, неясная и невольная надежда подловато мелькала в подсознании, а ну как Римма по старой памяти кинет на его

благородное бескорыстное красноречие. Римма не клевала, по-видимому, окончательно зачислив его в разряд "своих" людей, беспольных конфидентов, которым можно без стеснения и без церемоний признаваться в самых заветных мыслях. Вот и Коля она запросто призналась как-то, что отчаявшись дожидаться хотя бы весточки от канувшего без вести возлюбленного, она охотно завела бы себе необременительного и приятного во всех отношениях любовника. Хорошо бы по-американски благополучного, идеализма, в конце концов, хорош в сжигающей любви, в ровных же, ни к чему не обязывающих отношениях предпочтителен если не расчет, то, по крайней мере, практическая трезвость.

- Тебе это неприятно слышать? - внезапная деликатность все же озаряла Римму.

- Да нет, - Коля ненатурально пожимал плечами. Он прекрасно понимал, что взрослая обыденная жизнь не обходится без естественного здорового цинизма (куда же от него денешься, если чистые идеалы и принципы обрекают нас на прозябание)? Возразить на это ему было нечем, но, конечно, от римминых откровенностей у него "кошки скребли на сердце". Было очевидно, что за мужчину она его просто-напросто не считает.

... Во всяком случае всякий телефонный звонок она воспринимала будто долгожданную радость. И то сказать, однажды в течение целого уикэнда телефон не зазвонил ни разу. А в другой раз Римма через всю квартиру разлетелась к ожившему аппарату, и нарвалась на налогового инспектора, который разыскивал ее по поводу какого-то давнишнего долга.

- Ай эм о'кей! - у меня все в порядке, - все время повторяла Римма тем несколько неестественным, чуть заискивающим тоном, каким всегда разговаривала с настоящими натуральными американцами. Эта официальная, оптимистичная вежливость, не допускающая никаких нюансов в пользу собственного настроения, весьма контрастировала с риммиными российскими монологами, в которых она давала выход всем своим женским неудачам и просчетам. Особенно она негодовала на Колпо, когда он из самых лучших побуждений, опасаясь, что Римма не слышит, подымал телефонную трубку. Эту невинную попытку услужить она воспринимала как покушение на ее личную свободу. Коля, сцепив зубы, терпел, проклиная свое положение постояльца и махлебника. Иногда его пронзала отчаянная мысль перебраться на постой к кому-либо из хороших знакомых или близких приятелей. При желании он, пожалуй, отыскал бы среди них кого-нибудь готового дать ему недолгий приют. Но догадка о том, что для Риммы это будет смертельная обида, удерживала его. Вместе с воспоминанием о том, какою прелестной, нежной и беззащитной бывала она в хорошие минуты. Есть женщины, у которых в постели прорезывается какой-то иной, совершенно незнакомый, волнующий голос. Римма принадлежала к их числу. Коля иногда вздрагивал посреди житейской сутолоки, когда из каких-то неведомых глубин памяти до него доносились ее нежные, покорные, беззащитные, возбуждающие слова.

В пятницу вечером автоответчик, к шуршанию которого Римма прислушивалась с настойчивостью наркомана, принес не то чтобы благою, но все же приятную весть. Объявилась Ксюха, бывшая коктебельская и судакская красавица, алкоголичка, само собою, художница. В Крыму она была известна туалетами собственного изготовления, некими хитонами, в которых бердслеевские мотивы перекликались с древнегреческими в волопинской интерпретации, а также безрассудными поступками, из которых связь с шестнадцатилетним сыном подружки могла считаться наименее экстравагантным. Еще Ксюха пела старинные русские песни, временами впадала в религиозный, почти монашеский экстаз и постоянно вступала в идейные противоречия с отцом, весьма заметной, по слухам, шишкой в лубянском ведомстве. После Ксюхиного отвала на Запад его, опять же по слухам, быстро спроводили на пенсию. А отвалила Ксюха по израильскому вызову, что казалось вовсе невероятным, учитывая ее внешность васнецовской боярыни и все то же лубянское происхождение. В Израиль она, разумеется, не поехала, добралась до Нью-Йорка, сняла студию в Гринвич Виллидж, жила с того, что раписывала, разрисовывала жар-птицами и добрыми молодцами матрешки и кухонную утварь, нарядившись в бердслеевскую смесь хитона и сарафана, выступала с пением на снобистских вечерах нью-йоркской богемы. Короче, на жизнь не жаловалась, и, в отличие от Риммы, не подвергала себя соблазнам великой любви, хотя причину Римминой внезапной страсти готова была понять:

- Ты после своего мужа могла бы влюбиться в фонарный столб!

Римме такая трактовка ее романа не очень-то льстила, но Ксюхе она ее прощала. Поклоняясь отчасти ее умению жить беспашабно и широко, ничем вроде бы не дорожа и ничего не боясь.

Гостей, собравшихся у Ксюхи, Римма вычислила заранее. Знала, что будет там ее старший одноклассник по ленинградскому театральному институту; некоторое время у Левы был театр в Сохо, потом он прогорел, а Лева занялся развозкой пиццы, чем зарабатывал не в пример больше, чем режиссурой. Можно было ожидать беспаспортную красавицу, пытавшуюся сделать в Америке карьеру фотомодели под самонадеянным псевдонимом Живаго; она прибыла в Америку по чьему-то приглашению не то из Казани, не то из Уфы, обитала на птичьих правах неизвестно где, скорее всего в мастерских у художников, в студиях у богатых фотографов из "Вога" и прочих модных журналов, ошивалась на всех космополитических тусовках в Сохо и в Гринвич Виллидж, удивляя публику, хотя пока, кажется, без конкретного успеха, своею немного идольской евразийской красотой. Нельзя было заречься от встречи с неким знаменитым некогда в Москве поэтом-концептуалистом, которого на родине поддерживали богатые художники и коллекционеры, покупая у него косноязычные, туманно-эротические его опусы по пятерке за штуку, в Нью-Йорке он работал бас-босом, то есть подручным официанта, проще говоря - уборщиком посуды в ресторане "Пэрадайз" на Брайтон-Биче.

Кроме всей этой московско-коктебельской богемы, среди приглашенных могли оказаться и какие-либо вполне корректные, скучновато-буржуазные люди из числа бывших советских, а ныне процветающих врачей или программистов. Это служило косвенным свидетельством того, что Ксюха стареет и время от времени нуждается в поддержке хоть и занудливых, но зато добропорядочных, а главное, непьющих знакомых.

Предсказания Риммы сбылись на сто процентов. Не предвидела она лишь московского гостя именинницы, известного в России певца и композитора Никиты Ростовского, приехавшего в Нью-Йорк то ли на гастроли, то ли на разведку, а скорее всего, и для того, и для другого одновременно. Римма сразу выделила его из всего сборища, по женской бессознательной привычке на всякий случай, без особых надежд оценивать ситуацию и безотчетному желанию опутить, как убыстряется кровоток, как разгораются щеки и блестят глаза.

Коля о том, что Римма положила глаз на барда и менестреля, тоже быстро догадался. На женское предательство у него был особый нюх, должно быть, обостренный всем его разнообразным опытом былых разочарований. Вот и теперь он чувствовал его кожей, то и дело улавливая взглядом мнимое риммино равнодушие, тщательно маскируемую счастливую напряженность, спортивную-задорную предрасположенность к интриге, которая проявлялась то в искре, промелькнувшей в мидалевидных ее глазах, то в реплике, произнесенной невольно повышенным тоном, то в чрезмерно пластичной позе, принятой в соответствии с проверенным самоощущением собственной притягательности.

Самое интересное, что Римма, конечно же, тоже догадалась о том, что Коля засек ее несомненные еще намерения. И, как всегда, чувство некоторой вины перед ним только раззадорило ее, обострило еле-еле наклонившуюся интригу. А другая, несравнимо большая вина, перед той страстью, которой она будто в бреду жила последние месяцы, заглушалась воспоминаниями о невыносимом своем одиночестве, о бессмысленном своем ожидании, грозившем истерикой и паранойей.

Именины в Ксюхиной студии представляли собой очевидную смесь между русским долгим и обстоятельным застольем и американским "парти" без прикрепления гостей к определенному месту. Иными словами, напоминали собой всю ту же коктебельско-судакскую пьянку. Сначала тот, кто хочет, усаживается за не то чтобы богато, но с художественным изыском сервированный стол, а спустя некоторое время все начинают перемещаться, циркулировать по живописному пространству студии, благо, площадь ее вполне этому способствовала. Ругали, по привычке, пришедшую к закату советскую власть. Причем теперь доставалось ей и за необдуманно открытые границы.

- Я, конечно, рада увидеть кое-кого из родственников, - тонко улыбнулась жена процветающего врача или программиста и сама,

должно быть, врач или программист, - но не до такой же степени. Вы себе представить не можете. Один за одним. Причем, те, кого мы в Москве и знать не знали. Можете себе представить? Когда мы с Осей сидели в отказе, они нас принципиально избегали. Вот его сестра, например. А теперь все они счастливы, что у них родня в Америке.

- Ну, ты все же преувеличиваешь, - деликатно и несмело заметил ее муж, не зная, на кого из московских гостей покоситься, на Никиту Ростовского или на Колю.

- Разумеется, я не имею в виду интеллигентных людей, - неуклюже оправдывалась врач или программист, разом заметив в разных концах студии сидящих москвичей. - По интеллигентным людям мы ужасно соскучились, потому что американцы, откровенно говоря, страшно ограниченные. Совершенно не интересуются искусством.

- Думаешь, эти интересуются? - захохотала Ксюха, по-судакско-коkteбeльской привычке, с поправкой на манхэттенские возможности, хлебнувшая, прежде чем перейти на элегантный медленный "лонг-дринк" хорошей русской водки. Что характерно, "столичной", а не "смирновской". Знаем мы, кто им интересен! Они сами, больше никто!

- А кем же еще интересоваться, - ничуть не обиделся бард и менестрель. - Я, например, ничуть не сомневаюсь, что я гений, а других постоянно приходится в этом убеждать. Надоедает, поверьте. А потом все эти слухи о российской духовности страшно преувеличены. На Бродвее, вокруг распродаж, я постоянно слышу русскую речь, а в гугенхаймовском центре не уловил ее ни разу. Это при моем-то слухе.

- Абсолютном? - изящно съехидничала Римма.

Никита кивнул:

- Абсолютно-абсолютно абсолютно.

Ксюха, между тем, решила поддержать американскую духовность. Сказала, что ее лично она вполне устраивает. Поскольку ее матрешки и кухонные доски ее изготовления раскупаются неплохо.

- Вот романы с ними крутить, - Ксюха притворно вздохнула, - действительно скучно. Все знаешь наперед. Что скажет, куда поцелует. А как будет объяснять свои желания в соответствии с рекомендациями своего психоаналитика! Нет, скучно, хотя мужики красивые.

А, Римма?

Та пожала плечами:

- Не знаю. Как-то не приходилось пока.

- Ну, когда придется, вспомнишь мои слова.

- Один мой покойный друг, - Коля вдруг нашел повод вступить в разговор, - еще лет двадцать назад фантазировал, что интуристу стоило бы организовать особую валютную программу для иностранцев. Совин... - он слегка смутился.

- Член, что ли? - захохотала хозяйка.

- В общем, любовь по-русски. С мордобоем, битьем посуды, выбеганием на мороз в голом виде.

- Неплохая идея, - всерьез вздохнула Римма.

- С точки зрения бизнеса? - оживился Никита Ростовский.
- Да нет, с точки зрения клиентки, - призналась Римма.
- Неужели такой дефицит российских отношений? - притворно удивил-
ся Никита, обнаруживая прикритый иронией интерес.

Римма блеснула длинными ведьминскими глазами:

- А вы как думали? От всех дефицитов избавились, но столкнув-
шись с этим...

- Весьма существенным! - доливая в свой длинный стакан виски,
смеялась Ксюха.

- Ну, надо думать, после таких заявлений вы несомненно остае-
тесь в Америке, - обратился Никита к Кэле.

- Ну что вы, - Римма опередила своего приятеля и одновременно
как бы избавила его от необходимости подыскивать остроумный
ответ, - он у нас очень любит Родину.

- Ах, вот оно в чем дело, - почтительно покачал головой Никита, - тогда
вам, Римма, действительно стоит посочувствовать.

- Сочувствие хорошо в конкретных формах, - весьма рискованно
ответила она.

Коля, покраснев от обиды, запоздало парировал риммину шпиль-
ку. Признался, что как ни странно, действительно Родину любит.

Ему никто не возразил, однако и не поддержал его никто. Тогда он
по российской привычке пустился в объяснения.

- Понимаете, - растолковывал он, как будто бы присутствующие
и впрямь всерьез были опечалены его нежеланием попросить в
Штатах убежища, - там, в России, я привык быть конформистом,
изгоем, лишенцем, как говорили когда-то. Но я не умею быть
посторонни.

- Я, например, чувствую себя там чужим, - не приняв этот
убедительный аргумент Никита. - Правда, это тоже не значит, что я
тут останусь.

- Но машину все-таки купили, - лукаво заметила Римма.

- Ах, вы обратили внимание, когда подъезжали? Нет, этот "кадил-
лак" я просто взял в аренду. Знаете, давно хотелось поехать на
большом автомобиле. Такое совковое желание.

- Почему же совковое, - не согласилась Римма. - Нормальное,
мужское. У мужчин капризов не меньше, чем у женщин. А в Америке
их проще удовлетворить.

Она вовсе не щадила колиного самолюбия. Он догадывался, что
это от подлости натуры, не по злomu умыслу, а скорее всего из
бессознательного женского бл я д с т в а, из невозможности устоять
даже перед минутным соблазном. Из тайного, подспудного ощу-
щения, что это самый соблазн и есть чистое время жизни. То есть,
собственно, жизнь, в ее реальной, не осложненной посторонними
соображениями ценности.

Как на всякой русской пьянке в какое-то мгновение в воздухе
повеяло сентиментальностью, которой не в силах оказались соответ-
ствовать никакие кассеты или компакт-диски. Требовалось живое

пение, напоминающее о других, похожих сборищах и тусовках, где бы они ни происходили - в Москве, в Питере ли, на морском ли пустынном берегу, у лесного ли костра в студенческие наивные времена, на чьей-то богатой даче или в подвале у нищего художника... Никита, разумеется, предвидел такое настроение и просьбы ему соответствовать, то есть, спеть, устроить небольшой концерт и большой праздник души, а потому профессионально принялся отнекиваться, убеждать компанию, что сам себе жужко надоед в качестве не по чину популярного менестреля, да и гитары, как назло, не захватил. Хмельная Ксюха из дальнего угла своей захламленной студии извлекла на свет божий антикварный инструмент, добытый ею в одной из бруклинских лавок, торгующих всяким барахлом. Никита поохал, повосхищался этой наверняка испанской гитарой, настроил ее, как бы догадываясь, что в эти мгновения, подкручивая колки, припадая ухом к деке, пробуя звук, выглядит чрезвычайно обаятельно, может, даже обаятельнее, чем во время концерта. А домашнее это пение и было, в сущности, небольшим концертом, поскольку скидок на свойскость аудитории Никита себе не позволял.

Римме его пение не то, чтобы странно понравилось, оно ее заинтриговало, тем же образом, каким всегда интриговал ее талант или даже его высокая репутация. Это можно было считать бабьим снобизмом своего рода, но в этом же сказывалась и несомненная женская чуткость. Во всяком случае, она четко знала, что голым бахвальством, преуспеянием, не воплощенным в какой бы то ни было артизм, ее невозможно было соблазнить. Так что дело было не в Никите, а в том, что он напомнил ей а другой ее жизни, в которой не было голубой "тойоты", замечательного супермаркета "Ки фуд", распродаж в "Мейсисе" и в "Александре", но зато было полным-полно талантливых людей, ревнивых к славе друг друга, обидчивых, подозрительных, безрассудных, заносчивых, честолюбивых, хмельных, но незаурядных в каждом своем слове, в каждом жесте и даже в беспробудном, бесшабашном своем пьянстве.

Пора было расходиться, но Ксюха объявила это здоровое желание жлобством и занудством и предложила порусскому истинному обычаю завалиться на 57-ю в "Самовар" к Степану.

- Русские люди! - голосила она, - евреи! Для чего вы сюда приехали? Чтобы ложиться спать в десять часов!?! (Была уже половина первого). Вы же страдали от того, что в России после одиннадцати некуда пойти!

- Я, честно говоря, страдал несколько по другому поводу, - признался врач или программист.

От ксюхиного дома отвалили на трех машинах, однако, на 57-ю улицу прибыли только на двух: какая-то часть общества предпочла русскому загулу достойное американское возвращение с вечеринки. Так что за столом, покрытым бордовой скатертью на тугих бархатных диванах уместились не в столь уж многочисленной компании. Однако минут через двадцать компания разрослась. Нравы здесь, в эле-

гантном на старый европейский манер зале с бронзовыми лампами и с гравюрами старого Петербурга на стенах, были в смысле простоты общения вполне российские. У Коли появилось чувство, что машиной времени, а заодно и внепространственным транспортом его перенесло в один из клубных московских ресторанов середины загульных семидесятых, когда банкеты закатывались по всякому поводу, столы накрывались по-царски с перебором, как бы в неясном подсознательном расчете, что в течение вечера подгробут, подъедут, просто подсядут друзья, коллеги, случайные иностранцы, давнишние знакомые, неизвестно откуда взявшиеся посторонние пьяницы, кочующие от стола к столу. Здесь в смысле этикета было построже, но расклад царил тот же: все знали всех. Даже Коля сознавал, что, по меньшей мере, треть ужинающих при свете настоящих бронзовых ламп он видел в другой жизни, в старом "Национале", на кокетельском берегу, на забытых уже премьерах и выставках, на которые стекалась вся Москва... И хозяина заведения он помнил по тем давним, еще, пожалуй, оттепельным временам, в те годы Степан считался одним из лучших в Союзе синхронных переводчиков, по слухам, занимался антиквариантом, знал толк в живописи, а, может, и в валюте. Можно было предположить, что с его знанием английского, с деловой его хваткой, карьера ему в Америке светит чрезвычайно завидная, сопоставимая с трехэтажными холлами Чейз Манхэттен Банка или Международного центра торговли. Московские прогнозы, Коля уже обратил на это внимание, зачастую не оправдывались, потому быть может, что не учитывали такой иррациональной вещи, как случай, удача, везение, так или иначе, многие люди, казавшиеся на московском бездельном фоне созданными для головокружительного взлета на Западе, удовлетворялись на деле участием скромных обывателей - клерков, учителей, дикторов на русском радио... Степану еще повезло, у него все же был свой бизнес, не ахти какой процветающий, но, по крайней мере, светский. И сам он выглядел неплохо в черном элегантнейшем костюме, подходящем, пожалуй, эстраднему факиру, с бородкой не то английского капитана, не то еврейского мудреца, с настоящим вересковым "данхиллом" в зубах.

- Рекомендую "абсолютовку" на клюкве, - заметил он, звучно, по-московски, в стиле все того же актерского ресторана, расцеловавшись с Ксюхой и с Никитой, - настаивал собственноручно. И на корейку обратил внимание на гречневой кашей.

Римма в ресторане совсем расцвела, тотчас возвратно обрусев внутренне, словно возвратившись в атмосферу театрального труппа, сплетен, слухов, интриг, флирта. И еще честолюбивых надежд, замечательно украшающих собой молодость и вообще жизнь. Странное дело, в имущественном плане она обладала теперь благами, с которыми в те года не совмещались самые смелые представления о славе и процветании - Господи, голубой "тойотой", квартирой в Ривердейле со стеновыми шкафами, набитыми дубленками, кожаными куртками, белыми плащами, антовыми кофтами, с электронной шитой, компьютерами, шейной ма-

шинкой, способной и штопать, и вышивать, но былой очарованности жизнью никак не могла возродить. А вот теперь получилось, что очарованность эта как-то сама собою возникла, от музыки ли (в этот вечеру Степана играли приехавшие из Питера на заработки лабухи), от множества ли знакомых по прежней жизни лиц, а скорее всего от тех волнующих, греховных токов, которые потекли в обоих направлениях между нею и Никитой.

Никита пригласил ее танцевать. Она поднялась чуть быстрее, чем надо бы, едва ли не Наташей себя ощутив на первом балу. Самое любопытное, что изменницей своей последней, ни сна ни отдыха не ведущей любви она себя не осознавала, тут было нечто иное, душевных глубин не задевающее, чувством не противоречащее, параллельное им, горячее, соблазнительное, увлекательно легкомысленное.

Бутылку шведского "абсолюта", настоянного по русскому обычаю на американской клюкве, выпили быстро; Степан, курсируя между столиками, за каждым из которых сидели знакомые ему люди, наклонился по-свойски, но корректно:

- Не желаете ли еще?

- Пусть ташут! - махнула рукой Ксюха.

Вторую бутылку пили уже без энтузиазма. Наливали подходившим, подсаживающимся на минуту людям, художнику Дуракову, которого Коля помнил по Москве шестидесятых, теперь он просил знать его как фон Таубе, гордясь скрываемым прежде немецким дворянством. Подходила какая-то русская дама, по типу более похожая на прежних эмигрантов, чем на нынешних, рассказывала о своем удачном бизнесе, вместе с сестрами и свояченицами она обслуживала американские "парти" - накрывала столы на русскую и европейскую ногу на фирмах и в богатых домах.

Обилие лиц начало утомлять Колю, к тому же хмель пошел у него не в веселье, а в угрюмство, что случалось очень редко и чего он терпеть не мог. Ему хотелось бы сидеть в этом ресторане за небольшим столиком на двоих, как сживали они перед ее отъездом в московских клубных ресторанах. У актеров, у киношников, у музыкантов... Однажды пришли обедать и просидели до закрытия, попутно поужинав. Разговаривали, исповедовались друг другу, друг друга согревали. Перед расставанием, перед разлукой, как представлялось, навсегда, Коля втайне гордился, что оказался в эти дни самым близким ей человеком. А теперь Римма увлеченно разговаривала с Никитой, кивала, подкивала, это зрелище было для Коли совершенно невыносимым, уж лучше бы они целовались.

Московские лабухи заиграли старый советский шлягер, который в полуподвале нью-йоркского небоскреба, в двух шагах от Бродвея, обретал как-то изначально мало ему свойственную благородную эlegantность. Поддавшись ей на мгновение, Коля пригласил Римму танцевать, она пошла, с некоторой досадой прервав свою беседу с Никитой. И через минуту сообразила, что досада эта нарастает и по другому поводу. В колином объятии, вполне скромном, но все же напоминающем о давней близости, ей почудилась какая-то безосновательная претензия, явное

покушение на ее нынешнюю любовь, пренебрежение к ее незаживающей сердечной ране. Да и себя почувствовала она смертельно виноватой перед своим последним отсутствующим возлюбленным, который, Бог его знает, быть может, призван сейчас на ежегодные сборы в армию и трясется сейчас в броневике по какой-нибудь жарой и огнеметами выжженной пустыне в то время, как она дает повод вообразить о возобновлении самую судьбой прерванных отношений.

Посреди танца Римма остановилась, высвободившись из колино-го объятия. Она уже вновь сидела за пьяным, хохочущим, галдящим столом, а Коля все торчал как пень среди танцующих, которые задевали его боками и локтями. Он чувствовал себя оплыванным, такой обиды он не переживал со студенческих стародавних времен, когда однажды на факультетском вечере им, хилым младшекурсником в джинсах, перешитых из китайских штанов, пренебрегла некая прекрасная дипломница. При чувствительности натуры в тот давний вечер он чуть не удавился, посчитав отказ красавицы танцевать чем-то вроде знака свыше, предсказывающего ему дальнейшую судьбу. Так что же, выходит, знак и впрямь оправдался.

Преодолевая хмельные обострения забытых комплексов, стараясь сделать вид, что ничего не произошло, Коля приблизился к своему столу. Над ним склонилась и стояла официантка, резко отличная от полупьяной российской компании своей бело-розовой веснушчатой англо-саксонской невозмутимостью. Характерно, что официантов Степан принципиально набирал из этой, так сказать, коренной части американского населения.

- наших держать себе в убыток, - вздохнул он, - разворуют!

Ленинградский официант из какого-то шикарного приморского ресторана дослужился у него лишь до поста "бас-боя", то есть уборщика посуды. Судя по чисто российскому замешательству за столом, официантка подала счет. Ксюха поставила между тарелок и бокалов свою мексиканско-ацтекскую кожаную торбу, из нее извлекались совсем по-псковски скомканные доллары, пудреницы, косметичка, записная книжка, какие-то чисто женские интимные аксессуары, опять же мягые доллары, бледно-зеленые, которые приходилось расправлять, для того, чтобы определить их достоинство. На веснушчатом ирландском лице официантки сохранялось терпеливое, чуть брезгливое равнодушие. Ксюха же беспрестанно растерянно материлась, едва ли не по локоть залезая в недра своей художественной сумки. Она была именинницей, зазавшей всю компанию в ресторан и чувствовала себя материально ответственной за гулянку. Степан же, как рачительный хозяин, разговорив и раскрутив гостей, в момент расплаты дипломатично отходил, не желая путать личные отношения с меркантильными. Внимая невнятной, как бы молящей о помощи Ксюхиной матершине, Никита достал красивый крокодиловый бумажник, наверняка приобретенный уже в Америке, и принялся сосредоточенно изучать содержимое его многочисленных отделений. Римма сидела с безучастным неподвижным лицом, ее

пригласили, и она не обязана была вникать в денежные затруднения виновницы торжества. Тем более, что Колю она в первый же день честно предупредила, что водить его по ресторанам ей не по средствам.

И тут Коля понял, что ему следует сделать, для того, чтобы отыграться за все уколы и спазмы его издерганного за сегодняшний день самолюбия. В боковом кармане пиджака, прямо так, без бумажника, свернутые в трубочку у него хранились триста долларов, почти вся его американская наличность, "кеш", как здесь говорят, тщательно сберегаемая едва ли не до дня отъезда, поскольку ничего так не боялся Коля за границей, даже в почти родной еще недавно Болгарии, как остаться хотя бы на один вечер совершенно без денег. Скосив глаза на счет, поданный Ксюхе на фарфоровой тарелке, Коля удовлетворенно убедился, что его "подкожных" вполне хватает. Даже с некоторым запасом, позволяющим произвести впечатление солидными чаевыми. Двумя пальцами, указательным и средним, он извлек три выцветших, побелевших как после стирки сотенных бумажки и небрежно, претендуя на шик, виденный в фильмах из старинной купеческой жизни, бросил их на фарфоровую тарелочку. Официантка с неожиданным проворством развернула купюры, поглядела их на свет, как всегда поступают американские кассиры с крупными банкнотами, и лишь потом с удовлетворенным видом опустила их в особый официантский кошелек, какие в дореволюционной России называли "лопатниками". Всего этого Коля уже не видел, поскольку, натянув плащ, вышел из "Самовара". Вообще-то ему хотелось выйти в апрельскую ночную Москву, пустынную, одновременно теплую и холодную, будоражащую именно этим смещением противоположных ощущений, которое, видимо, и есть то, что зовется весенней свежестью. Но за дверью были 57-я, Бродвей, Таймс-сквер, Нью-Йорк, залитый вроде бы невероятным для ноября бурным, почти летним ливнем. Как-то особо очевидно сделалось, что совсем рядом Атлантика, с ее неоглядными зелеными валами, ураганами, ревущими штормами, обложными туманами и внезапной переменой ветров, приносящих проливные дожди. В огромных, совершенно московских лужах отражалась реклама: знаменитый дымящий сигаретой верблюд, вывески "Александра" и "Вулворта". Это не утешало, поскольку лужи были еще и глубокими. И проезжающие машины, опять же по обыкновению московских водил, окатили Колю водой из луж. Около дверей кабаке, рестораниц, ресторанов отлакированные ливнем машины притормаживали, вылезавшие из них дамы и господа в длинных и просторных, как монашеские рясы белых плащах, раскрывали огромные куполообразные зонты из черного прорезиненного шелка или прозрачного пластика. А дождь все лил и лил, омывая люминисцентные витрины, заполненные телевизорами, компьютерами, таймерами и прочей электронной дребеденью непонятного назначения, бронзовую статую бруклинского портного, корпящего над швейной машинкой "зингер" - точно такая сохранилась от

деда в колиной московской квартире, и стоэтажную баунню компании "Панамерикэн", чье изображение в течение многих лет Коля едва ли не каждый день видел по московскому телевидению.

В какое-то мгновение Коля почувствовал, что брести под дождем уже выше его сил и нырнул в первую попавшуюся нору - сабвей. И вновь, как и в самый первый раз, ему почудилось, что он спустился в преисподнюю, в чистилище, странным образом напоминающую какую-нибудь провинциальную допотопную баню или же санпропускник военной поры, в каком он никогда в жизни не был. По чугунным истоптанным ступеням, следуя не столько указателю, сколько интуиции, он переходил со станции на станцию, с направления на направление, из одного низкого грязного коридора в такой же, с подтеками сырости на потускневшем кафеле стен, с влажной духотой, которая странным образом усиливалась скуповато тусклым освещением. Казалось, что слабеющая лампа тонула в клубах пара. Из них, из этой мистической душной полумглы выступали пугающие фигуры людей, сам физический тип которых прежде был Коле неизвестен. Это были метисы и мулаты всех мастей, старые нищие негры в опорках на босу ногу, гремящие милостыней, опущенной им в пластмассовый стакан из-под кока-колы, индейцы, а, может, азиаты, перемешанные с чернокожими, с пугающими лицами, приבלатненностью выраженья, напоминавшие Коле дворы и подворотни его детства.

Из тоннеля поезд выбрался на эстакаду и загрохотал по ней, поливаемый потоками дождя. На станции 235-я Коля вышел из вагона, по скользким чугунным ступеням спустился на Бродвей, похожий в эти минуты на широкую реку, Броддрайвер, текущую между двухэтажных, похожих на бараки, домов. Он помнил, что ему нужно идти от Бродвея "ап хилл", то есть подыматься в гору, он и побрел по кирпичной глухой улице, напоминающей рабочие окраины в Свердловске или в Магнитогорске. Разве что магазинов на ней было побольше, но сейчас они были закрыты, а в дверях редких подозрительных баров торчали черные ребята или все те же "латиносы", мимо которых боязно было проходить. Но в в то же время давнее дворовое чувство опасности пробуждало в нем самолюбие, подавляемое в течение всего нынешнего вечера. А, честно говоря, в течение почти трех недель его пребывания в Нью-Йорке. В сущности, в "Русском самоваре", расплатившись по-купечески за всю эту бражку, он совершил свой единственный в Америке мужской поступок, и теперь гордость распирала его. Точнее, гордость, переходящая в заносчивость и даже в злость; если бы встретилась ему в эту минуту Римма, он бы наговорил ей кучу нелепых, чудовищных вещей в отместку за все свои унижения, за терпеливую покорность, за проглоченные обиды. Это был бы бунт на корабле, жестокий и яростный, как все бунты, но праведный и давно зревший. Уважая себя за смелость, за легко приходящие на хмельной ум горькие саркастические аргументы, Коля перестал обращать внимание на дождь и на то,

что дорога его не имеет конца. Давно уже должна была возникнуть на пути знакомая развилка с приметным зданием лютеранской или какой-нибудь квакерской церкви посередине. Должен был показаться озаренный голубым неонам Сити-Банк, вернее, одно из типичных его районных отделений, разбросанных по всей Америке. Наконец, пора было начаться Джонсон-авеню, ее респектабельным, уютным, хотя зачастую простодушно, беспардонно безвкусным особнякам.

Вместо них беспросветно тянулись унылые грязные дома, такие однотипные, будто выстроили их в соответствии с каким-либо памятным постановлением партии и правительства. Коля понял, что заблудился, и от внезапного отчаянья окончательно возненавидел Римму. Она была виновна в его дурацких блужданиях, в том, что дождь даже не думал ослабевать, и даже машины почти не ездили по этим жутким улицам, по ее же вине. Машин и вправду почти не было. Зато прямо под дождем бегали крысы. Одна из них, выскочив из бара, скоренько пересекла тротуар по направлению к мусорным бакам под самым носом у Коли. Озноб передернул его плечи: в риммином Ривердейле он успел привыкнуть к скачущим под окнами белкам и еще к снотам, которых здесь называли неведомым словом "ракун". Ракунов в Москве Коля никогда не встречал, а крыс в последние годы развелось пруд-пруди, из чего напрашивался вполне марксистский вывод о том, что бедность от богатства отделает не океан, а всего лишь одна-единственная улица. Точно так же, как надежду от отчаяния...

Стало ясно, что брести наугад бессмысленно. Теперь даже обшарпанная станция метро на гудящей чугунной эстакаде представлялась обжитой и домашней, почти как Кропоткинская или Охотный ряд. На этих станциях он часто спасался от дождя, особенно в молодости, остался в памяти Гоголевский бульвар, безуспешные попытки укрыться от грозы под его листвой, бег по лужам, шлепанье по гранитным ступеням... И под сводами станции, похожими на храм, счастливое мокрое женское лицо. Скорее всего Риммино, хотя, может, и какое-то иное...

Коля добрался до некоей отправной точки своих шатаний и остановился в нерешительности. В безысходности, похожей на детское отчаянье, хотелось плакать и звать на помощь. Оглядевшись, он обнаружил, что в нишах парадных, на вынесенных из квартир стульях восседают, будто позируя провинциальному фотографу, негритянские многодетные семейства. Почтенные матроны необъятных размеров, черные бабушки в очках, заставляющие вспомнить героиню крыловской басни, мужчины в подтяжках, глазастые зубастые дети, довольные тем, что могут отдыхать совсем по-взрослому. Молодежь и подростки, несмотря на дождь, тусовались на тротуаре. Поражала их стрижка: из жестких проволочных волос в манере французских садовников сооружались кубы, параллелепипеды, едва ли не конусы. Заготовив мысленно вежливую и, может быть, даже грамматически относительно верную фразу, Коля приблизился к

подросткам. Уже выговаривая заготовленные слова, в одно мгновение вспомнил сотни рассказов, баек, слухов, доходивших до него в разное время об агрессивности черного хулиганья, о том, что белым без нужды в эти кварталы не стоит совать нос, тем более по вечерам, о дурости давних советских туристов, желавших выразить сочувствие угнетенной негритянской молодежи и получавших за это по роже. Последняя перспектива представилась весьма вероятной. Организм реагировал на страх физиологически. Липким потом между лопаток, холодом в мошонке, кажется, даже бурчанием в животе. Коля был единственным бледнолицым среди этой цветной, фантастически постриженной, Бог знает во что одетой, никак с ним не совместимой, не соотнесенной компании. Во всем этом обшарпанном квартале, на всей этой бесконечно угрюмой улице.

- Я первый раз в Нью-Йорке, я заблудился, - английские слова теснились у него во рту будто горсть дешевых леденцов или морских камешков. Однако чайное действие оказали. Бойкие черномазые девицы, в облике которых неожиданно промелькнуло что-то знакомое, пэтэушное, балашихинское, люберецкое, принялись со своим дружелюбием растолковывать ему дорогу. Их слов Коля не в состоянии был разобрать, более того, их подворотняя скороговорка представлялась ему вовсе нечленораздельной, и при этом поразительно близкой хамски-выразительному российскому молодежному жаргону. Во время объяснений Коле вдруг показалось, что юная пришепетывающая негритянка время от времени бойко приговаривает:

- Понял, бля, понял?

Кое-что из их указаний он все же усек. Во всяком случае, двинулся в правильном направлении. Миновал почти родной уже Бродвей и вновь попер в гору, сообразив, что в прошлый раз элементарно направился "ап хилл" не в ту сторону. Когда на чугунном старинном указателе возникла табличка "Джонсон авеню", Коля чуть не запрыгал от радости, будто дошкольник, впервые сложивший буквы на вывеске в понятное слово.

Свой приют он увидел издали, трехэтажную неуклюжую стилизацию под лондонский особняк с чахлым палисадником под окнами и с гаражом, задернутым металлической шторой. И риммину голубую "тойоту" заприметил, припаркованную на значительном от дома расстоянии, что свидетельствовало о позднем ее возвращении, когда добропорядочные обыватели уже заняли своими "маздами", "ниссанами", а то и "кадиллаками" более удобные места. Коля готов был поверить, что сейчас увидит Римму, которая, само собой, переживает его исчезновение, места себе не находит, смолит свои "мальборо лайт" одну за одной и высматривает его в перспективе ночной, тускло освещенной Джонсон-авеню. Ничего подобного, разумеется, не происходило. Коля отпер парадную дверь и, стараясь не топтать, полез на заплетающихся неверных ногах по обитым синтетическим шпосом ступеням.

Проснулся Коля рано. Он рефлекторно просыпался в этом доме раньше всех, поскольку имел целью без стеснения и не стесняя прочих

занять уборную и душ. Недавно, однако, выяснилось, что Римма просыпалась от самых деликатных его шагов и движений и, лишенная блаженных минут сна перед звонком будильника, готова была Колю убить. В это субботнее утро его разбудило горькое похмелье. Тугая боль в затылке и в висках, мучительная жажда, еще во сне томившая его образами реки и колодца, болезненная испарина. В карманах пиджака и не просохшего за ночь плаща Коля наскреб кое-какую мелочь, несколько квотеров и даймов, в супермаркете на углу ее хватило на одну банку самого дешевого пива. Вчерашний шикарный жест с метанием сотенных на стол уже не представлялся таким уж карамазовски благородным. Даже некоторая глуповатость обнаруживалась в нем, тоже вполне карамазовская, в конце концов в "Самовар" его пригласили, не его дело было лезть в их а м е р и к а н - с к и е материальные и нравственные расчеты.

Банка, даром что маленькая, лежавшая в ладони, как граната "лимонка" вмещала, оказывается, целый стакан пива. Высокий, длинный, из тех, что предназначены для коктейлей, для так называемого "лонг дринка", который принято медленно потягивать во время светской беседы. Почти весь этот стакан Коля выпил на кухне долгим неутомимым глотком и остановился в последний момент лишь из скаредюго желания продлить удовольствие. Легче сделалось сразу, пропала иссушающая жажда, поутихла боль в висках, и даже солнце за окном вдруг озарило Ривердейл. Оставшееся на доннышке пиво Коля смаковал гурманскими расчетливыми глотками, ревливо прислушиваясь к собственным ощущениям. В этот момент мелодично, но назойливо, подобно какому-нибудь экзотическому насекомому, запищал телефон. Пока Коля колебался, снять трубку или нет, Римма сама в своей комнате откликнулась по второму аппарату. Подловатое желание, похожее на потребность немелденно опохмелиться, охватило его. Презируя самого себя за шпионство и порочное соглядатайство, он припал к телефонной трубке. Там, не рассчитанный на постороннее внимание, рокотал благородный, с ироническими полутонами и обертонами баритон Никиты. Паузы между многозначительными сообщениями заполнял журчащий риммин смех. Почему-то именно его звуки вызывали жгучую ревность. Должно быть, она распространялась волнами, потому что Римма заподозрила неладное.

- Одну минуту, - попросила она Никиту и крикнула на всю квартиру: - Коля, повесь, пожалуйста, трубку!

- Какую трубку? - постыдным неестественным голосом отозвался Коля, чувствуя, что краснеет отвратительно и позорно, будто школьник, застигнутый за наивным грехом.

Через несколько минут Римма вошла в своем белом купальном халате, подпоясанном лиловым платком, умытая, смугло-румяная и положила перед Колей несколько зеленых банкнот. Свою, так надо понимать, долю расходов за вчерашнюю гулянку

- Ты что это? - непроизвольно заорал Коля, - ты за кого меня принимаешь? Совсем охренела?! Что уж я, вовсе для тебя не мужчина?!

Наконец-то за все недели терпеливых унижений, ему выпал вполне законный способ для скандала, для предъявления своих обоснованных и мнимых претензий, просто для мстительной истерики.

- Ты меня подавляешь! Пользуешься моим зависимым положением! Не щадишь моего самолюбия! - в какое-то мгновение он поймал себя на том, что испытывает удовлетворение, почти удовольствие от этого праведного бунта, а в этом проскальзывало что-то неблагородное.

Римма, однако, по женскому мироощущению была смущена столь бурным проявлением чувств. Пусть негативных, в них она тоже обнаружила лестную для себя сторону.

- Я вовсе не хотела тебя обидеть, - вместо извинения пробормотала Римма, испуганно забрав деньги.

Коля в приливе редкого самоуважения вернулся к недопитому пиву. А Римма, между тем, вповь вышла из своей комнаты, на этот раз одетая в соблазнительную короткую юбку, в элегантную блузку навыпуск, перетянутую узким ремешком. Она догадывалась о подсознательном колином понимании женственности, мод, нарядов, фасонов, стилей, и безотчетно решила доставить ему удовольствие.

- Сегодня в "Мэйсис" осенняя распродажа. "Мэйсис" - это замечательный магазин, не такой шикарный, как "Блумингдейл", но все равно мне обычно недоступный. Разве что во время распродаж, может, тебе будет интересно?

Похоже, она действительно чувствовала себя виноватой.

Коля пожал плечами:

- Если тебе угодно.

Откричавшись, он решил выражать свои обиды холодной корректностью. И как ни странно в этом преуспел: Римма заметно напряглась, засуетилась, предложила, по американскому выражению, прояснить воздух. Иными словами, высказать свои претензии без скандального крика, так сказать, на уровне логики.

- Кто я такой, чтобы высказывать претензии? - вздохнул Коля. - Приживал, тургеневский нахлебник, в жизни себе не прощу. Поехали!

И впрямь майское тепло принесли в город атлантические ветры, от яркого солнца пришлось защищаться темными очками, Сонька на заднем сиденье подпрыгивала от радости, от того, что сияющий, сверкающий, звенящий мир окружал их со всех сторон, и требовала от Коли стихов. Причем тех, которые она сама знала не хуже него.

- Сел он утром на кровать, - элегически начинал Коля, - стал рубашку надевать. В рукава засунул руки, оказалось, это... - тут он как бы невзначай делал небольшую многозначительную паузу.

- Брюки! - восторженно вопила Сонька.

Потом они как бы всей семьей ходили по огромному, будто город, универмагу, строгому, выдержанному в благородных европейских тонах, надо думать, в соответствии с лондонскими и парижскими традициями,

отделанному темным дорогим деревом и благородными витражами, однако в демократический час распродаж наполненного веселой суетой, музыкой, напоминающей о советских "первомайх" простецкой, вовсе не подобающей интерьеру семейной толкотней разноцветной публики.

Коля, если глядеть со стороны, играл роль чуть ошалевшего от коммерческой этой тусовки и, вполне возможно, состоятельного мужа, который дает объективные советы, со снисходительным видом носит покупки и сброшенную ему на руки женину жаркую куртку и при этом еще с мужской юмористической заботливостью следит за маленькой дочкой.

Римма купила Соньке несколько свитеров и кофточек, которые еще накануне равнялись по цене приличному мужскому костюму. Потом она мерила сапоги, без особой в них нужды, просто от искушения, что они сильно подешевели. Коля и тут оглядывал ее ноги взором пресыщенного знатока, режиссера, скажем, светского фотографа, либо главы какого-нибудь рекламного агентства. Ему было приятно, что его вкусу Римма несомненно доверяет.

Потом они сидели на высоких табуретках в баре по соседству с роскошным отделом дамского конфекциона, Римма с Сонькой ели пирожное, а Коля потягивал пиво, радуясь этому мнимому семейному согласию и тому, что остатки грустного похмелья растворяются в окружающей возбужденной толкучке.

Перед тем, как покинуть душистый переливчатый кондиционированный рай, спустились в "бейзмент", то есть, в цокольный этаж. Там царил фарфор, синий английский, французский с королевскими лилиями, скандинавский, заставляющий вспомнить о классических натюрмортах голландской школы, а еще таинственно мерцающий хрусталь, вулканическая керамика и кухонная утварь какого-то космического дизайна. Самое интересное, что в этом заповеднике домашнего уюта, в этих интерьерах семейного благополучия народ колготился по-московски. Ахал, вздыхал, приценился, пытался устоять перед соблазном. Римма не устояла, выбрала японский чайник - идеальный шар кардинально черного цвета с неким белым вкраплением, то ли в качестве носика, то ли в виде крышки. На время распродажи возле касс, где чаще всего распрачивались посредством кредитных карточек, возникли значительные для Америки очереди - в одну из них, человек из восьми, был поставлен Коля, на то время, пока Римма с Сонькой присматривали еще кое-что из посуды в соответствие к чайнику. Перед Колей стояла пожилая дама азиатских кровей - японка или тайтянка, а может филиппинка, изящная, будто выставленная где-то поблизости терракотная статуэтка; по мере приближения к кассе она раскрыла сумку, готовясь оплатить немалые свои покупки, сложенные в субтильную тележку.

- Сэр! - с удивлением и вроде бы взывая о помощи вдруг обратилась дама к Коле. - Сэр! - она протягивала ему свою сумку из превосходной шоколадной кожи, кажется, того самого сорта, который называется лайкой. Коля не сразу сообразил, в чем смысл этого отчаянного

странного жеста терракотовой азиатской дамы, и только еще раз бросив взгляд на великолепную сумку, обнаружил, что значительная ее часть, надо думать, та самая, в которой хранился кошелек с "кешем", то есть, с наличностью и кредитной карточкой, аккуратно и артистично вырезана безопасной бритвой. "Пописать" - в сознании Коли само собою выплыло выражение времен, обозначающее такую виртуозную воровскую работу. О том, что у кого-то "пописали карман", портфель, ту же сумку, Коля нередко слышал в те годы, но (поразительно!) наяву данное искусство он наблюдал впервые. И почти готов был выразить свое восхищение, если бы от внезапной мысли его не бросило в жар и в пот. Ему вдруг показалось, что в артистичном этом преступлении могут заподозрить его, бедного безденежного иностранца, с пятого на десятое объясняющегося по-английски: в самом деле, ведь это он вот уже три-четыре минуты находился в самой непосредственной близости от терракотовой леди. Она обращалась к нему за сочувствием и за свидетельством, должно быть, но по дворовому своему происхождению, неизбывной, нищей, рваной памяти он странно испугался быть уличенным в несовершенном преступлении.

- Римма! - громко, через весь зал, через весь этот роскошный подвал, позвал Коля, опасаясь, что если он сойдет с места, это может быть истолковано в дурном смысле.

- Римма! - еще раз крикнул он, - быстрее, пропну тебя!

- Что такое? - с недовольным видом приблизилась Римма, но мимовременно разобравшись в происшедшем, почувствовала жалость не к пострадавшей, а к Коле. Ей отчасти понятен был его испуг, но более всего ее растрогало, что он инстинктивно, как ребенок, позвал ее на помощь.

- Главное, Римма! - бормотала она, подзывая жестами высокого, спортивного негра из местной внутренней полиции. У того, разумеется, даже мысли не появилось, чтобы заподозрить в чем бы то ни было Колю.

- Главное, Римма, - качала Римма головой с усмешкой, включая двигатель. Коля же после мороки внезапной тревоги переживал приступ хорошего настроения, смеялся, ерзал на сиденьи, прижатый ремнем безопасности, вспоминал о правах послевоенной Москвы, так ярко и безошибочно воплощенных в обычаях современного Нью-Йорка - этого богатейшего из городов, переполненного жратвой, выпивкой, шмотками, красотой, безобразием, старьем и авангардом, дорогими вещами и совершенной дешевкой.

Римма припарковала "гойоту" неподалеку от входа в Центральный парк. У Коли там была назначена встреча с бывшей соседкой по дому, когда-то давно бесластно учившей его английскому языку. Старушка собиралась повести Колю в музей.

- Вот видишь, - вздохнула Римма, - даже шедевры живописи я не сумела тебе показать.

Вместе с Колей она вылезла из машины, чтобы объяснить ему дорогу до места свидания.

Быстро, как всегда в осеннем Нью-Йорке, наступал вечер. Желтые "кадиллаки" таксистов, похожие на московские салатные "Волги", включали фары. Силеный воздух между небоскребами густел с каждой секундой. - Как в Коктебеле, - вдруг сказала Римма, угадав Колины мысли. Он благодарно улыбнулся.

- Ты знаешь, - произнес он неожиданно для себя самого, - оказывается, я очень тебя люблю. Ты можешь себе представить? Вот уже сколько лет... Просто страшно люблю.

Говорить правду, по обыкновению, было легко и приятно. Римма от смущения покраснела, это было заметно даже в сумерках. Покраснела и поджала губы.

- Где я объясняюсь в любви? - всплеснул руками Коля. - Под сенью статуи Колумба. Неплохое место для последнего, надо полагать, раза.

И впрямь такого нельзя было и придумать. Они познакомились на щербатой, захолустной набережной заштатного крымского поселка, затерянного среди пустынных холмов, поросших чабрецом и полынью, а о любви заговорили лишь двенадцать лет спустя посреди бетонного, стального, пластикового, устремленного в небеса и в земную твердь, урбанизма. Прямо под статуей Колумба, с которого этот электронный, неоновый, небывалый мир объективно и начался.

- Может быть, надо было раньше об этом сказать, - как бы извинился Коля, - но я только теперь это по-настоящему осознал. Коля развел руками.

- Когда ничего уже нельзя изменить.

Только в этот момент он понял, что теперь-то он уже точно отыгрался перед Риммой за все свои американские унижения. И не испытал при этом ни малейшего торжества. Только нежность до желания зареветь.

- Вы все-таки гарный хлопец, Коля, - как всегда в смятении чувств, желая отшутиться, Римма вспоминала украинский язык, по которому в киевской школе на Бессарабке у нее была пятерка.

- Коля, - совершенно серьезно поинтересовалась Сонька, - в России, правда, все говорят по-русски?

Было очевидно, что вопрос этот занимает ее давно. Она подозревала, что Римма из материнской злобредности разговаривает с ней только на этом языке и к тому же по вечерам заставляет заниматься русской грамотой, странной и, скорее всего, мало кому на свете нужной.

- Ну конечно же, - заверил ее Коля. - Все до единого. Ты приедешь ко мне в гости и будешь всех понимать. И взрослых, и детей.

На самом деле он прекрасно понимал, что встреча эта вряд ли когда-либо состоится. Хотя, кто знает, вдруг однажды на пороге его занюханной холостяцкой квартиры появится длинноногая юная американка, веснушчатая, очкастая, в шортах или в запатанных джинсах, прибывшая в Москву по какому-нибудь студенческому обмену.

Сонька, подгоняемая Риммой, собиралась в школу, а Коля записывал в разложенный на полу чемодан грязное белье и покупки в ярких пластиковых пакетах. Исподволь он надеялся, что Римма подможет ему собраться, как помогала некогда в Коктебеле; Римма, однако, на его мучительное пыhtение не обращала внимания, помощь в сборах представлялась ей продолжением совсем иных отношений, о которых на этот раз не было и речи.

- А когда ты приедешь опять? - спросила Сонька на пороге.

- Когда ты будешь богатая, - заверил Коля, - и купишь свой дом в Калифорнии. Где-нибудь возле Сан-Франциско.

- Прилетит к тебе дедушка Коля, - засмеялась Римма, - а ты его будешь возить на машине.

Она редко вступала в сонькины с Колей разговоры, не участвовала в их фантазиях, но теперь, видимо, не устояла.

- Я тебя буду возить на "ягуаре"! - пообещала Сонька, сбегая вниз по крутой лестнице.

- Так что старость твоя обеспечена, - заверила Римма, отправляясь вслед за дочерью. В большое панорамное окно Коля видел, как они садились в машину. Он еще раз безуспешно пытался закрыть чемодан, створки его никак не сходились, грозились треснуть, в бессилии он плюнул и сел передохнуть. Почти вся его сознательная жизнь прошла в разъездах, в командировках и в свойственных поколению внезапных побегах на Юг и на Север, а собираться так и не научился. Всегда кто-то помогал. И вот теперь надо было привыкать к мысли, что помощников этих будет, надо полагать, все меньше и меньше.

Коля открыл холодильник, просторный, словно семейный гардероб, и нашел в его сияющих изобильных недрах пластмассовую четвертинку смирновской водки. Выпил, как принято в российские дни разлук и отъездов с раннего утра. Закусил изумительным эментальским сыром, который в России называют швейцарским. За этим занятием его и застала Римма, успевшая отвезти Соньку в школу и побеседовать с краснощеким разодетым в пух и в прах "принсипалом" Джерри Ротштейном.

Коля смутился, уличенный в раннем пьянстве, в который уж раз уселся на свой неподатливый чемодан. Римме это, наконец, надоело, на что он втайне и рассчитывал, она согнала его с чемодана, вытряхнула пожитки наружу и принялась укладывать их по-своему: споро, ловко, но с некоторым снисходительным пренебрежением, которое должно было засвидетельствовать, что никаких намеков на особую близость данный акт помощи не содержит. Впрочем, она и сама понимала, что Коля ни на что уже не претендует, и уже жалела об этом.

Сложные вещи были уложены, оставалось проверить всякую мелочь: письма, записки, копеечные симпатичные сувениры. Римма заодно решила разобраться на своем письменном столе, в ножках которого Коля проспал этот американский месяц. На глаза попался

альбом для фотокарточек, тяжелый, в плюшевом переплете, вывезенный еще из Киева. Тут были все периоды римминой жизни: и киевский, и ленинградский, и московский, и, само собою, американский, узнаваемый по рекламной яркости цветных снимков. Тоненькая глазастая девочка, причесанная с провинциальным кокетством, затерявшаяся за семейным столом среди родственников, превращалась в одержимую тайной гордыней студентку славного творческого вуза, окруженную такими же молодыми честолюбцами, потом в молодую прелестную женщину, невестку из благополучного обеспеченного дома и, наконец, в американскую, не знающую нужды домохозяйку, запечатленную на террасе собственного дома, в семейном идиллическом кругу, в компании таких же новых американцев, гуляющих на русскую ногу, но уже с обдуманном использованием местных возможностей.

Коля присмотрел несколько карточек, на которых Римма, то с совсем крохотной Сонькой на руках, то с чадающей сигаретой между пальцев была особенно хороша, то есть, равна самой себе, заносчивой и беззащитной в одно и то же время.

- Вот тут ты - это ты, - говорил он, намереваясь спрятать эти карточки в свой блокнот, но Римма, естественно, капризничала, уступала другие, с ее точки зрения менее уникальные и ценные. Он думал, что несмотря на все свои закидоны, мании и фобии, вопреки ее предательству и блядству, она все же единственная в его жизни женщина, которую он не мог забыть, вернее, не хотел забывать, и которой все на свете прощал, по той хотя бы причине, что она за все отвечала сама и платила собственной судьбой. А Римма думала, что этот некрасивый, милый, нервный, умный человек - единственный из всех ее мужиков, который никогда о ней не забывал, с тех пор как они навсегда расстались. Она вспомнила, как искала его мазанку в ночных зарослях туи и тамариска, как любила его короткое время, перечеркнутое неотвратностью исторических судеб. А теперь он любил ее, и было обидно, что это чувство как бы не совпало по исторической и общественно-политической фазе. Зато его любовь была единственным реальным достоянием, которым она как женщина могла распоряжаться, имуществом не менее достоверным, чем кухонный комбайн и голубая "тойота".

- Вы все-таки гарный хлопец, Коля, - повторила Римма свою излюбленную фразу, в которой лукавый украинизм как бы замещал истинность чувств, высказывать которые прямым текстом не позволяли ни обстоятельства, ни гордыня.

Они сидели совсем рядом, соприкасаясь плечами, локтями, коленями, почти прижимаясь друг к другу щеками.

- Помнишь? - вздохнул Коля, - ты меня заставляла бриться на ночь, чтобы я не исколол тебя щеками.

- А разве другие бабы не требовали того же? - Римма по обыкновению изображала тоном холодноватую насмешливость. На самом деле она была польщена такою интимностью его памяти,

намекающей на нерушимую запечатленность и других, более деликатных подробностей. И при этом, кстати, честно не претендующую на то, чтобы пробудить ее ответную память. Да и что было претендовать? Они и без того были близки в эту минуту, как только могут быть близки люди, разделенные океаном, границами, историческими условиями, временем, и тем не менее ощущающие взаимное тепло как единственную ценность ускользающей сквозь пальцы жизни.

... Перед выходом из дома Коля допил пластмассовую фляжку "Смирновской", и потому в машине его охватило возбуждение. Не столько хмельное, сколько нервное: знаменитая очищенная словно бы расстегнула какие-то внутренние крючки и пуговицы, дав волю потоку вскриков, безответственных шуток, летучего мата, в котором не было ни цинизма, ни грязи, но зато проявлялась и утверждала себя российская идентичность. К тому же особая, московская, центровая, беспечно и непочтительно злоязыкая...

Жара стояла на берегах Гудзона, американское солнце, чрезмерное, как и все в этой стране, отражалось в стеклянных панелях стоэтажных пирамид, сияло в никелированных бамперах "кадиллаков" и "олдсмобилей", по-апрельски слепило глаза. Коля с радостью нацепил темные очки, купленные в армейском магазине на Пятой авеню, опустил стекло, в машину ворвался теплый, прямо-таки крымский ветер.

- И это называется ноябрь! - не то восхищался, не то протестовал Коля. - Купаться можно!

- О чем речь? - улыбнулась Римма. - Все в наших руках. Вместо аэропорта поедем в Лонг-Айленд. Развилка через два километра.

- С вами, Римма, хоть во Флориду! - раздухарился Коля. Не подумайте, что в том смысле, что на ваш счет. С вами, потому что с вами!

- Ну-ну, не преувеличивайте с пьяных глаз.

На самом деле Римма испытывала счастье (тут не могло быть ошибки), мгновенное, непрощенное, неуловимое, нелогичное, каким только счастье и бывает.

- Разве я пьяный, Римма? - говорил Коля, обращаясь чуть ли не ко всем обгоняющим их и летящим навстречу им машинам. - Я просто выпил по русскому обычаю перед дорогой. Как всегда выпивал. Разве ты раньше не замечала? Как мой отец выпил, когда уходил на войну.

"Когда мы покидали тихий край родной и молча уходили на Восток, - вдруг ни с того ни с сего зашел Коля, - над Тихим Доном, над веткой клена маячил долго твой платок".

- Не слышала такой песни? После войны во всех дворах пели... Не слышала, ты была маленькая... Точнее, тебя еще на свете не было. "Так здравствуй, посевная любовь моя, пусть кружится и падает снежок, на берег Дона, на ветку клена, на твой заплаканный платок".

Никогда еще эти сентиментальные, безыскусные слова не представлялись ему такими прекрасными, точными и справедливыми,

как здесь, на несущемся в неизвестность, безостановочном, неустанном хайвее на виду у самых знаменитых в мире небоскребов и буквых лесов на том берегу голубого в этот день и час Гудзона. "Голубой Дунай" - это словосочетание часто звучало, постоянно было на слуху в его детские годы. Так вот голубым оказался Гудзон.

"... Маячил долго твой платок", - снова пропел Коля с каким-то шемпящим, терзающим душу удовольствием. И вдруг закрыл рукой лицо.

- Ну что ты, Коленька! - переполошилась Римма, чуть не выпустив руль, что ты?! Разве так можно?!

Коля уже стеснялся своих внезапных слез. Вернее, того, что они могут показаться пьяными. Пятерней он насухо вытер щеки.

- Оказывается, можно, Римма. Иначе зачем жить?

Возвращаясь домой, Римма по-прежнему, не сбросив плаща, подходила к аппарату и нажимала кнопку автоответчика - "ансверинг машин". С привычным и уже как бы ритуальным стеснением в груди ожидала знакомого голоса, веселого вопроса, нежной, якобы на-смешливой интонации. Только не могла при этом сама себе дать отчет, откуда должны донестись этот голос и эти интонации: из Тель-Авива или из Москвы. По всему выходило, что из Тель-Авива, но какие-то безотчетные, неясные чувства вдохновлялись Москвою. Хотя проводив Колю в аэропорту до очереди на советский самолет (потной, скандальной, неуверенной ни в себе, ни в чем на свете, даром что разодетой в новую скрипучую кожу), она впервые за последние десять лет пережила испуг. Поверхностный, но одновременно похожий на реакцию какой-то давней, глубинной памяти, может, это ее еврейские гены отозвались ознобом на картину безропотного коллективного унижения, а может, вспомнилась Брестская таможня, такая же, только еще больше затюканная, без вины виноватая очередь, и розовощекий служащий с лицом комсомольского функционера, который без намеков, прямым, как говорится, текстом пообещал ей некоторые побрякушки при досмотре, если она заглянет на полчаса в его служебную комнату, где висят портреты членов Политбюро и стоит в углу почетное знамя из темно-красного бархата.

Она стала вспоминать, рассказывала ли она об этом таможенном предложении Коле? Почему-то только теперь она испытала некоторое беспокойство по поводу своих откровенностей и признаний, мысль о том, что по отношению к Коле она не придерживалась нормальной деликатности, запоздало уколола ее. Римма казнила себя за свою черствость, которая проистекла не от эгоизма, не от жадности благ, а от заикленности на собственных переживаниях. Терзалась, вспоминая, как непростительно мало внимания уделяла она своему гостю, никуда его не сводила, не съездила с ним даже на Брайтон-Бич, не сделала ему никакого подарка и, вообще, временами как бы забывала о нем. Теперь ей хотелось растолковать ему, почему так получилось: но он и без того все понимает и ни на что не претензии.

Она не знала только, что в переполненном, забитом тюками, свертками, коробками, подобном беженскому товарному вагону, вопреки всем законам физики взлетевшем в небо ИЛе, Колю охватила какая-то истерическая тоска.

Он неадекватно нервно, словно бы с тайной обидой отвечал на самые невинные вопросы попутчиков, впадал в раздражение страстными язвительными монологами, будто бы предупреждая восторженные впечатления соседей-пассажиров, спешил красноречиво их уведомить, что Америка не произвела на него особого впечатления. Опасаясь, что спутники заподозрят в нем сноба или, хуже того, типичного "совка", пускался в объяснения душевно эстетического свойства, пугающие случайных собеседников несоразмерно драматическим пафосом, способным намекнуть внимательному слушателю, что дело вовсе не в Америке и ее несовершенствах, а в душевном смятении самого рассказчика. И то сказать, таких внимательных слушателей среди пассажиров рейса Нью-Йорк - Москва не нашлось.

1992 г.



Илья Бражников

НЕОТКРЫТЫЙ ЧЕХОВ, ИЛИ ОСКОЛКИ РАСПАВШЕГОСЯ МИРА

Статья 3. The rest is silence
(Чеховские паузы)

В двух предыдущих статьях мной была сделана попытка рассмотрения творческих установок Чехова, его мировоззрения. В принципе, мне нечего добавить к сказанному. Сегодня, завершая цикл статей, я хотел бы лишь проиллюстрировать ряд своих положений на конкретных примерах из пьесы "Вишневый сад".

* * *

На состоявшемся в ноябре Чеховском театральном фестивале мне удалось увидеть 4 постановки "Вишневого сада". Здесь не место и не время сравнивать эти спектакли, углубляться в их достоинства и недостатки. Скажу лишь об одном маленьком эпизоде, который, на мой взгляд, представляет собой квинтэссенцию чеховского художественного мышления, в сжатом, концентрированном виде выражает специфически чеховское отношение к миру и человеку.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отда-

сложное, - все уравнивается в пра-вах". (А.Герасимова). Но вместе с тем в очередной раз обнажается Ничто: за комическим монологом стоит значимая для всех трагедия ничтожности человека, бессмысленности и пус-тоты его существования.

Этому эпизоду близка по значе-нию сцена с Пищиком в 4-м дейст-вии. Пищик чудесным образом при-обретает деньги, но иллюзорность, ничтожность такого счастья оттеняет-ся напоминанием о смерти:

Пищик. (...) А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую... лошадь и скажите: "Был на свете такой-сякой... Симео-нов-Пищик... царство ему небес-ное"... Замечательнейшая погода. Да... *(Уходит в сильном смущении, но тот-час же возвращается и говорит в дверях.)* Кланялась вам Дашенька! *(Уходит.)*

Жил человек, потом умрет, а на-поминанием о нем, единственным следом - "эта самая лошадь". Только в постановке Ю.Калантарова эпизод выглядел убедительно: Пищик что-то бормочет, пятится, нелепо раскла-нивается, а все остальные молча и внимательно на него смотрят.

"Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба... замирающий, печальный". Что же это еще, как не материализация Ничто, которое на мгновение парализует героев. "Что мы говорим? что мы все здесь дела-ем? зачем мы здесь?" - таков подтекст этих двух пауз. Никто не в состоя-нии объяснить слышащегося с неба звука. Все, что говорят герои, отчет-ливо ощущается как "не то".

Они не могут сказать ничего "во-обще", объяснить то, что творится вокруг. Они ничего не могут объяс-нить друг другу - "не понимают" - а если и понимают, то "чужое слово" чудовищно деформируется в созна-нии каждого.

Епиходов. За границей все давно уж в полной комплекции.

Яша. Само собой.

Что тут значит это "само собой"? Что хотел сказать Епиходов? Что "в комплекции"? Однако Яша соглаша-

ется. Он уловил в словах Епиходова "свое" одобрение "заграницы", кото-рую сам идеализирует.

Любовь Андреевна. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы серо живете, как много говорите ненужного.

Лопухин. Это правда. Надо пря-мо говорить, жизнь у нас дурацкая...

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал...

Лопухин тоже вроде бы соглаша-ется с мыслью Любови Андреевны. Но понимает ли он, что она имеет в виду? Раневская говорит о необхо-димости внутренней жизни, Лопу-хин же слышит упрек в своем "му-жицком" происхождении. "Дурацкая жизнь" для Лопухина и для Ранев-ской означают совершенно различ-ные вещи.

Любовь Андреевна говорит Пете Трофимову о смерти ребенка:

Трофимов. Вы знаете, я сочувст-вую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо ина-че, иначе это сказать...

Но можно ли сказать иначе? Может ли Петя Трофимов, у которо-го "в 27 лет нет даже любовницы", который "выше любви", понять жен-щину, потерявшую сына? Как ска-зать иначе, если у каждого свой опыт, свое понимание, свой язык?

Чехов одним из первых обнару-жил столь актуальную для XX века проблему "неспособности к разго-вору". "Разве не наблюдаем мы в жизни общества в нашу эпоху по-степенную монологизацию челове-ческого поведения? Всеобщее ли это явление, взаимосвязанное с присушим нашей цивилизации на-учно-техническим мышлением?.. Может быть, в этом сказывается решительный отход от самого желан-ия договариваться друг с другом, ожесточенный протест против ви-димости взаимопонимания в об-щественной жизни, по поводу чего иные сокрушаются, видя в том не-способность людей разговаривать?" - задается вопросами Г.-Г.Гадамер, современный философ.

"Тишина... Вдруг раздастся отдаленный звук, точно с неба..."

Что же все-таки это за звук? Кажется, что если разгадать его значение, что-то случится, откроется, разрешится. Но вряд ли это возможно. Каждому в звуке чудится что-то свое. Каждый предлагает свою интерпретацию, каждый по-своему пытается защититься от необъяснимого, от Ничто. Сова? Филин? Цапля? Сорвалась бадья? Одно объяснение абсурднее другого. Но в паузах скрыто что-то еще. Что? Пауза обнажает не только разьединенность героев, разные языки и разную степень понимания происходящего. Пауза еще и объединяет. Герои едины в своем ощущении другого бытия. Это другое связывает их. Их пристальные взгляды направлены в одну сторону. Все скованы одной тайной, причастны к одному и тому же. В паузе нет слов, но есть возможность проявиться другому. Пауза - интервал между ничем не значащими словами. "Между словами, между фразами всегда есть промежуток. Между двумя нотами всегда есть интервал, молчание. Между ними всегда есть момент безмолвия. Если вы сосредоточитесь на интервале, на безмолвии, слова исчезнут, вы выйдете за пределы слов", - так считает индийский мыслитель Шри Раджнеш.

Отбросить слова и понять другое, что стоит за словами, - таково требование Чехова к героям, читателям, зрителям. Таков, если хотите, его пафос. Но только пафоса этого как бы и нет. Есть молчание. Паузы.

А. Турков

ЧЕХОВСКИЙ ЗВУК

В подмосковной деревне, где провел свои, быть может, самые счастливые годы Антон Павлович Чехов, услышал я песню:

Из-под камушка,
Из-под кустика
Течет реченка,
Речка быстрая,
Вода чистая...

Как будто про жизнь и судьбу обитателя скромной мелиховской усадьбы сказано!

Все похоже: и появление на свет в провинциальном городе в самой обыкновенной семье, и обычные будни московского студента-медика, и негромкое начало во второрядных журналах, "проба пера", а потом и долгое оттачивание его в "низких" жанрах коротенького юмористического рассказа, фельетона (а то в просто подписи под карикатурой), наконец, удивительная личная скромность, а главное - все нарастающая такая ясность и простота его художественного языка, которая для многих скрадывала, делала незаметной таящуюся под ней мощь мысли (так, глядя в прозрачную воду реки, не всегда ощущаешь ее подлинную глубину).

Антон Павлович со смехом рассказывал Букину, как однажды в Московском дворянском собрании случайно стал свидетелем того, как известен актер Южин-Сумбатов настойчиво втолковывал популярному тогда беллетристу Потапенке: "Да пойми же, что ты сейчас первый писатель России!" Но вдруг завидел в зеркале подымавшегося по лестнице Чехова и торопливо добавил: "И он..."

Можно было бы заподозрить рассказчика в некоторой утрировке этого забавного эпизода, если бы даже в трагическую пору, почти над самым

гробом великого писателя не звучали весьма снисходительно-высокомерные отзывы: "В этом безвременье... Чехов стоял вовсе не гигантской фигурой... Талант его всегда был и остался второго порядка", и его произведения "похожи на степь с колокольчиками. Но "среди долины ровныя"... не зеленеет "могучего дуба".

Ну, скажут, это все-таки Розанов с его парадоксами и порой ошеломительными, на грани ерничества, дерзостями. Но вот и другой голос: "У Чехова никаких глубин и высот", он похож на старую нянюку, которая в пьесе "Дядя Ваня" утешает больного и раскапризничавшегося профессора. "Я тебя липовым чаем напою". - "Он с особенным искусством умел поить нас липовым чаем... В минуты уныния и усталости отчего и не попить липового чаю. Но жизненное дело творится людьми здоровыми, крепко стоящими на ногах".

Можно подумать, что это Горький громыхнул. Но статья "Липовый чай" принадлежит критику из совсем другого стана - Дмитрию Философову. Дмитрию Владимировичу вторит Дмитрий Сергеевич Мережковский: "... Надо сознательно отодвинуть Чехова в прошлое... Нужным, любовным молчанием окружить память брата нашего... и без боязни стряхнуть его чары... и двинуться от него прочь, дальше - вперед".

Да и многие другие чеховские современники и потомки, особенно в первую послереволюционную пору, были склонны относиться к Антону Павловичу, как к его родному Таганрогу - обмелевшему порту, куда уже в прошлом веке не подходили корабли и откуда отклынула жизнь.

В разгар последней войны, когда Таганрог был захвачен врагом, одна его уроженка мечтала о новой встрече с ним:

Я вернусь к тебе, город Чехова,
После вынужденной разлуки.

Эти строки кажутся мне предвестием нашего позднейшего возвращения в иной, громадный "город Чехова" - в мир его книг, мир высочайшей нравственности и величай-

шей, сейсмографической чуткости к тому, что творится в мире и в человеческих душах.

"Увидев слезы, он плачет, - говорится в рассказе "Припадок" о художнике Васильеве, - около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь".

Любопытно, что многие исследователи предпочитают цитировать эти слова не полностью, видимо, стесняясь упоминания о "трусости" героя. Однако перед нами "трусость" удивительная: "струсив, бежит на помощь!"

Известно, что Чехов придал Васильеву черты только что погибшего тогда писателя Всеволода Гаршина. "... Таких людей, как покойный Гаршин, - говорится в одном из чеховских писем, я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним..." Но он и сам был таким человеком. "Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах...", - было сказано им однажды отнюдь не для красного словца.

Взволнованный мыслями о том, что на каторге "мы сгноили миллионы людей", Чехов "трусит": пускается в долгий, трудный, небезопасный и уж отнюдь не полезный его уже надорванному здоровью путь на далекий Сахалин, ставя своим поступком в тупик друзей и знакомых, скрупулезно изучает тамошние порядки (чего стоит одна только самолично проведенная им перепись местного населения!) и создает целую книгу-исследование, крайне суровую, но начисто лишенную крикливой сенсационности и поверхностного разоблачительства.

Оказавшись по Франции во время позорного "дела Дрейфуса", замешанного на почве антисемитизма, от которой, по гневно-брезгливому выражению Антона Павловича, пахнет бойней, Чехов, "струсив" в очередной раз, откровенно выкладывает Суворину, что он думает об участии газеты этого даннего чеховского зна-

комца в нападках на оклеветанного офицера и вступившегося за него Эмиля Золя.

Наконец, когда Российская Академия наук в угоду царю отменяет решение об избрании почетным членом Максима Горького, Антон Павлович вместе с другим "трусливым" коллегой, Владимиром Короленко, сами отказываются от этого звания.

Этой высокой этической позицией во многом обусловлено и эстетическая позиция писателя. Отвращение, которое он питал ко всякому насилию, давлению на человека, обернулись в его стиле величайшей сдержанностью, отказом от категоричности, от назойливого подсказывания читателю. Чеховский читатель свободен от авторского диктата, предвзятости, навязчивого морализирования, указующего перста. "Все великие мудрецы деспотичны, как генералы...", - непримиримо заключает он свой отзыв о толстовском послесловии к "Крейцеровой сонате", не смотря на свое величайшее уважение к великому писателю.

Будучи врачом, Антон Павлович, как вспоминают, очень любил выписывать рецепты. Зато как художник, никаких готовых рецептов, как толковать ту или иную жизненную ситуацию, как в ней должно поступать, не предлагает, предоставляя своей аудитории огромный простор для самостоятельных размышлений.

Эта чеховская уклончивость от прямолинейных суждений и оценок и в ту пору, и позже вызвала неодобрение людей, без лишней скромности убежденных, что именно они владеют исчерпывающей истиной, истиной в последней инстанции. Так, прочитав "Невесту", писатель Версаев объявил автору, что "не так девушки уходят в революцию" (Антон Павлович сдержанно ответил, что "туда разные бываюч пути", да мог бы и более категорично оспорить слишком однолинейное, как бы мы ныне сказали - плакатное, истолкование финала рассказа младшим коллегой). Известный большевистский

критик Воровский, благосклонно отметив, что в последних произведениях Чехов сделал определенный шаг вперед, вместе с тем весьма свысока отозвался о "робком, неуверенном предчувствии" писателем наступающих событий (имелась в виду революция). А в советское время даже прекрасный критик А.Роскин сетовал на то, что писатель вглядывался в будущее недостаточно зорко.

На все эти упреки можно было бы ответить замечательным афоризмом знаменитого шахматиста Рихарда Рети: "В чем разница между сильным и слабым игроком? - Там, где для слабого все ясно, для сильного все - тайна!"

В чеховских произведениях жизнь предстает в удивительном хитросплетении поэзии и прозы, трагедии и фарса, взлетов и падений, надежд и разочарований. И эта переливчатость, живая изменчивость чеховских красок, отблески, которые бросают они друг на друга, таковы что порождают самые разные мысли об изображаемом, о мире, о людях.

Споря с теми, кто писал о "неопределенности", "незавершенности" чеховских произведений, один из критиков (А.Горнфельд) пронизательно заметил, что "это не отсутствие художественного конца - это бесконечность, та победительная, жизнеутверждающая бесконечность, которая неизменно открывается нам во всяком создании подлинного искусства".

Случается, что исследователи пресерьезно, с полнейшим сочувствием цитируют высказывание одного из персонажей повести "Три года" - Кости Кочегово: "Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу... Те же романы и повести, где ах да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, - такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их поberi".

Однако сказаны-то эти слова чеховском, который сам писал бездарные повести и, по явно проницательно-

му замечанию Чехова, обнаруживал "необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно".

Сюжет же, столь пренебрежительно изложенный Кочевым: "Она его полюбила, а он ее разлюбил", - это, в сущности, канва событий, развивающихся в самой повести "Три года" (да и только ли в ней). Так - в который раз в искусстве - "из-под камушка, из-под кустика течет реченька..."

Чехов входил в литературу в атмосфере, которую Томас Манн позже с горькой иронией характеризовал как "беспечную самоуверенность клонящегося к закату буржуазного века". Так, накануне всемирной выставки 1900 года один русский журнал потешался, напоминая о том, как некоторые европейские правительства десять лет назад колебались принять участие в подобной же выставке, словно страшась "того зловещего призрака революции, памяти о которой она посвящалась" (то есть столетию Великой Французской), и самоуверенно заключал: "Ныне же никаких таких признаков не имеется, а открывается только всем широкая и светлая перспектива грядущего века".

В тихих же и "сумеречных" ("В сумерках" назывался один из первых сборников Антона Павловича) чеховских произведениях нет-нет да и вспыхнут какие-то тревожные зарницы.

Любопытно сопоставить с провалившейся на первом представлении в Александринском театре "Чайкой" и с прошедшей почти не замеченной критикой повестью "Три года" появившуюся почти одновременно с ними, имевшую шумный сценический успех и увенчанную премией пьесе Вл. Немировича-Данченко "Цена жизни".

Если в "Чайке" в первых актах драматизм еще еле брезжит и, все нарастая к концу, разрешается трагическим трешлевским выстрелом, то в "Цене жизни" самоубийство одного из персонажей предшествует дейст-

вию и вроде бы обнаруживает какое-то неблагополучие в семействе фабрикантов Демуриных. Однако затем все на диво быстро улаживается. Данило Демурин, возмущенный было изменой жены с застрелившимся техником, после первой вспышки проникается сочувствием к ее смятению и горю, великодушно ее прощает, окружает заботой и стремится втянуть в круг своих трудов ("А вот как заставим ее войти во все наши интересы да потрудиться, так и не узнаете ее - вот какая будет веселая", - обещает он). Данило даже уже готов прислушаться и к каким-то реформаторским гуманным проектам своего брата Германа, против которых дотоле восставали его старозаветная мать и сестра.

Вот уж где "липовый чай"! И как это разительно не похоже на тревожную тоску чеховских героев, на любовную драму супругов Лаптевых, на порывы "миллионщика" Алексея бросить это чужое ему и опостылевшее дело, на надрыв его брата Федора, наконец, на мысли, одолевающие лаптевского приятеля, учителя Ярцева, который пророчит, что "Москва - это город, которому придется еще много страдать" ("Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев..." - говорит в одном из чеховских набросков этого времени).

"О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именовитый купеческий род!" - горестно восклицает Алексей Лаптев, и вскоре в пьесе "Вишневы сад" ему зычно отзовется Лопахин: "О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь". Эти чеховские купцы уже "выламываются" из привычной колеи существования, во многом предваряя фигуры будущих горьковских персонажей вроде Егора Булычева.

В письме к драматургу Гославскому, говоря о героях его пьесы - художниках, Чехов заметил, что "за их спинами не чувствуется ни русская природа, ни русское искусство с Толстым и Васнецовым". За его же собственной спиной мы живо ощу-

щаем все это, всю "вредную мать - сыру землю" русской истории, действительности и порожденного ею искусства.

Один из первых издателей молодого автора, еще скрывавшегося под именем Антоши Чехонте, популярный тогда юморист Лейкин как-то похвастался, что "Щедрина нового открыл". Разумеется, это было преувеличение, но творчество великого сатирика, бесспорно, повлияло на развитие чеховского таланта любопытно, кстати, что Щедрин одним из первых оценил его "Степь". Разумеется, что и это, и лесковское влияние воспринималось Чеховым в сложнейшем сплаве со всеми другими литературными воздействиями, притяжениями и отталкиваниями: от общепризнанного толстовского (стремление к беспощадному психологическому анализу, улавливанию тончайших душевных движений) до куда более приглушенных и трансформированных отзвуков Достоевского (так, лакей Раневской Яша - "дальний родственник" Смердякова из "Братьев Карамазовых").

Именно Чехов унаследовал и развивал такие традиции отечественной литературы, которые впоследствии надолго оказались в забросе и пренебрежении. В некоторых работах об отношениях его с Горьким они выглядели не только совершенно идилически, но Чехов слегка напоминал печальную Машу из "Трех сестер": если та напутствовала пролетающих журавлей, то Антон Павлович чуть ли не с восторженной завистью следил за взлетом "буревестника"... Однако в действительности он вряд ли соглашался с Горьким, когда тот патетически декларировал: драка это жизнь, и не столь уж важно кто победит! Даже, быть может, по своему, негромко возражал ему, несколько утрировав патетику речей "вечного студента" Трофимова в "Вишневом саде" (пьесе, решительно не нравившейся Горькому) и, придав явно ироническое звучание постоянному присловью трофимов-

ского "родича" - такого же студента Саши в рассказе "Невеста": "Главное - перевернуть жизнь, а все остальное неважно".

"Сильный игрок" (помните афоризм Рети?), Чехов - вслед за Герценом и Щедриным - заглядывал дальше "переворота". Салтыков-Щедрин признавался, что при мысли о будущей победе в "драке" его тревожит зрелище вереницы победленных, влекущихся за колесницей триумфатора, а Герцен отваживался писать "старому товарищу" - Бакунину: "Я не верю в прежние революционные пути... Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию..."

Примечательно, что даже в сравнительно раннем чеховском рассказе "Чужая беда" история о продаже имения - вроде бы совсем неожиданно для человека "такого родовитого" (по улыбочивому выражению писателя Эртеля) происхождения (из крепостных крестьян), каким был Антон Павлович, приобретает многозначительно-драматический аспект: "Многое нужно было сломать, чтобы забыть о чужой беде".

В последней же пьесе Чехова эта тема приобретает еще более явственное звучание. Ведь даже в смешном "недотепе" Фирсе ощутимо нечто трагически-возвышенное, роднящее его не только с трогательно, самозабвенно преданным Гриневу Савельичем, но даже - дерзну сказать! - с героем "Медного всадника", не покинувшим бесконечно дорогой ему, опустошенный стихией дом:

У порога

Нашли безумца моего,

И тут же хладный труп его

Похоронили ради бога.

Порой кажется, что чеховские слова, сказанные в частном письме и по частному поводу, обретают иной, несравненно более широкий смысл - как итог всего им сказанного и завещанного потомкам: "Мне кажется... я получил право жить на пространстве, которому не видно конца". (Кстати, и в одном романе Владимира Набокова с доброй улыбкой замече-

но, что "в чеховской корзине провинит на много лет вперед...").

Таково одно из многочисленных чудес чеховского искусства - умерший в самом начале века, задолго до главных его потрясений и порой неблагодарно "забывавшийся" нами где-то там, в прошлом (почти как Фирс в запертом доме) он и нынче способен подсказать многое в сегодняшней злободневности, когда иные снова норовят по-трофимовски, в два счета управиться со сложнейшими проблемами: "Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!"

И словно в ответ звучат рассудительные слова чеховского мужика из рассказа "Новая дача": "Хочешь, значит, к примеру, посеять на этом бутре хлеб, так сначала выкорчуй, выбери камни все, да потом вспаши, ходи да ходи... И с народом, значит, так... ходи да ходи, пока не осилишь".

Сквозь гул митинговых речей, ярких обличений, громовых анафем вновь и вновь доносится до нас, как в последней чеховской пьесе, этот "отдаленный, точно с неба... замирающий, печальный звук" тревожной, человеческой мысли и высокого искусства.

Марианна РОГОВСКАЯ

"Я НАВСЕГДА МОСКВИЧ..."

"... Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот никогда не уедет из нее. Я навсегда москвич. Такова уж моя "планида", чтобы остаться навсегда в Москве... Тут мой дом и моя карьера".

А.П. Чехов

В этот вечер все окна чеховского "дома в Кудрине" светились. Мы с писателем В.Г. Лидиным подошли к воротам музея и увидели необычную афишу: "У нас сегодня музыка". Действительно, из окон второго этажа доносились звуки "Осенней песни" Чайковского. "Помните, - сказал Владимир Германович, - Антон Павлович любил устраивать в этом доме музыкальные вечера и обычно так приглашал гостей: "Приходите к нам сегодня вечером, у нас будет музыка!"

Конечно, я помнила это, потому что заново перечитала все письма Чехова - готовилась с волнением и трепетом к новой, ответственной встрече с любимым писателем. "Мне же предстоит работать в Доме Чехова!" - подумала я.

Как будто прочитав мои мысли, Лидин, старый друг чеховского музея, сказал: "Вам предстоит почетная и трудная миссия - стать хозяйкой этого Дома".

Это было осенью 1969 года.

До этого я уже десять лет работала в ГЛМ - Государственном Литературном музее. Он помещался тогда в доме № 38 по Большой Якиманке (теперь она называется улица Димитрова, а давно пора бы вернуть этой старой замоскворецкой улице ее исконное название). Бесценные сокровища музея размещались в небольшом двухэтажном купеческом особняке, которого давно уже нет на свете - снесли вместе с другими старинными домиками весной 1972 года,

перед приездом президента Никсона (москвичи этот безжалостный снос с горькой иронией называли "операция книксен").

Музея нет, старинную Якиманку не узнать, но память крепко удерживает облик красивой уютной улицы, над которой возвышались только златоглавая колокольня Ивана Воина церкви Иоакима и Анны (отсюда и название Якиманка), да обезглавленная церковь Казанской Божьей Матери, в которой помещался кинотеатр "Авангард", куда мы иногда убегали с работы смотреть первые фильмы Феллини.

Каждый раз, проезжая по Якиманке, я притормаживаю в одном и том же месте, на секунду бросаю взгляд направо, чтобы еще раз зафиксировать в памяти: вот здесь, наискосок от современного, помпезного здания гостиницы ЦК, стоял такой любимый, со студенческих лет знакомый домик № 38. И этот дом жив, ибо не умеют радовать не только люди, которых мы верно любим, но и дома, в которых заключена была эманация нашей души и которые мы помним.

А недалеко от него находился известный книжный магазин, куда любили заходить старые московские интеллигенты, куда часто заезжал мой отец Евгений Наполеонович Роговский. Там он и познакомил меня, еще студентку, с Сергеем Городецким, К.И. Чуковским и В.Г. Лидиным.

Я тогда увлекалась русским фольклором. Каждый год, и в летние и в зимние каникулы в группе студентов филфака отправлялась в экспедиции за русскими народными песнями, сказками, балладами, частушками, былинами, тогда еще и не подозревая, что скоро стану хранителем всех этих богатств, и буду ездить, как на праздник, на работу в Литературный музей.

Десять лет пролетели незаметно, и уже думалось, что так и проработаю всю жизнь заведующей отделом фольклора... Но тогдашнему директору Литмузея подумалось по-другому: что работа в архиве слишком

тихая для молодого научного сотрудника. Мне предложили перейти в музей Чехова и стать его заведующей.

Я колебалась, не спала ночами, не решалась. "Ничего, будете самым молодым директором в Москве", - сказал мне К.И. Чуковский.

И вот началась работа моя в музее Чехова, вернее какая-то особая жизнь в атмосфере чеховского дома, где каждая вещь, тихий скрип деревянных ступеней, пожелтевший листок его рукописи говорили о жизни, исполненной высокого смысла и добра, напоминали о "прекрасных днях", которые прожил здесь доктор Чехов, писатель Антон Павлович Чехов.

Этому дому № 6 по Садовой-Кудринской улице в 1994 году исполнится 120 лет.

Многие знают и любят этот дом. Но мало кому известно, как развивалась история музея Чехова.

1 марта 1912 года на имя Его сиятельства господина директора Румянцевского и публичного музеев поступило официальное письмо такого содержания: "Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Вашему сиятельству с покорнейшей просьбой поставить на обсуждение и решение Совета музеев следующее наше предложение:

Мысль о создании Чеховского музея в Москве при одном из Московских общественных учреждений давно уже назрела. О нем много писали в печати и говорили в литературных кругах с 1904 года. Таганрог и Харьков положили уже начало осуществлению этой идеи, Москва же, столь тесно связанная с жизнью и творчеством Антона Павловича, до сих пор еще ничего не сделала для увековечения его памяти. Между тем, ей всего естественнее и легче было бы собрать наиболее значительные материалы по Чехову, так как и теперь в ней всего больше находится пока близких к Антону Павловичу лиц и относящихся к нему библиографических и историко-литературных материалов. Если момент будет упущен, многое может погибнуть совсем или

попасть в другие, провинциальные музеи.

Ввиду этого, мы предлагаем создать при библиотеке музеев особый Чеховский музей, причем, берем на себя и доставление нужных на его оборудование средств, собирание и передачу в музей всех доступных нам материалов по Чехову" и т.д.

Письмо подписали Мария и Иван Чеховы, Ольга Книппер и Вл.Каллаш.

15 марта уже состоялось заседание Совета музеев, на котором единогласно было решено: "учредить при библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев "Чеховский музей".

Известие об этом решении весьма благожелательно встретила московская пресса: "Антон Павлович прежде всего принадлежит Москве". В "Отчете Румянцевского музея за 1912 год" говорилось о необходимости развернуть музей А.П.Чехова в "музей Чехова и его эпохи". На странице 154 этого отчета есть такие слова: "Будущность чеховского музея в руках самого русского общества, и только при его внимании и поддержке новый музей может достигнуть такого положения, чтобы хоть несколько заслужить честь быть связанным с именем самого дорогого и близкого для всякого русского писателя".

Началось формирование чеховского фонда, уже вырисовывался музей, но помешала война, затем революция...

Как же все-таки развивался сюжет "чеховского музея"? Изучая историю чеховского фонда, досконально проработанную замечательным музейным работником Е.Н.Дунаевой, я не раз испытывала ощущение, что драматизм судьбы Чехова как бы распространился и на судьбу его музея. Долгое-долгое время у музея не было ни помещения, ни средств, так что его существование было по сути дела эфемерным.

Что же касается чеховского архива, то тут уже сюжет приобретает порой повороты прямо-таки детективные.

Основная часть архива - рукописи, фотографии, письма к Чехову - находилась у М.П.Чеховой, которая вначале хранила его в Ялте, а потом увезла в Москву, где она приобрела кооперативную квартиру на Долгоруковской ул., д. 29. Перед самой революцией, в начале октября 1917 года она решила надолго уехать в Ялту. Архив брата оставила в Москве. Одна его часть находилась в ее кооперативной квартире, другая же, наиболее ценная, лежала в сейфе № 315 банкирского дома братьев Джамгаровых.

В конце 1917 г. сейф в банке Джамгаровых был национализирован, а то, что в нем хранилось, поступило в Государственные хранилища (в 1918 г. - Главархив при Наркомпросе, с 22 года - Центрархив).

Мария Павловна вначале ничего не знала о судьбе сейфа.

4 сентября 1918 г. она написала Горькому письмо с просьбой взять сейф и квартиру под охрану. Письмо до адресата не дошло - связь Крыма с Москвой была нарушена до конца 1920 года. Только в начале 1921 г. из Москвы пришло страшное известие о том, что квартиру ее, в которой находился архив Антона Павловича, разорили. Часть вещей перевезла к себе племянница Ольга Леонардовны Книппер.

7 января 1921 г. Мария Павловна писала В.Э.Мейерхольду: "Я прошу Вас оказать содействие - выхлопотать охрану этих вещей. Ведь это не мой личный интерес".

Летом М.П.Чехова приехала в Москву, чтобы выяснить судьбу Чеховского архива. После долгих поисков она нашла след сейфа...

В апреле 1922 г. она писала: "Самое существенное (из) архива погибло в сейфе Джамгарова. Два с половиною месяца в Москве я старалась найти хоть что-нибудь - был последний ответ великих мира сего - "сейф обезличен". Письма Ант.Павл. ко мне и др. лицам признаны государст(венной) собственностью) и теперь хранятся в Госархиве. Я их видела и

трепетными руками сама положила в картонный ящик, который выпросила у заведующего, т.к. они были небрежно засунуты в стенное отверстие; многого недостает, прямо сердце кровью обливается, как вспомнишь пережитое в Москве. Боюсь, как бы в это хранилище не запускали рук недостойные..."

Под угрозой находились и вещи, уцелевшие после разорения квартиры Марии Павловны в кооперативном доме, который был национализирован и передан рабочей коммуне. Тревожным было и положение в Ялте. Таким образом, оставался единственный выход: передать вещи под охрану государства, создать в Москве музей Чехова. Это предложение получило полную поддержку Наркомпроса.

Шел четвертый год Советской власти. "Жизнь еще не устроена, холодные, нетопленные квартиры, питание по карточкам, занесенные снегом улицы, по которым неторопливо, с длительными остановками, ползут трамваи, да везут своих седоков уцелевшие еще с царского времени извозчики, - вспоминает те годы директор музея МХАТ Ф.Н. Михальский. - Творчество Чехова берется под сомнение. Журналы прокламируют, что переживания "дяди Вани и тети Сони" совсем не нужны, далеки от новой жизни. Чехова в театрах не ставят. Только в Художественном идет "Дядя Ваня", идет под постоянным обстрелом театральной и реперткомовской критики. Да и сами создатели Художественного театра порой задумываются, нужна ли сейчас в суровые дни гражданской войны... нежная лирика Чехова?"

И поэтому чудом кажется то, что в такой дикой атмосфере в 1921 году все же было принято решение о создании музея Чехова в Москве.

Но где был этот музей? Фактически его не было.

"Я искала помещение с великим миром сего целых два с половиной месяца и ничего не могла найти", - писала М.П.Чехова 2 марта 1922 г.

В конце концов удалось снять несколько комнат в доме № 29, кв. 51 на Малой Дмитровке (сейчас ул. Чехова), бывшем доме Фирганга, куда семья Чеховых переехала после отъезда Антона Павловича на Сахалин (сейчас на этом доме мемориальная доска).

В это помещение перевезли все уцелевшие вещи из квартиры Марии Павловны. Туда же переехала М.Шахина, прислуга М.П.Чеховой - первый сотрудник музея. Приехал в Москву из Ялты и Е.Э.Лейтнекер, активно включившийся в хлопоты по организации музея. До этого он работал в краеведческом музее в Ялте и был активным членом чеховского общества. В своих письмах к М.П. он несколько раз упоминал о том, что ему удалось "выправить охранную грамоту" на 3 комнаты в бывшем доме Фирганга, - "дабы совершенно обезопасить фонд Чехов(ского) музея от сомнительного и нежелательного соседства. Таковое может возникнуть в порядке уплотнения квартир". Но... охранной грамоты в архивах не обнаружено.

Положение московского музея по-прежнему оставалось весьма неопределенным почти фантастическим: было неясно, кому подчиняется музей, кто им руководит; хранитель его - М.П.Чехова - жила в Ялте, настоящего музейного помещения не было, средств не было, количество экспонатов было ничтожным. Не удалось вернуть ни мемориальные вещи из разграбленной кооперативной квартиры М.П.Чеховой, ни пропавшие реликвии из сейфа № 315 в банке Джамгаровых. А М.П. до конца своих дней утверждала, что пропало многое (в том числе брелок, подаренный Чехову Авиловой). Время шло, начались раздоры между М.П.Чеховой и активистами музея; положение из неопределенного превращалось в катастрофическое. На помощь пришла Российская общественность. Для поддержки музея было создано "Общество друзей музея имени Чехова", первое учредительное собрание его состоялось 29

января 1922 г., в день именин Анто-на Павловича. Председателем был избран В.И.Немирович-Данченко.

В газетах и журналах стали часто печатать информации о новом музее. Вскоре хлынул буквально поток чеховских материалов от отдельных лиц и учреждений. Одновременно музей получил свое первое помеще-ние в бывшем доме Морозова на Пречистенке (Кропоткинская, 21). Здесь осенью 1922 года была открыта первая Чеховская выставка.

Казалось, фортуна повернулась лицом к многогральному музею...

Но только в 1954 году, после долгих злключения и нескольких переездов музей расположился в мемориальном Чеховском доме, про который Антон Павлович писал: "О доме в Кудрине я вспоминаю с особенным чувством, и эти воспоминания не бледнеют от времени".

Сам по себе этот двухэтажный особняк, выходящий двумя эркерами на Садовое и несколько напоминающий старинный комод, большой архитектурной ценности не представляет. Все дело в том, что впервые сравнил этот дом с комодом не кто иной, как Чехов: "Живу я в Кудрине, против Четвертой женской гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод, цвет дома либеральный, то есть красный".

Вспомним, что комодом называли дом Трубецких у Покровских ворот. Может быть, Чехову было известно это сравнение?

27 августа 1886 года Чехов переехал сюда с семьей с Якиманки, сменив до этого более десятка квартир.

"Квартиру нашел я себе (650 р. в год) в Кудрине, на Садовой, дом Корнеева... Место чистое, тихое и отовсюду близкое, не то, что Якиманка... Квартира, если верить сестре, хороша. Собака-домовладелец требует плату за два месяца вперед, а у меня сейчас ни шиша". У издателя Лейкина было занято 70 рублей, чтобы внести задаток, и вот, наконец, впервые в жизни у молодого писателя появился свой Дом, своя маленькая крепость!

Как же выглядела тогда, 100 лет назад Садовая-Кудринская улица? На этот вопрос нам отвечает сам Антон Чехов: "Зеленые деревья Садовой напоминают мне Бабкино, в котором отшельником провел я три года незаметных". Улица тогда действительно соответствовала своему названию - зеленая, тихая, малолюдная, просторная. Сейчас это одна из самых напряженных, шумных и загазованных магистралей столицы. И я это ошущала в течение многих лет; несмотря на то, что окна моего кабинета выходили во двор, с улицы постоянно доносился грохот и чад Садового кольца. Но в одно воскресное летнее утро (мы ведь работали и по воскресеньям) я вдруг ощутила нечто необыкновенное: зазвенело в ушах от... тишины и вместо запаха бензина в комнату влетел аромат цветущих лип.

Мистика! Мне почудилось, что я перенеслась на сто лет назад, в тишину чеховского дома, даже померещилось цоканье копыт по мостовой. А на самом деле просто было перекрыто движение по Садовому кольцу: по нему бежали физкультурники...

Вернемся же все-таки на сто лет назад:

"Переездная суতোлка, возня с убранием комнат, угар новой квартиры и сплошное безденежье совсем сбили меня с панталыку". "Я безденежен до мозга костей"... "У меня тоже есть "родственный клобок"... Впрочем, мой клобок, если сравнить его с наростом, представляет из себя нарост доброкачественный, но не злокачественный. Клобок мой отлично шьет мне сорочки, отлично варит и всегда весел. Зимой клобок состоит из 8 человек, а летом из 5 (в том числе 2 прислуги). Во всяком случае, мне чаще бывает весело, чем грустно, хотя, если вдуматься, то я связан по рукам и ногам... У Вас, батенька, квартирка, а у меня целый дом, хоть и паршивенький, но все-таки дом, да еще двухэтажный... У вас жена, которая простит Вам безденежье, а у меня порядок, который рухнет, если я не заработаю определенного коли-

чества рублей в месяц, рухнет и повалится мне на плечи тяжелым камнем".

Безденежье, сплошное безденежье... Это состояние, как будто на все времена, было предначертано русской интеллигенции.

В этом состоянии находились и почти все научные сотрудники музеев, в том числе и чеховского. Приходилось проводить иногда по 3-4 экскурсии в день, а зарплата у молодых филологов, выпускников МГУ была 100 рублей. Никаких особых переживаний у нас по этому поводу не было. Как будто так и должно было быть. Но что думали об этом наши дети? В нашей семье часто вспоминается один эпизод. Мой сын, который тогда уже учился в школе и стал там "набираться ума-разума", однажды пристал ко мне как с ножом к горлу: "А почему у других ребят мамы в университете не учились, но получают много и на работу ходят редко, а у тебя диплом с отличием, а получаешь ты меньше всех и каждый день работаешь?"

Что я могла ответить? Я могла объяснить ему, что литература, служение ей, само чтение книг составляют радость и смысл нашей жизни, что в этом собственно и состоит ее суть. Что в этом - вековые традиции нашей семьи. Что его дед, мой отец, никогда не дороживший никакими вещами, всегда, даже в голодное послевоенное время, покупал книги, отказывая себе во всем. Эту страсть его к книгам знали все соседи в нашей коммунальной квартире, и во время войны, когда, страдая от лютого холода, сожгли постепенно все до последней щепки и бумажонки, все-таки папины книги не тронули. Все это я не раз рассказывала сыну. Я могла ответить ему чеховской фразой: "... Я люблю шум больше, чем гонорар".

И впоследствии мой сын понял и оценил все это. Но тогда он был еще ребенком. А детей невозможно убедить ни железной логикой, ни пафосом, ни предельной искренностью, ни юмором. Их надо обескуражи-

вать. И я ответила просто: "Потому что мне так нравится". Эффект был поразительный: сын тут же бросился к телефону и торжественным тоном объявил отпрыску толстосумой мамаше: "А моей маме нравится работать каждый день и получать 130 р. Зато нам ночью с Петровки 38 звонят, у них в музее сигнализация срабатывает, и мама тогда ездит и на хлебных, и на военных машинах, и на поливальных, и даже на самосвале!" Действительно, по ночному сигналу с Петровки 38 случалось ездить и на хлебных, и на поливальных. И значительную часть жалкой музейной зарплаты приходилось тратить на такси. Но не могу не вспомнить о том, как почти всегда отводили мою руку с трешкой или пятеркой водители самосвалов, хлебных и поливальных, узнав, что я спешу в дом Чехова.

Надо ли здесь говорить о том, с каким чувством преклонения и любви относятся простые люди в нашем городе к имени А.П. Чехова.

По какому-то странному, мистическому или случайному совпадению буквально на другой день после этого разговора я, перечитывая письма Чехова, наткнулась на такое письмо. "Каждый день приходится тратить на извозчика более рубля. Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных. Что будет дальше - неведомо, теперь же грешно жаловаться. Скажи пожалуйста, душа моя, когда я буду жить по-человечески, то есть работать и не нуждаться?"

Этот "проклятый вопрос", как туча, всю жизнь нависал над великим тружеником Чеховым. Смолоду он относился к нему легко, с юмором: "Работаю ужасно много: пишу пьесы для Корша, повесть для "Русской мысли", рассказы для "Нового времени", "Петербургской газеты", "Осколков", "Будильника" и проч. и проч. Мечусь, как угорелый: начинаю одно, не кончив другое. Привинчиваю себя к столу, липну к своему креслу. Только отдыхаю, когда езжу к больным... Мамаша и тетя

Федосья Яковлевна прозвали меня за домоседство "дедом". Не будем забывать о том, что в эти годы Чехов постоянно работает как врач. "Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор, а все-таки лечить приходится. Принимаю я ежедневно, от двенадцати до трех часов. Для литераторов же мои двери открыты настежь день и ночь..." "Медицина моя шагает помаленьку. Лечу и лечу..."

Но постепенно в письмах Чехова, в его высказываниях прорывается раздражение, мы чувствуем, как глупок временами его пессимизм. "Я безденежен до мозга костей. Работаю от утра до ночи, а толку мало. Не знаю, как у Золя и Щедрина, а у меня утарно и холодно".

"Я поглупел и потускнел, вероятно, я уеду куда-нибудь. Куда? Не вем..."

"Вообще живется мне скучно, и начинаю я временами ненавидеть, чего раньше со мной никогда не было, длинные глупые разговоры, гости, просители... Такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня займы и не отдают, книги тащат, временем моим не дорожат. Не хватает только несчастной любви."

И все же, несмотря на все это, Чехов доволен своей "оседлой" жизнью и своим новым жилищем: "Живем сносно, есть пианино, мебель хорошая..." "Указав на аквариум, пианино и мебель, Чехов сказал: "Хорошо быть литератором... Это все дала мне литература", - вспоминает писатель Лазарев-Грузинский. "Литературную мебель" получил брат Антона Павловича - художник, от издательницы юмористического журнала "Будильник" Уткиной, когда та потерпела финансовый крах и вместо гонорара отдала сотрудникам журнала мебель из редакционной квартиры.

Быстро, дружно и весело трудолюбивая семья Чеховых обустроила новое жилище. Очень многое сделали сами, "ибо к этому с малолетства приучены".

Убранство дома получилось простым, скромным, но уютным. Осо-

бенно гордились молодые Чеховы лестницей на второй этаж, шутили часто, что лестница у них "как в Благородном собрании": на ступеньках ее лежала красная ковровая дорожка, перила были обтянуты красным бархатом-манчестером.

Две комнаты Антона Павловича (кабинет и спальня) были на первом этаже. Описывать обстановку кабинета не имеет смысла - это типичный кабинет небогатого московского интеллигента того времени. И в то же время он очень чеховский. Письма Чехова передают особое настроение его кабинета: "На дворе идет дождь, в комнате у меня сумеречно, на душе грустно..." Не оттого ли первый, составленный в этих стенах сборник рассказов Чехов назвал "В сумерках"?

На письменном столе, кроме настольной лампы под зеленым абажуром-козырьком, бронзовые подсвечники в форме драконов - в темноватом своем кабинете Антон Павлович любил работать при свечах.

Все скромно и просто в этом кабинете. Как будто ничто не поражает. Но... в нем присутствует дух Чехова. Почти каждый, приходящий сюда, ощущает это. Каждый по-своему.

С легкой руки К.И. Чуковского, написавшего книгу "Мой Уитмен", пошло: "Мой Пушкин", "Мой Чехов" и т.д. и т.п. Еще более высокопарно свою книжку о Чехове назвал С.П. Залыгин - "Мой поэт".

Мне кажется, вообще как-то неловко сказать о ком-либо, кроме своих родственников, "мой", а тем более - о Чехове. Его бы это присвоение, наверное, рассмешило и покорибило. Он мечтал о даровитом читателе, о читателе целомудренном. Поэтому просто невозможно нецеломудренно говорить о нем.

Конечно, в душе каждого читателя - свой образ Чехова. Есть он и у меня.

Но это - фантом. Он неопределен, неуловим. Всегда незримо присутствует в моей жизни. Всегда перед глазами его милое грустное лицо.

Какой-то особенный свет,

Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

В те незабываемые дни, когда большая часть моей жизни проходила в музее Чехова, Он, хозяин и душа этого дома, иногда вдруг "вплывал", как мираж, в свой маленький замок на Садовой, озаряя "особенным светом" кабинет и крутую лестницу, на ступеньке которой я сидела в темноте поздним вечером, думая свою думу о Нем. А сколько было передумано! Сколько раз казалось: вот, наконец-то, вот приходит постижение чеховской тайны, загадки! Но нет. Как был он для всех загадкой, так и остается, глубоко затаившись в тишине и чистоте своего душевного одиночества. У него была гемма-печать со словами: "Одинокому везде пустыня".

Но его не пугает одиночество, оно - плодотворно: "Мне нужно одиночество и время..."

С темой одиночества связана и одна из самых драгоценных для меня мыслей Чехова: "Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по России там и сям... В них сила, хоть их и мало.

Несть праведен пророк в отечестве своем, и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна, что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер... и все это делается... несмотря ни на что".

Один из критиков начала века назвал Чехова рыцарем писательства. Я воспринимаю его именно так. Рыцарь. "Без страха и упрека, без недоброжелательства и зависти... Вообще без литературы любимой Чехову жизнь не в жизнь".

Жизнь Чехова... Его писательская жизнь... Ведь в этом доме доктора Корнеева на Садовой-Кудринской началась для него "пора творческого половодья". Как жилось ему в это время? Как он писал? Все

хотелось представить до мельчайших подробностей.

Вот он за письменным столом. Пишет? Читает? Заставляет себя работать? Да, он часто делал над собой усилие: "Привинчиваю себя к столу, липну к своему креслу".

С оттенком осуждения признавался в бездействии: "Я разленился, пословел и опять выпадаю в хандру. Не работаю. Сажу по целым дням на кресле и гляжу в потолок".

"Не работаю, а читаю или шагаю из угла в угол." Его привычку шагать из угла в угол отмечали многие. Вот отрывок из воспоминаний дочери домохозяйки М.Л. Корнеевой: "Окна нашей залы находились как раз напротив окон чеховского флигеля. Я частенько наблюдала за Антоном Павловичем, как он писал... Лампа под зеленым абажуром бросала легкие блики на его склоненное лицо... Иногда он вставал и, заложив руки в карманы, начинал вышагивать целые часы по кабинету, обдумывая свои произведения".

Окна первого этажа чеховского дома низкие. Иногда к нему заглядывали знакомые. "Чехов сидел один за освещенным окном и что-то быстро-быстро писал. Перо так и бегало по бумаге... Я долго глядел на него. Красивые волосы волнами падали ему на лоб, он положил перо, задумался и вдруг улыбнулся. Эта улыбка была особая... не юмористическая, а нежная и мягкая. И я понял, что это была улыбка счастья..." - вспоминал литератор Н.Ежов. Ему посчастливилось увидеть сокровенный момент творчества. "Я не захотел своим появлением мешать работе писателя. Я медленно отправился домой".

Иногда в окошко к нему стучали...

Поздно, 11 часов, Чехов собирается ложиться спать, вдруг в окно спальни заглядывает Левитан: "Крокодиль, ты спишь?"

Чехов тихонько впускал художника в затихший дом, в котором все уже уснуло. Левитан, человек одинокий, очень любил чеховскую семью, называл ее "милой Чехией".

Часто до поздней ночи засиживался он у Антона Павловича. Наверное, Чехов провожал друга и потом долго стоял у ворот своего дома и смотрел на рассвет. Смотрел на те дома, которые сохранились до сих пор в этом квартале Москвы, мимо которых я почти каждый день пробегала.

Напротив "дома-комода" - трехэтажное здание, в котором помещалась 4-ая женская гимназия, наискосок - красивый ампириный особняк (Садовая-Кудринская, 15), а пониже, по направлению к метро "Баррикадная" - старинное здание с колоннами - "Вдовый дом", построенный Жилиярди. На бывшей Кудринской площади, там, где раньше была стоянка такси, между улицами Герцена и Воровского, стоит скромный двухэтажный дом, в котором жил в 1870-х годах П.И.Чайковский. Однажды он посетил Чехова, это было 14 октября 1889 года.

Чехову было тогда 29 лет, а Чайковский уже вознесся в зенит своей славы, однако они испытали одинаковое волнение от встречи друг с другом. Визит Чайковского был длительным, беседа - весьма содержательной. "Разговаривали о музыке и литературе" и задумали даже вместе писать оперу "Бэла". Петр Ильич хотел, чтобы либретто написал для него по Лермонтову Антон Павлович. "Вчера у меня был Петр Ильич Чайковский. Хотим вместе писать либретто. Он хороший человек и не похож на полубога.

В русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое (98)".

Гости чеховского дома, друзья Чехова - это целый мир, рожденный широким русским гостеприимством, проникновенным вниманием к людям и неугасимым интересом к ним. "Я положительно не могу жить без гостей", - признавался Антон Павлович. Младший брат Чехова, Михаил Павлович не раз говорил, что кудринский дом "мог бы гордиться, что в нем перебивало так много знаменитых людей". Каждому человеку

знакомы имена близких и знаменитых друзей Чехова.

Я всегда любила читать письма Чехова, и многие его друзья и адресаты стали как бы знакомцами с юности. Когда же я начала работать в музее, появилось неутолимое желание узнать о нем все, и не только о нем, но и о его друзьях и гостях, и не только о знаменитых. Хотелось запомнить каждое имя, связанное с ним, прочесть все, написанное о нем. Ведь жизнь писателя не менее важна, чем его творчество.

Чем больше я читала Чехова, чем глубже изучала его жизнь, тем сильнее ощущала неотразимость его обаяния, особый чеховский магнетизм. Тогда, 20 лет назад, каждая прочитанная книга, не связанная с Чеховым, казалась как бы изменой ему.

Тогда вселилась в меня чеховская "mania Sachalinosa"... Он, готовясь к поездке на каторжный остров, неустанно штудировав в своем кабинете десятки книг о Сахалине, писал: "... все, все забыто. Я теперь не литератор, а сахалинец. Умопомешательство. Mania Sachalinosa".

Стремление на Сахалин пришло ко мне из сна. Он несколько раз снился мне, то серый и страшный, то голубой и сияющий, как Цейлон. Виделся, как наяву, Чехов в длинном кожаном пальто и мой собственный путь по его следам.

Наверное, тогда и зародился ясный образ фильма о Сахалине.

Тогда же возник особый критерий в оценке людей, их поступков: "чеховские" или "нечеховские". Возможно, самому Чехову такой максимализм и не пришел бы по душе. "Человеческая природа несовершенна, - писал он, - и поэтому странно было бы видеть на земле сдних только праведников".

Но рядом с этими словами - суровое, бескомпромиссное суждение: "Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель, он человек обязанный, zakonтракованный сознанием своего долга и совестью..." Когда Чехов писал это, ему было 30 лет!

Действительно, - ранняя зрелость, так резко отличающаяся от инфантильности некоторых "молодых" со- роколетных (!) современных писате- лей.

Но, конечно же, молодому кра- сивому, веселому (тогда!) Чехову ничто человеческое было не чуждо. "У меня в квартире сплошной хохот". Он любил "шум больше, чем гоно- рар", он буквально искрился юмо- ром, часто проявлял себя как талан- тливый комический актер. Братья Чеховы нередко принимали участие в любительских спектаклях и люби- ли посещать "Салон де варьете".

Д.В. Григорович, попавший как- то в чеховскую компанию на Садо- вой-Кудринской, включился в их бурное веселье и потом с восхище- нием вспоминал в Петербурге: "Если бы вы только знали, что там у Чехо- вых происходило!.. Вахханалия, на- стоящая вахханалия!"

Однако богема была Чехову не по душе: "Тут день прогуляешь, и то совесть мучает, а они могут всю жизнь кутить". Чехов не решился соединить свою судьбу с очарова- тельной, пылко любившей его Ли- кой Мизиновой именно из-за того, что его пугал и шокировал ее богем- ный образ жизни.

А ведь ее любовь к нему была весьма длительной и постоянной. В 1898 г. она подарила Чехову свою фотографию со стихами:

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погу-
бля,-

Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и
силы -
Все для тебя!!

(Чайковский - Апухтин)

Под ними приписка: "Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет". Это далекий отголосок непро- стых мажорно-минорных отноше- ний, сложившихся в бурные и счас- тливые "кудринские" годы. А годы были действительно счастливые, и полнота этого счастья рождалась в блистающем водовороте ярких, ин-

тересных людей, стекавшихся в дом Чеховых.

"Моя литературная деятельность дала мне... немало хороших зна- комств. Сколько приходится видеть прекрасных людей... что душа раду- ется".

Хотелось и мне, чтобы в доме Чехова, который теперь уже жил новой, музейной жизнью, было как можно больше интересных, пре- красных людей, разных людей. Ведь в "милой Чехии" бывали не только писатели, но и артисты, художники, журналисты, студенты, музыканты.

Традиция литературных и музы- кальных вечеров издавна существо- вала в музее Чехова.

В студенческие годы я не раз забегала туда послушать музыку.

Теперь же мне самой надо было планировать работу музея по угне- тающе-казенному трафарету. "Посе- щаемость" - это был жупел в музей- ной работе: столько-то экскурсий, столько-то лекций, научных заседа- ний, рабочих совещаний и т.д. Нет, хотелось, чтобы в музее Чехова шла живая, содержательная жизнь, что- бы москвичи (пусть не огромное их количество) постоянно приходили в чеховский дом, чтобы люди, при- шедшие в музей, надолго запомни- ли его своеобразную, насыщенную атмосферу, чтобы царили в нем кра- сота, лиризм и непринужденность. И зависело это все от людей.

Теперь, 20 лет спустя перечиты- вая свои дневники, рассматривая фотографии того времени, просто диву даешься, скольких же замеча- тельных людей удалось привлечь к культурной благотворительной ра- боте в доме Чехова!

В те годы я завела несколько рабочих телефонных книжек, кото- рые хранию до сих пор. Их страницы так же "густо населены", как страни- цы чеховской прозы. Они перепол- нены адресами и телефонами людей, которых я приглашала в музей. Мно- гие из них были добрыми моими помощниками и советчиками все то время, что я работала в музее, неко- торые остались друзьями до сих пор.

Кто-то всего однажды осчастливил благодарную аудиторию маленького концертного зала музея своим посещением и выступлением, многие бывали часто, некоторые - постоянно. Всех этих людей - и очень знаменитых и не очень, молодых и старых - бескорыстных москвичей, энтузиастов я вспоминаю с глубокой признательностью. Я уверена, что их умные речи, благородные мысли, гениальные импровизации, их утешающая мудрость согрели сердца тогда и запомнились надолго.

Записные книжки мои разделены по жанрам. В I (она начата в 1969 году) - писатели, критики, чеховеды: К. Чуковский, В. Лидин, С. Антонов, В. Солоухин, С. Залыгин, Л. Зорин, В. Кожинов, М. Рошин, З. Паперный, А. Битов, В. Розов, В. Кулешов, А. Свободин, Е. Сидоров, Ю. Айхенвальд, Э. Полоцкая, Л. Опульская, М. Стржева и многие другие.

Во II маленькой записной книжке - поэты. Почему поэты? Быть может, потому, что для меня поэзия - самое прекрасное, самое важное в жизни, и без поэтического слова я не мыслила себе литературных вечеров, подлинно художественной атмосферы в доме Чехова.

Но не только поэтою. А потому что так часто слово самого Чехова было поэтическим и глубоко поэтическим было его восприятие мира. "Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай." "У нас природа грустнее, лиричнее, левитанстей", (чем в Крыму, где "ветер - сухой и жесткий, как переплет").

Хотя сам Чехов шутил, что в литературе он перепробовал "все, кроме стихов и доносов", в его прозе и особенно в письмах часто встречаются чудесные поэтические миниатюры, а иногда - законченные стихотворения в прозе. Вот один замечательный пример: "В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море; а на горе - кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и

говорила монаху умоляющим голосом: "Если ты меня любишь, то уйди".

"Пушкин в прозе", - называл Чехова Л. Толстой. "Поэт белого, живописец белых цветов вишневого сада", - называет его один из критиков "серебряного века".

Конечно же, Чехов поэт и в его доме должны звучать стихи!

Я приглашаю в музей поэтов - и на мой зов откликаются и молодые, и маститые: П. Антокольский, Б. Окуджава, Вл. Соколов, В. Солоухин, Д. Самойлов, Е. Евтушенко, С. Куняев, Ю. Левитанский.

В III книжке - музыканты.

Традиция музыкальных вечеров в музее существовала давно, и мне было легко и приятно ее продолжать. Я часто звонила лучшим московским музыкантам, и никто не отказывался бесплатно выступать (только С. Рихтера, нашего тогдашнего кумира, я почему-то ни разу не решилась пригласить).

Часто пел Козловский.

Особая дружба была с В. В. Горностаевой. Она тогда уже была профессором Московской консерватории, и С. М. Чехов, внучатый племянник Антона Павловича, видя нас вместе, говорил, улыбаясь: "Самый молодой директор и самый молодой профессор".

Вера Васильевна сама частенько играла в музее, а ее замечательные ученики, лауреаты конкурсов им. Чайковского, регулярно выступали на наших вечерах.

И еще много-много пианистов, скрипачей, альтистов, виолончелистов играли в маленьком уютном зале музея.

В моей "музыкальной" записной книжке записан телефон Максима Кончаловского. Сейчас многие знают его как автора оригинальных телевизионных композиций, в которых он выступает и как чтец, и как пианист. А тогда, 20 лет назад, он был недавним выпускником консерватории с множеством смелых неординарных идей. Когда он подробно изложил мне свою программу, в которой были изящно объединены поэ-

зия, живопись и музыка, я сразу поняла, что дебют его в доме Чехова будет вполне созвучен нашей культурной работе. И я не ошиблась: его яркие, содержательные выступления пользовались большим успехом.

В связи с этой нетрадиционной историей вспоминается другая - о том, как в музее Чехова приютили... целый театр. Марк Розовский, так же, как и М. Кончаловский, пришел "с улицы". Сказал, что у него уже готов спектакль "Доктор Чехов". Я студию Розовского знала еще со студенческих лет, когда они играли в университетском клубе на ул. Герцена. Потом почему-то они оказались "на улице". Конечно, хотелось помочь талантливым молодым актерам, да и заманчиво было иметь в музее театр с чеховским спектаклем.

Но ведь Розовскому надо было дать хоть одну ставку в штатном расписании музея и к тому же возложить на плечи маленького коллектива дополнительные хлопоты и заботы. Но никто из сотрудников не высказал ни возражений, ни колебаний, все радовались: "у нас будет театр!" Марк Розовский был зачислен в штат музея Чехова. Так у студийцев появилась крыша над головой, а в музее - новая афиша: "Доктор Чехов".

И еще одна студия нашла благодарных слушателей в музее Чехова - это вокальный класс Н.А. Полевой-Мансфельд. Когда Нонна Алексеевна впервые появилась в моем кабинете, я была очарована ее красотой, изяществом, живостью (а было ей тогда около 80 лет). Голос у нее был молодой, мелодичный, рассказывала она увлекательные истории о знакомстве со многими интересными людьми: Луначарским, Н. Обуховой, Д. Ибаррури, Л. Утесовым, Пашенной и др. Сама она была очень популярной певицей, и ее имя украшало афиши многих эстрадных концертов. Дома у нее висела афиша ее вечера в ЦДРИ. "55 лет с песней". А сколько лет своей жизни она отдала ученикам, сколько воспитала певцов, известных в нашей стране и за

рубежом. Я до сих пор вспоминаю ее и очень радуюсь, что последние годы ее творческой жизни были согреты гостеприимством и любовью в доме Чехова.

В моей IV записной книжке - артисты. Она самая "густонаселенная". Перечислять всех чтецов, драматических актеров, режиссеров, театральных завлитов, выступавших в музее Чехова, просто нет возможности. Есть огромное желание выразить всем этим талантливым, бескорыстным людям, "чеховским людям" искреннюю глубокую благодарность.

Особо хочется мне сказать о крепком содружестве с Художественным театром. Ведь это был театр Чехова, - на его занавесе всегда парила Чеховская Чайка. Артисты нового МХАТа по традиции благоговейно относились к Чехову, по первому приглашению приходили выступать в музей.

А как мы в те годы стремились во МХАТ, какие надежды возлагали на с детства любимый театр! Как трепетало сердце каждый раз, когда в гаснущем свете зала светилась лишь серебристая Чайка. Уже тогда мне мерещилось сокровенное название "Чайка на занавесе"... И действительно, через 10 лет такое название было дано сценарию одного из моих телефильмов. Он посвящен Чехову-драматургу.

Снимали мы его в основном во МХАТе, значительное место в нем занимают репетиции "Чайки", которую ставил О.Ефремов. К сожалению, заветное название "Чайка на занавесе" не сохранилось, и фильм вышел в эфир под названием "Посылаю Вам пьесу".

Всегда был внимателен к чеховским делам О.Н.Ефремов. Неизменно откликался на мои приглашения в "Дом в Кудрине", часто бывал в Мелихове, его заботила судьба ялтинского дома и маленького чеховского домика в Гурзуфе.

Мне кажется, с Чеховым были связаны его самые светлые актерские и режиссерские мечты.

Помню, однажды мы сидели на "горьковской" скамье в чеховском саду в Аутке, и Олег Николаевич начал мечтать вслух: "Хорошо бы сделать антрепризу, собрать лучших актеров и играть здесь, в Ялте, целую зиму все чеховские пьесы!"

А через 10 лет Ефремов сыграл свою роль в одном из моих чеховских фильмов. Специально для него была написана роль ведущего в полнометражной ленте "Сахалинские страницы".

Еще через 10 лет, совсем недавно, разбирая свой архив, я нашла черновик поздравительного адреса, который я вручила мхатовцам в день 75-летия театра, в 1973 году.

Позволю себе привести несколько строк из этого послания: "... Нам приятно сознавать, что Вы, Художественный театр, и мы, московский дом-музей Чехова, осенены одним именем - именем Чехова, что Ваша Чайка осеняет и нас своим крылом. Вот почему мы считаем себя Вашими близкими родственниками.

Мы никогда не забываем, что создатели Художественного театра К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко принимали живое участие в организации музея Чехова...

О.Л.Книппер-Чехова открывала дом-музей на Садовой-Кудринской...

Чего пожелать Вам? Успехов? Но этим Вас не удивить. Славы? Она у Вас есть. Остается пожелать одного - той молодости, которая не боится возраста и заново рождается в исканиях нового. Для настоящего художника счастье и поиски неразрывны.

Так пусть во всем, что Вы делаете, сопровождают Вас две птицы - Синяя Птица счастья и Белая Чайка молодых исканий".

Кое-кому так понравились эти последние строки, что они потом неоднократно возвращались ко мне в письмах, в поздравительных телеграммах и даже в стихах.

Сейчас я спаршиваю себя: сопровождали ли меня в моей тогдашней жизни и работе эти две птицы?

Белая Чайка молодых исканий - конечно. А вот Синяя Птица счастья - далеко не всегда.

Не все шло гладко в моей работе и никакой "музейной тишины" в ней не было. Были и сложности, и ошибки, и слезы, и огорчения. Приходилось выслушивать выговоры директрисы ГЛМ и министерских дам за невыполненные цифры посещаемости и за то, что актеры Розовского слишком бурно разыгрывают любовную сцену на музейном диване, и за то, что надолго уезжаю за границу...

Все правильно. Но у меня была семья, муж работал за границей, и я разрывалась между Каиром и Москвой.

Были серьезные огорчения, которые до сих пор угнетают душу. Расскажу один печальный эпизод. В 1974 г. было решено торжественно отметить день памяти Чехова - 70-летие со дня его смерти. 15 июля, как всегда, должен был быть день открытых дверей и на этот раз - особенно торжественное заседание. Я пригласила на него самых достойных, самых близких музею людей, в том числе всеми нами уважаемого З.С. Паперного. Заказали в типографии красивую афишу. С волнением готовился к вечеру. Вдруг звонок директрисы ГЛМ Шахаловой: "Кто тебе разрешил включить в программу Паперного? (Она всех нас, молодых научных сотрудников, называла на "ты", как в казарме). Он выступать не будет.

- Как не будет, почему?
- Он сейчас в "черном списке".
- Но ведь я его уже пригласила, это невозможно, он обидится.
- Ничего, придумай что-нибудь, сама виновата."

Я в слезы. Что же делать?

После бессонной ночи позвонила Паперному и попыталась что-то неловко объяснить. Конечно, он понял, что мне тяжело, что трудно противостоять мракобесию и т.д. Но, конечно, он обиделся и совершенно справедливо. Надо было мне быть смелее и самой лучше получить вы-

говор, чем обидеть достойного человека. До сих пор не могу себе этого простить, получилось как-то не "чеховски".

А так хотелось, чтобы в доме Чехова было меньше "нечеховского"! И нужно сказать, что часто сами люди, бескорыстно тянувшиеся к музею, создавали в нем "чеховскую" атмосферу. Поневоле не раз вспоминались слова Антона Павловича: "Как богата Россия хорошими людьми!" А сколько приходило доброхотов с самыми разными предложениями помощи, с мудрыми советами, с цветами, с подарками. Приходили ученые садоводы и старенькие пенсионеры, школьники и студенты - предлагали поработать в саду (в маленьком дворике на Садовой-Кудринской тогда уже был посажен миниатюрный вишневый сад).

В этой связи запомнился мне один телефонный разговор с актрисой А.Вертинской, комичный и трогательный. Я пригласила ее выступить на вечере в музее. Сложные личные обстоятельства мешали ей прийти на этот вечер. Я настаивала. Тогда она воскликнула: "Ах, не зовите меня, лучше я приду к Вам в другой день и вымою все полы в доме Чехова!"

Вспоминается еще один небольшой, но характерный эпизод. В музее отмечали 70-ую годовщину памяти Чехова. Среди приглашенных был и В.А.Солоухин. Он запаздывал. Вечер начался, его все не было. Я знала, что он в своей родной деревне Олпино, и решила: не придет - дорога дальняя, жара.

И вдруг он появился на сцене нарядный, подтянутый. Выступление свое начал с извинения. "Я ехал издалека, с Владимирчины, - объяснил он, - в машине жарко, заехал домой переодеться - ведь Марианна Евгеньевна меня любезно пригласила на такой торжественный вечер, и я не мог в пыльной куртке явиться в Дом Чехова!"

А сколько подарков приносили в музей - чеховские автографы, книги, личные вещи, письма, уникальные

фотографии. Бескорыстные дарители! Их имена тщательно, почтительно записаны в "книге поступлений" чеховского музея. Эти "книги поступлений" - весьма необычные и увлекательные книги. Предельно правдивые, они дышат романтикой, сердечной щедростью и неподдельным добром, самые лаконичные на свете - они так много могут рассказать вдумчивому читателю.

Как и страницы чеховских книг, они "населены" множеством самых разных людей. На их страницах, как добрые соседи или родственники, мирно уживаются такие знаменитости, как Корней Чуковский и Лоуренс Оливье с множеством рядовых "дарителей". Все занимают одинаково почетные места.

Однажды нам подарили ручку Чехова!

Осенью 1973 года пришли ко мне в музей два пожилых элегантных человека и отрекомендовались сыновьями доктора И.И.Альтшуллера, который лечил Чехова в Ялте. Оба они избрали профессию отца, стали врачами. Один жил тогда на Беговой улице в Москве, другой приехал из Америки на конгресс кардиологов. Именно он, Григорий Альтшуллер, (являющийся, кстати, автором популярной брошюры о Чехове, выпущенной в США), привез из-за океана ручку Чехова. Эта ручка была подарена после смерти Антона Павловича его сестрой Марией Павловной доктору Альтшуллеру. Потом перешла по наследству его старшему сыну Григорию. И вот этот молодой уже тогда человек решил расстаться с вещью, в которой была воплощена для него память и об отце, и о горячо любимом русском писателе.

"Ее место здесь, в доме Чехова", - сказал он.

Однажды войдя в мир Чехова, уже не можешь расстаться с ним. В 70-е годы мне приходилось надолго уезжать из Москвы сначала в Египет, потом - в еще более отдаленную экваториальную страну. Но и туда я

везла с собой целый чемодан чеховских книг. Особо ценные для меня книги из библиотеки моего отца ("От Чехова до наших дней" К. Чуковского, СПб, 1908 г., два любимых тома марковского издания), а также свои наброски и библиографические карточки держала в особом пакете под мышкой, опасаясь сдать в багаж (к великому удивлению таможенников).

Подолгу живя за границей, я поняла, что такое тоска по Родине. Трудно сказать, из чего она складывается, во всяком случае не только из воспоминаний о березках и ромашковых лугах...

Я все время думала о Москве. Читала лекции о Чехове и о русской поэзии. Писала письма. Без конца перечитывала письма Чехова. "В Москве выпал снег, - пишет он в одном (деловом!) письме, - и у меня теперь на душе такое чувство, какое описано Пушкиным - "Снег выпал в ноябре", на третье в ночь... В окно увидела Татьяна..." А я видела, как наяву заснеженный дворик на Садовой-Кудринской, сиреневые сумерки, на воротах знакомая афиша "У нас сегодня музыка", зажигается лампа под зеленым абажуром на стареньком письменном столе в кабинете Чехова. И в моем воображении оживает картина, нарисованная писателем И.А.Леонтьевым-Щегловым: "Согнувшись над письменным столом, сидит Чехов и при свете лампы что-то дописывает. Сверху, из второго этажа, доносятся нежные, меланхолические звуки шопеновского ноктюрна. Это брат Антона, Николай Павлович, художник играет на рояле".

Как в любимом кино, возникали знакомые кадры: в мутной мгле Садового кольца зажигаются огни, к остановке мягко и без звука подкатывают троллейбусы, и идут, спешат люди на гостеприимный свет "милый Чехии".

Наверное тогда, когда я на берегу Нила грустила о Москве, у меня и возникла мысль, призрак воображе-

ния, уже любимое кино про те четыре года, когда молодой, веселый, здоровый, красивый, вдохновенный Чехов счастливо жил в своем московском доме. Как своим драгоценным бисерным почерком писал он здесь свои ранние шедевры: "Степь", "Скучную историю". В феноменально короткий срок закончил пьесу "Иванов". "Работать весело", - признавался тогда молодой писатель. А все окружающие чувствовали, что у него поистине "пора творческого половодья". Это впечатление передал Д.В.Григорович при помощи довольно необычного сравнения: "Помнится, раз в Кадиксе в Духов день... и принялся сводить счет хорошеньким женщинам; через десять минут я бросил милое занятие, потому что хорошенькие женщины шли не в одиночку, а целыми толпами. То же самое произошло при чтении ваших рассказов..." Речь шла о сборнике рассказов "В сумерках", в который вошли "Мечты", "Панихида", "На пути", "Агафья", "Святой ночью", "Кошмар", "Враги", "Верочка" и др. В октябре 1888 г. за эту книгу Чехов получил высшую литературную награду того времени - Пушкинскую премию. Академия наук выдавал ее "за лучшие художественные произведения, которые отличались высшим художественным достоинством".

"Известие о премии имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного Зевса". Это, конечно, обычный чеховский юмор. Он совсем не возгордился. Стал еще серьезнее и требовательнее к себе. "Если говорить по совести, то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов... В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Все, что писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом." Так с обычной своей чарующей меткостью выразил свое

* у Пушкина - "в январе".

истинное настроение и устремление молодой лауреат.

А вот что писали злые критики за несколько лет до присуждения Чехову Пушкинской премии: "Антону Ч.: "Ужасный сон" только тем и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы".

"Избитость эпистолярной формы не искупается новизной или юмором содержания."

"Опыт изложения злоупотребляет очень старым мотивом. Рассказ пойдет: ничего, недурен."

"Несколько строк не искупают непроходимо пустого словотолчения."

"Очень длинно и бесцветно; нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вынутой."

"Г-н Чехов записался в цех газетных клоунов."

"Такие рассказы, например, как "Егерь", "Кухарка женится", "Репетитор" и многие другие - похожи скорее на полубред какой-то или болтовню ради болтовни."

"Не расцвет, увядаете. Очень жаль."

К подобного рода рецензиям Чехов привык относиться, "как к шуму дождя", но иногда он всерьез сетует на грубость, мелкость и некомпетентность критики. Вот отрывок из письма конца 1888 года: "Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики?.. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками, Академия дала премию - сам черт ничего не поймет... Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал -хороший или дурной, все равно, - что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда..."

Конечно, он в глубине души прекрасно знал, что он нужен, что не понимают его из-за того, что он прокладывает новые пути в литературе: "Вообще тяжело живется тем, кто имеет дерзость первым ступить на новую дорогу. Авангарду всегда плохо".

Он стремится вперед, трудится неустанно.

"Литературный поденщик", фелетонист Антоша Чехонте за эти четыре года (1886-90) своего Садово-Кудринского жития превратился в великого русского писателя Антона Павловича Чехова, которого вскоре узнал весь мир.

"Всего четыре года" - название первого моего телефильма, снятого на студии документальных фильмов в творческом объединении "Экран".

Мы с соавтором Д.Огняным не ставили перед собой популяризаторской задачи. Образ, собственное отношение - вот что было главным. Но при этом ни в коем случае не заслонить собой Чехова, как это происходит у многих. Мой лиризм должен оставаться в подтексте, в "затексте"...

Уже во время съемок первой картины я поняла, что она во многом строится по принципам художественной вещи. Музейные экспонаты, которые были основой фильма, несли не только информативную нагрузку - они несли духовный заряд, становились символами; это были "содержательные подробности", созвучные образу героя. Вопрос отбора встал особенно остро. Казалось бы, чеховский материал уже настолько "просеян" к нашему времени, что очень сложно выбрать из этого еще что-то, что характеризовало бы лицо автора, придавало фильму индивидуальность. Но решать эту задачу было необходимо и в этом фильме, и в следующих.

Второй фильм "Сахалинские страницы" как бы логически вырос из первого. Ведь именно в его любимом московском доме созрело у Чехова смелое, подвижническое решение - ехать на каторжный Сахалин. Из этого дома 100 лет назад, 21 апреля 1890 года провожали его родные и знакомые. Поезд, в котором ехал Чехов, уходил в 8 часов вечера. "Мы все собрались на вокзале - отец, мать, Маша, я и много знакомых, - вспоминает младший брат Михаил Павлович. - Стояли, переминаясь с ноги на ногу, чувствовали, что-то

еще недосказано, не находили слов говорить, а затем - звонок, спешное прощание, посадка в вагон, свисток, - Антон уехал..."

Сейчас весь перелет от Москвы до Сахалина занимает 9-10 часов. А тогда... Но об этом я подробно рассказываю в статье "Остров, открытый Чеховым".

Для того, чтобы осуществить замысел фильма о героической поездке Чехова, надо было пройти по его следам, надо было и физически, и психологически преодолеть "бездну пространства", надо было уловить все ассоциации, не увлекаясь аллюзиями, можно было высказать все свои догадки.

Мне пришлось, вернее, посчастливилось дважды слетать на Сахалин.

Первое знакомство с этим "островом чудес" ошеломляет. Особенно меня поразила стремительная изменчивость погоды. Ранним утром - "лондонский" туман, морось. Влажная пленка обволакивает лицо, одежду и душу.

В полдень на самой верхушке неба горит веселое южное солнце. Благодать. Сопки вокруг города, как вечнозеленые горы у южного моря.

На бульваре вещи старушки продают тропические яркие цветы. Но вдруг, всегда вдруг, откуда-то из-за сопки ударяет ветер, и набегают тучи. Полдень превращается в сумерки. С низкого скучного неба хлещет промозглый дождь.

А вечером - сверкающий закат, ласковый бриз, розовые волны далеких сопки.

Ночью всех будит грохотом и молнией оглушительная амазонская гроза.

И все это за один день сентября - "бархатный сезон" Сахалина.

Если мысленно пролететь над островом с юга на север, то впечатление контрастности рядом лежащих красок будет еще сильнее. В Анивe летом купаются, в Охе - тундра и вечная мерзлота, там лианы - тут мхи и т.д...

Но главное в палитре Сахалина - необыкновенное сочетание природных богатств.

На склонах сопки, покрытых роскошными лесами, добывают ценнейшие породы древесины - это, в первую очередь, бумага для наших газет и книг.

У подножий гор и в тундре добывают нефть, газ, уголь, руды редких металлов. Омывающие остров моря и впадающие в них реки полны "красной" рыбой, а леса вокруг - пушным зверем. На огородах юго-западной части острова капуста, картофель вырастают до размеров аппетита Гаргантюа.

Современному человеку трудно представить себе, что экзотический, сверкающий чистотой и яркими красками остров был когда-то каторгой.

Наверное, так же и Антон Павлович не мог себе представить, что будет на Сахалине город "Чехов", театр и пединститут имени Чехова, школы и больницы его имени, что одна из гор острова будет названа его именем. Конечно, он не мог не сознать огромного значения своей поездки и исключительной ценности книги "Остров Сахалин".

В обычной своей юмористической манере он написал по возвращении в письме к младшему брату: "А что, Миша? Если за эту штуку да мне дадут степен доктор медицины? Гонорис кауза".

На одной из самых старых улиц города Александровска есть маленький домик, в котором А.П.Чехов прожил некоторое время в период своего пребывания на Сахалине. Сейчас в нем музей писателя, которым долгие годы руководил сахалинский старожил И.Г.Мироманов.

Подлинных мемориальных вещей в музее почти нет, экспонатов мало, но проникновенные, воодушевленные рассказы хранителей этого своеобразного музея создают тот чудесный "эффект присутствия", который вы ощущаете в каждом хорошем мемориальном доме-музее.

Печально поразило меня на Сахалине "эффект отсутствия"... церковей.

Ни одного храма, ни одной колокольни!

Наверное, это еще усилило ощущение "сахалинской" боли Чехова (хотя в те времена церкви на Сахалине были).

Поездка Чехова на "остров страданий" наложила отпечаток на все его дальнейшее творчество. И несмотря на то, что после документально-художественной книги "Остров Сахалин" сахалинских мотивов мы находим в творчестве Чехова немного, сам он считал, что у него "все просахалинено".

И сейчас, размышляя над произведениями зрелого Чехова, мы постоянно чувствуем затаенную "сахалинскую" боль, которая навсегда осталась в нем. Только пройдя вместе с Чеховым все круги "сахалинского ада", можно приблизиться к объяснению "загадок" чеховской драматургии последнего десятилетия. Сила воздействия его пьес - в социальном подтексте.

Чехову-драматургу посвящен третий фильм - "Посылаю Вам пьесу...", о котором я уже упоминала выше.

"Последний сад" - завершающий фильм этого цикла - снимался в Ялте. Мне хотелось, чтобы актеры МХАТа, принимавшие участие в том фильме, отказались от театральной условности, от иллюстративной функции, от чрезмерной зримости. Я хотела, чтобы этот фильм был услышан, ибо "слух - это чувство души".

Я всегда стремилась к тому, чтобы сама сценарная конструкция звучала соответственно стилю Чехова, его языку, тону. Я хотела, чтобы актеры услышали и донесли до зрителей музыку Чехова. Сам Антон Павлович не играл, но был чрезвычайно музыкален, "безумно", по его собственному выражению, любил музыку. Многие его произведения вольно или невольно построены по принципу музыкальных форм.

Вот и я пыталась использовать любимую Чеховым сонатную форму, вслушиваясь в музыку и тишину его Последнего сада.

- Предполагаете ли Вы продолжить цикл чеховских фильмов? - спросили меня в одном интервью.

- Конечно. Остается не осуществленной до конца тема личной жизни Чехова. Письма его, особенно письма девяностых годов - это редкостный литературный материал. От них трудно оторваться. Замечательный фильм мог бы получиться на их основе, фильм о любви.

Вообще же я уверена, что чеховская тема никогда не будет исчерпана до конца. Я много занималась и занимаюсь Чеховым. И все равно он во многом для меня загадка. Думаю, и для других.

Не потому ли не иссякает интерес к нему во всем мире?

Сегодня 29 января.

Только что мне позвонил один хороший поэт и поздравил с днем рождения Антона Павловича. Вот уже более 20 лет он неизменно каждый год звонит мне в этот день.

Звонят многие хорошие "чеховские люди". Они все помнят.

А я снова вспоминаю тот вечер, с которого все началось: все окна чеховского "дома в Кудрине" светились, из второго этажа доносились звуки музыки, и грохот Садового кольца не мог их заглушить.

И ничто не может заглушить эту музыку.

Леонид Хейфец

"ВСЕ ВРАЗДРОБЬ..."

Впечатления семилетней давности, как мне кажется, не устаревают и сегодня. "Вишневым сад". Там есть несколько мест, ничего как бы не определяющих, просто часть бытия Дома, где живут брат и сестра и их родные. Отношения с прислугой, ряд имен людей, которых мы не видим. Чехов любит заселять пьесы целым миром людей, с которыми так или иначе связаны герои, - это создает особый неповторимый аромат жизни на сцене. Вот Гаев рассказывает, что произошло в имени за это время: "Петрушка умер..." Или Варя говорит как кормят прислугу, или перед отъездом мы слышим голос Раневской - она прощается с людьми, конечно есть высшее воплощение того, что мы понимаем под понятием "слуга" - это Фирс, все выписано, театр как бы изначально понимает значимость этого человека в самой сути этой пьесы и тем не менее, я думаю, для большинства из нас многое в этом смысле весьма умозрительно. Мы проживали нашу жизнь чаще всего в нищете коммуналки, кто-то из нас узнал, что такое "домработница" - так часто по-советски назывались и называются приглашенные в семью женщины, помогающие воспитывать детей или по хозяйству. С годами и эта категория людей исчезла, ну а уж о слугах и лакеях, горничных и гувернантках мы знаем по кино и книгам. Это факт (знаем мы и об этом), что верхние этажи власти имеют в штате так называемую "обслугу". Мне пришлось однажды лежать в "привилегированном" корпусе Боткинской орден Ленина больницы. После того, как руководство Малого театра посетило меня в отделении функциональной диагностики, увидело как моча затекает из туалета в палаты, как мыши и тараканы бегают по подоконнику и после специального письма за под-

писью М. Царева они все же добились, чтобы меня перевели в спецкорпус для... Этот корпус уже давно не пользовали сильные мира сего: ни работники ЦК, ни Совмина (я имею в виду среднюю номенклатуру - высшая вообще до Боткинской никогда не опускалась, но и средняя уже давно выстроила для себя "дворцы зловонья"), этот корпус был отдан челяди. И одна палата с высшего соизволения после немалых хлопот иногда отдавалась кому-то со стороны: "Ну ладно уж, пусть полежит там, например, режиссер Алов, вроде бы после инфаркта, да и знаменитость, говорят..." Вот так я оказался в палате, где до меня лежал Алов, после меня Евстигнеев, вообще повезло. Вокруг были кастелянши, гувернантки, поварихи, шофера "слуг народа". На всю жизнь запомню их разговоры, их хамство, все же точнее жлобство, их советско-лакейский комфорт, их презрение ко всем нам, их душевную глухоту, лживость, наглос отношение к врачам, да и молчаливую глубоко скрытую боль и презрение врачей, вынужденных выслушивать время от времени скандальные претензии с криками: вы знаете, что я кастелянша министра?.. Называлось имя какого-то временщика. А чего стоили откровения шоферов заместителей председателя Совета министров о том, как хозяева им "подкидывают". Они спорили и завистливо сравнивали - кому больше? Да, в стране победившего пролетариата появились новые социальные пласты. Целые кланы. Тот корпус, где умирал замечательный режиссер Алов, где лечили прекрасного Женю Евстигнеева, принадлежал к классу "жлобов". Так что же это за отношения между чеховскими "дворянством", чеховской интеллигенцией и их слугами? Как это понять? Еще очень давно, совсем молодым, я был поражен отношением Пушкина и няни. Опять таки, ну что такое няня в нашем советском понимании? Опять та же домработница. Пушкин, живущий в двух минутах от царя, придворный высший свет

Петербурга, России, пишет: "Что же ты, моя старушка... Приуныла у окна... Или бури завываешь ты, мой друг, утомлена... Или дремлешь под жужжание своего веретена..." Сколько любви! Нежности! Душевного восторга, признания к безграмотной, наверняка, крепостной старой женщине! Раневская Фирсу: "Мой старичок..." Любовь. Любовь. Нежность. Нежность. Тепло. Можно сказать: "А потом забыли". Да, забыли. Но перед отъездом принято решение: в больницу его поместить! И подонок Яша всех обманывает, это не снимает вины, вины трагической, вины житейской... Суть отношения неизменна. Доброта к слугам и ответная любовь слуг. Это в природе отношений. Так вот, впервые приехав в Стамбул в 1986 году, я многое увидел своими глазами из того, о чем знал только понаслышке. У входа в кабинет мадам Гюрюн - приемная. Там неизменная, очень милая секретарша. Это как у всех. Но неподалеку на стуле, всегда в синем форменном кителе, молодой человек. Сидит. Иногда о чем-то просит. Он уходит. Часто вижу его что-то приносящим в кабинет мадам. Например, чай. Выносит какие-то ее вещи, провожает до машины. То же вроде нашего посыльного в театре. Как бы "слушит". Здесь же совсем другое. Здесь, как я понимаю, многие годы, как мне сказали, он пришел молодым человеком и уже к моему второму приезду он ушел на пенсию, многие годы он как бы слуга мадам. Это не служба. Глаза совершенно иные. В них преданность, любовь, глубочайшее почтение, исключительная верность и предельная добросовестность. Я увидел Фирса. А если учесть, что мадам Гюрюн женщина интересная, элегантная, жила во многих европейских столицах, знает много языков, то наблюдать за их отношениями было для меня сущим кладом, во всем сквозила гармония, естественность, то, о чем именно и сокрушался Фирс, что случилось после "воли". "Господа над мужиками. Мужики под господами. А сейчас ничего не

поймешь. Все враздробь". Какая же "враздробь" произошла у нас, если в Боткинской больнице прислуга замминистра такого-то, только что кулаком не тыкала в зубы, когда ей не подали творожок на завтрак - в то утро его не оказалось на кухне. Рядом, через дорогу, в обычном корпусе выстраивалась очередь с железными мисками и ложками (вилки и ножи не положены были в то время в Боткинской) и наподобие узников в Освенциме или какой-нибудь ссыльной тюрьме двигались друг за другом инженеры и научные работники, бухгалтеры и рабочие станочники, и им плюхали в их миски пшеничную кашу, чаще всего и без мяса и без "творожка" к чаю. Тут в приемной было все на своих местах. Этот дяденька был счастлив и горд. Он прислуживал "самой" госпоже Гюрюн. Скорее всего родившемуся в деревне и не получившему никакого образования, место это было для него и радостно и выгодно и посвоему, с его позиции, престижно. Все - естественно. Так же, как естественно, что госпожа Гюрюн, окончив Сорбонну, или, например, Кембридж руководит муниципальным театром многомиллионного города. Я представил тогда, что было бы, если бы этому дяденьке кто-то внушил, или бы он сам подумал: "А на хрен я ей прислуживаю! Кто она такая, чтобы я перед ней изголялся! Чем мы хуже их? Да, сколько можно нас эксплуатировать и пить нашу кровь! Да, почему это она ездит в роскошных лимузинах, а мы, что, рабы? Мы - не рабы. Рабы не мы!" И кто-то бы ему сказал: да входи ты в кабинет, садись и управляй театром! Каждая кухарка может и управлять государством! Что было бы со страной? Например, с Данией? С Голландией? Да с любой страной в мире? "Все враздробь". Какое, однако, счастье избавило многие страны от этого "враздробь". Там, где все продолжалось и пр должается и перетекает из одного в другое. Вот и сейчас, будучи в гостях в одном богатом доме тут же в Стамбуле, я наблюдал работу

приглашенного слуги, официанта, называйте как хотите. За вечер я не увидел ни секунды раздражения в его глазах, неусердия, я уж не говорю: злости. Целый вечер он что называется "колготился", ни разу не присев, и ни разу никто из присутствующих не заметил ничего, кроме внимательных очень улыбочиво добрых глаз, исполнительности и какого-то радостного, почти вдохновенного воодушевления. Он знал свое дело. И это часть его профессии. Оно (это дело) его устраивало. Оно ему нравилось. Оно было ему выгодно. Он знал, что он будет за это иметь! Когда я спросил хозяина дома, почему этот молодой человек работает с таким воодушевлением, разве ему не становилось хоть раз противно вот так прислуживать гостям, разве хотя бы раз у него не возникает злости вот к ним, богатым людям, его нанявшим, разве он не завидует этой роскошной мебели и этому комфорту, и этому богатству? Сколько раз я ловил себя на том, что я не люблю богатых дельцов и т.д.! Это нехорошее чувство я ловлю в России не только у себя. Сколько десятилетий должно пройти, чтобы в нашем сознании исчезло чувство зависти и ненависти к тем, у кого больше денег, чем у другого. Равенство нищих и правота верхов - вот наш "менталитет", будь он неладен. Сейчас вверх прут коммерсанты и мафиози. Дельцы, в лучшем случае. Но ведь во мне с детства слово "делец" - гнусное. "Он-делец" - значит нечестный, непорядочный, "шахер-махер", прохвост, "уголовник" и т.д. И вот мы, так называемая интеллигенция, противопоставляла этому нашу духовность. Наши идеалы. Мы воспитывали в себе эти идеалы ради того времени, когда все будет их иметь. И что теперь?.. Я отвлекся. Надо возвращаться в богатый стамбульский дом. Хозяин поначалу меня не понял. Хотя это был один из самых образованных людей Турции. "Почему он должен злиться на нас?" Ведь, во-первых, он очень много денег получает за свою работу. Он приехал сюда

на прекрасной машине. Он может купить дорогой костюм. Может быть он его имеет. Его костюм, наверняка, дороже моего, добавил он с уверенностью. Он выбрал эту работу потому что он не может работать в банке, например, быть врачом или офицером. Чтобы стать кем-то, надо учиться. Учиться он или не мог, или не хотел. "Возможно у него были очень бедные родители, а в Турции, как и во всех капиталистических странах, образование очень дорого стоит," - не унимался я. "Вот вы же ничего не сделали, чтобы, допустим, этот способный мальчик стал, например, тем же врачом!" Я был хорошо подготовлен, чтобы загнать этого "буржуя" в угол. "Нет, - сказал он, - Я сделал и делаю для этого все, что могу. Все, что в моих силах - со всех видов моего большого заработка я плачу очень большие налоги. Мои деньги идут в бюджет государства, которое строит школы, где каждый с детства может проявить себя. Если этот юноша очень хотел бы стать врачом, он бы хорошо учился в школе, а потом бы устроился работать и подрабатывая он мог бы поступить в университет. Я убежден, что его очень устраивает эта работа. Она ему и нравится, и выгодна". После этих слов он жуткс заскукал. Видимо диалог с бывшим отличником по "диамату" его не вдохновлял. И я умолк. Но все равно, наблюдая работу официантов, где бы я не был в Стамбуле, я не могу привыкнуть к их вдохновению, не могу смириться с тем, что они бегают, именно бегут мимо меня с радостным, полным самоуважения лицом, выполняя заказ, я на могу смириться и лично раздражаюсь, когда они бегут навстречу мне и называют меня мистером, или того хуже - "сэром", стараются успеть отодвинуть стул, чтобы мне было удобно сесть. Не то, чтобы в этот момент я скачу по Родине. Не то, чтобы я вспоминаю, например, как я три дня пытался попасть хотя бы в один московский ресторан в надежде отметить там маленький праздник вместе с любимой женщиной. Не то, чтобы во мне всплывает море хамства, унижения,

страха даже, перед этим сильнейшим классом так много лет нас унижавшим: официанты, таксисты, приемщики белья в прачечных, продавцы в магазинах, паспортистки в ЖЭКах. Не то, чтобы мне вспоминались слова водопроводчика. Устанавливая ванну в квартире после ремонта, он, стоя на коленях и укрепляя что-то там внизу, с нескрываемой злобой и непонятным весельем и в то же время на полном серьезе пропеживал сквозь зубы: "Убивать вас всех пора", дальше шла брань. И убьют. Если не как коммуниста (он решил, что я коммунист, так как моя квартира на Солянке, тогда еще возле ЦК КПСС), то как КГБешника (это из-за того, что КГБ тоже рядом), ну а если не как КГБешника, то как еврея точно убьют... Тут он попал в точку, хотя и не знал, что я еврей. Впрочем, знал. Ведь, кроме всего прочего, рядом с Солянкой еще и синагога... Так что не это я вспоминаю, глядя на официантов в Стамбуле, не пожелание быть убитым. Нет. Все же не все слесари или официанты желают нас видеть мертвыми. В нашей стране. Просто опять вступает многолетнее. То, что в крови. Неготовность внутренняя, очень глубокая неготовность к естественному ходу вещей. Это, конечно, грустно. Грустно, что жизнь "враздробь". Так глубоко, почти генетически проникла в нас, ведь мы же хотим надеяться. И поразительно, что какой бы виток впечатлений я не проходил, здесь в Турции я упираюсь в одно. В понятие "время". Но ведь время для каждого из нас это не только понятие историческое или метафизическое. Это еще и просто наша жизнь. Это жизнь моей маленькой дочери. Куда мне деться от ее вопроса: "Папа, почему девочка ругала меня? Почему она выгнала меня из магазина?" Да, одно из первых впечатлений окружающей жизни у четырехлетней девочки была встреча с девочкой постарше, семилетней. И та, семилетняя, подошла к моей Саше и почему-то закричала на нее: "Пошла отсюда вон!" И вытолкала ее из магазина, пока дедушка что-то там покупал. Саша долго плакала. И много раз спрашивала всех нас:

"Почему?" Я не думаю, чтобы в цивилизованных странах не было зла. Оно есть в природе человека. Я не думаю, что там не возникает ничего подобного. Я думаю, это есть везде. Было и будет. Но я думаю о масштабе. О мере зла. Когда в воскресный день в церкви в Болонье, в Италии, где делают хорошие товары и машины, где работают заводы и фабрики, где много людей много и хорошо, а подчас и тяжело трудится, собираются семьями, с детьми, и часами, буквально полдня проводят в атмосфере храма, где звучит орган, поет хор и слышна молитва, и именно дети, очень много нарядных детей, проводят время именно там, в храме, они там ведут себя как дети, они хихикают, иногда носятся, иногда вдруг их собирает священник и что-то им говорит, и они улыбаются, и он их чем-то угощает, а потом они вдруг примолкают, и наступает тишина и слышна только музыка и только молитва - я думаю, зачем бы итальянцам это надо. Неужели они настолько глупее нас, чтобы столько времени "терять даром". Петь, слушать орган. Молиться. Зачем им это? Вот мы все это уничтожили. Расстреляли священников. Изгадили, разрушили храмы. Стараемся воспользоваться выходным, чтобы что-то сделать. А они теряют время, гады! Делать им нечего! А стирка? А продукты? А уборка? Да, мы не ходим в церковь по утрам. Мы намного обошли глупых итальяшек. Может быть поэтому у нас нет ничего. А у них есть все. Поэтому нам надо возвращаться. Возвращаться тяжело. Дома нет. Есть пепелище. "Все враздробь". Когда еще возникнет потребность в молитве у меня и у моих сограждан? Не потому, что сейчас это в моде. А по потребности души, по воспитанию. По маме и папе. Когда еще утром много-много наших детишек пойдет в нарядных костюмчиках и платьях в нашу церквушку на Солянке. Когда еще не толчок, не пинок, не ругательное слово будет первым, что узнает человек у меня на Родине. Когда еще какой-нибудь придворный вдохновится памятью и посвятит стихи своей домработнице и спросит ее: "Что ж ты, моя подружка..."

С. Ивашкин

Подробности из архива

Уважаемая читающая публика!

Рискну оторвать Ваше внимание на нижеследующем материале из архива А. П. Чехова, хранящегося в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (бывшей Ленинке). Ф.331.26.3-е. Это писарская копия протокола Корсаковского окружного полицейского управления о показаниях Василия Семенова и американских граждан с парусного барка, замеченных и доставленных В. Семеновым в Тунаичи 9 сентября 1890 года.

Копия

Протокол

1890 года сентября 18-го дня, составлен настоящий протокол в Корсаковском окружном полицейском управлении о нижеследующем: сего числа, временно проживающий в Корсаковском округе, Николаевский мещанин Василий Семенов, розыскивающий в пределах округа залега каменного угля, доставил в пост Корсаковский шесть неизвестных человек и заявил, что он встретил этих людей 9 сентября в м. Тунаичи, где у них был вельбот с двумя свежезаделанными пробойнами, орудие для метания гарпунов и шесть гарпунов; не зная наречия на котором говорили встреченные им люди Семенов повел их на пост, довольствуя своей провизией в течении 9 дней.

Будучи спрошены начальником округа доставленные Семеновым люди, показали, на английском языке, следующее: зовут нас: Онорио Енмагин (Honorio Amatin), Уильямс Гриффит (William H. Griffitt), Джеймс Кук (James d. Cook), Джон Стефенсон (Jon Stephenson), Веньямин Гаргрэв (Benjamin F. Hargrave), и Иоган Петер (Jon Peter), все мы американские граждане и матросы с американского парусного барка "W. R. Charles

W. Morgan", принадлежащего компании "P.W.P. Wing and Co.". Барк этот с экипажем из 36 человек, под командой шхипера John S. Layton, вышел из С.Франциско 3 декабря 1889 года на китовый промысел; в конце июня сего года мы пришли в Владивосток, оттуда вышли 5 июля в Японское море, на охоту за китами, охота была неудачна и мы не поймали ни одного кита, наконец 1-го сентября, около часу дня, с барка заметили кита приблизительно в 100 милях на О.Н.О. от мыса Тонины и мы все поименованные выше шесть человек, по приказанию шхипера, сели в шлюбку и погнались за китом, подъехав на близкое расстояние к киту, загарпунили его и пошли за китом на буксире, кит чрезвычайно быстро потащил нашу шлюбку и от сильного хода шлюбка дала течь в двух местах по килу, вследствие чего мы были вынуждены обрезать буксир и пустить кита, в это время уже стемнело и мы потеряли из вида барк; заделав по возможности пробойны в шлюбке и постоянно отливая воду мы держались в море всю ночь, на утро 2-го сентября туман и мы потеряв надежду найти барк, пошли к берегу, по компасу, и высадились 4-го сентября около мыса Тонины, хлеба у нас было 10 фунтов и мы питались им все время; 5-го сентября мы спустили шлюбку и пошли в море желая обогнуть мыс Аниву, но за свежим ветром должны были воротиться и остановились в Тунаичи, где нашли аинцев, которые дали нам рыбы, 9-го сентября в Тунаичах нас встретил г. Семенов, с которым мы переехали на нашей шлюбке Тунаичинское озеро и отправились в порт Корсаковский, дорогой нас кормил г. Семенов в течении 9 дней; шлюбку нашу, по нашему желанию, угнали аинцы обратно и мы рассчитываем, что на будущей год барк наш вероятно придет на промысел и возьмет шлюбку.

Все показали по истинной правде и к этому присовокупляем, что мы желаем бы быть отправленными в один из ближайших портов в кото-

ром есть американский консул. К сему показанию, данному нами на английском языке подпишемся. -

Показание вышеподписавшихся переводил П. Лемашевский сентября 23-го дня 1890 года.

Показание снимал начальник Корсаковского округа Белый. С подлинным протоколом верно И. Д. секретаря Корсаковского окружного полипейского управления С. Фельдман.

Пунктуация сохранена. Подготовка текста осуществлена Ивашкиным С. Н.

Эдуард Дучинский А. П. Чехову
Защита по делу об оскорблении
ссылнокаторжным Догиновым
смотрителя Александровской
тюрьмы на о. Сахалин. Произнесена
в заседании военно-полевого
суда 11 апреля 1890 г. защитником
обвиняемого кол. рег. Эдуардом
Дучинским. Рукопись хранится
ОР РГБ Ф.331.26.3-е/4

Многоуважаемый Антон
Павлович!

Присылая здесь свою защитительную речь, которой Вы интересовались, прошу Вас только, эту присылку оставить между нами.

Готовый к услугам Эдуард Дучинский

P.S. Если встретятся грамматические ошибки, великодушно прошу простить, поспешной перепиской.

Господа судьи!

Приступая к защите обвиняемого ссылнокаторжного Догинова, я должен сказать, что главным препятствием на пути этой защиты, считаю не характер самого преступления, но обобщение его с подобными поступками вообще: - обобщение, которое, как тяжелый посторонний груз, мнимо отягчает вину. Как бы то ни было, я изложу здесь все данные, какие имею в оправдание обвиняемого. Речь моя будет коротка: - не мншурным красноречием, а простотой и правотой доводов хочу я стать перед

вами, господа судьи, в обороне Догинова. Факт преступления существует; отрицать его было бы нелепо. Но самое существование исключает ли возможность защиты? Конечно нет.

1) Преступление, вообще, есть нарушение существующего действующего закона. Оно, т.е. преступление, состоит из двух элементов, а именно: воли преступника, и приведения этой воли в исполнение, или преступного деяния. За действия взыскивается только потому, что оно есть выражение воли свободной, плод непринужденной решимости человека. 2)

Оба элемента - и злое дело, и воля преступника непременно должны найти себе место в рассмотрении каждого преступления. В самом деле, там где не существует одного из элементов, там наши законы не признают существования преступления.

Убийство, воровство и пр., совершенные душевно-больными, не признаются преступлением; равно не признается им намерение или желание к совершению преступления умственно здорового человека; если это намерение или желание не получили применения на деле. Если, следовательно, судья обращает внимание на те или другие функции преступного деяния, одинаково должен он уделять внимание и функциям воли преступника, - на отсутствие или по крайней мере, на минимальном ничтожестве элемента воли в преступлении Догинова я и буду опирать свою защиту. Чтобы не быть голословным, скажу, как представляется мне критика самого преступления.

Догинов уклонился от работы. Этот проступок сам по себе, не важен и часто имеет место в наших тюрьмах. 27 марта обвиняемый был назначен на очистку снега при доме Господина Начальника Острова, но до вечера скрывался в казарме тюрь-

Поставленная часть текста между 1.) и 2.) заимствовано из "Учебника уголовного права" Спасовича.

мы. Это было обнаружено в тот-же день, и подсудимый был приведен на работу, а на ночь заперт в "кандальную". - Выведенный, на другой день, на работу, он не мог знать об ожидавшем его наказании и предполагал, что последнее ограничилось его ночным арестом в кандалной. - Но вот, часов в 10 утра, его требуют к смотрителю тюрьмы и, совершенно для него неожиданно, ведут в так называемый, 9 тый N, где, как известно, наказывают провинившихся арестантов. Ясно, какое тяжелое впечатление должна была произвести на него эта неожиданность. Он не был готов к ней, он не успел, в уме своем, примириться с этим тяжелым физически, и особенно нравственно, наказанием, не успел сознать необходимость подчиниться ему. - Проступок его, выразившийся в оскорблении, которое он нанес смотрителю тюрьмы, был протест инстинктивный, мимовольный. Преступление совершилось; но можно ли признать его вполне вменяемым? Преступление Догинова принадлежит к категории дисциплинарных проступков. Какие же могли быть мотивы - привлечения подсудимого к военно-полевому суду т.е. придания этому проступку первостепенной важности? Мотивы эти ясны и просты; они суть, с одной стороны, рецидивизм обвиняемого, с другой опасность для общества, подобных проступку Догинова, необузданных проявлений.

Разберем эти мотивы. Рецидивистов часто называют: **упорными преступниками**. Именно это то упорство, большею частью, сопровождающее рецидивизм преступлений, и составляет самую опасную, самую беспросветную и требующую строгого возмездия закона характеристическую черту рецидивизма.

Но можно ли назвать упорным обвиняемого Догинова? Конечно нет. - Все его преступления суть мгновенные мимолетные вспышки необузданного характера. Однородность этих преступлений ясно указывает на известную нравственную болезненность, **избавление от кото-**

рой, едва ли много зависит от воли человека.

Ни одно из преступлений Догинова не носит на себе характера обдуманной воли, ни одно из них не могло клониться в его пользу и, если мы признаем за обвиняемым, хотя бы, самое незначительное количество здравого смысла, мы должны признать, что в проступках его не было и тени преднамеренного желанья. - А если так, можно ли, справедливо ли будет обращать внимание на их совокупность?

Нет, они должны быть рассматриваемы отдельно, - и, раз первые два преступления получили уже через закон должную кару, безусловно справедливо будет, оставить в стороне рецидивизм обвиняемого, судить лишь о его последнем преступлении. Почти то же должен буду я сказать, рассматривая факт оскорбления господина смотрителя тюрьмы - как явление опасное для общества. Хотя разбираемый проступок уже не первый, в ряду ему подобных, но, слава Богу, факты, подобные разбираемому теперь, все-таки являются фактами единичными и настолько редкими, что не могут представить серьезную опасность - как эпидемия известного рода преступлений.

Имя ввиду вышесказанное, нужно признать возможным не отягчать подсудимого обобщением подобных преступлений. Теперь, если выделим из преступления обвиняемого его рецидивизм и обобщение с однородными проступками других, посмотрим: каким является нам разбираемое дело. -

Догинов не совершил ни одного из тех преступлений, которые как например кража, поджог, убийство, по большей части, сопровождаемые заранее обдуманным намерением, выставляют преступника развращенным злодеем. Обвиняемый есть просто человек нравственно больной, при чем вред от этой болезни пагубно отзывается, прежде всего на нем самом. Закон отметил, закон покарал уже эту вредную черту его характера; но при отсутствии возможности к

покорению этой болезни, при отсутствии данных, справедливо ли будет, чтобы закон до конца карал проявления ее, доводя, наконец, подсудимого до высшей степени наказания?! Более строгий надзор за подобным человеком, ограничение его воли административными мерами - вот прямая к нему обязанность общества. -

Господа судьи! Вспомните, что перед вами не отвлеченная идея или факт, а живой человек, и вам ясна станет простая правдивость, приведенных мною выше доводов. -

В жизни почти каждого человека, могут быть минуты вспыльчивости, ведущие за собой ненормальные и вредные для общества проступки; но вменяемость этих проступков всегда ограничиваемая, именно вследствие отсутствия в них элемента сознательной воли.

Если же существует возможность оправдания этих проступков даже у людей развитых, интеллигентных, не чуждых ясного понимания общественных законов, тем более заслуживают они оправдания, когда в них виновны люди, подобные Догинову.

Вопрос насколько общественный строй, условия жизни и среды, в которых поставлен обвиняемый, влияют на него, дают ли они ему достаточное количество данных к исправлению и наконец, вопрос о том, насколько избежание рассматриваемого преступления зависело от воли преступника - все эти вопросы нельзя обойти. Ссылнокаторжный Догинов - человек необразованный, осужденный жить в среде товарищей, по большей части, глубоко развращенных, не имел и иметь не мог данных к исправлению. Есть положения, есть потребности, удовлетворение которых выше средств современного общества. - К таким потребностям я отнесу доставление преступнику, радикального средства к исправлению. Но раз общество не в силах сделать что-нибудь существенное на этом поприще, оно не может и безусловно требовать дейст-

вительного, сознательного и прочного исправления.

Это будет верно в применении к злой воле и безусловно справедливо там, где, как в данном случае, преступность субъекта есть болезненная ненормальность характера.

Преступление и лицо, его совершившее, не могут рассматриваться отдельно, вот почему все, вышприведенные доводы должны быть приняты во внимание. -

Тем тяжелее налагаемое наказание, тем более должно быть обращено внимание на степень его необходимости, а следовательно, на возможность избежать или смягчить его. - Обвиняемый ссылнокаторжный Догинов судим полевым судом с применением к нему ст.98 - 2 часть XXII кн.вв. Воен. изд. 1869, следовательно, законов военного времени. - Ввиду этого, считаю долгом обратить внимание ваше господа судьи, на различие опасности для общества преступления, совершенного ссылнокаторжным Догиновым, с подобным же преступлением, если его совершит в военное время солдат. Преступление последнего особенно важно и опасно потому, что сам преступник, всегда вооруженный, составляет элемент большого собираемого тела - войска. Последнее представляет известную силу и пока слепо подчиняется закону и служит орудием государства - признается необходимым. Выходя же из повиновения закона или государства, оно видоизменяется в грубую, произвольную и опасно вооруженную толпу. Но если войско составляет силу или орудие государства, то корпорация остальных, как собирательное тело, есть тело больное, постоянно находящееся под надзором государства. Ясно следовательно, как несправедливо было бы утверждать одинаковость опасности преступных проявлений солдата в строю или ссыльного в тюрьме. - Обобщая все сказанное мною, я отмечаю, что ввиду отсутствия обдуманной воли в преступлениях Догинова, возможно рассматривать его преступление не-

зависимо рецидивизма; что за применением крайней необходимости преступление это может быть избавлено также и от обобщения его с подобными преступлениями других ссыльных. В то же время, обвиняемый не представляется мне, как безнравственный негодяй, а лишь, как человек большой воли и безусловно заслуживает снисхождения. Кроме того, я вижу, что, снисхождение это, смягчение его участи возможно и неопасно для общества.

Ввиду вышесказанного ходатайствую перед вами, господа судьи о, возможно большем смягчении участи подсудимого. Подсудимый Догинов заслуживает этого снисхождения, потому что совершил преступление без тени преднамеренного желания, совершил его под тяжким нравственным гнетом ожидаемого наказания, в тупом страхе этого наказания; заслуживает потому, что в прошлом его нет жертв, вопиющих о месте закона; заслуживает, наконец, тем что живя среди более его развращенных товарищей, не мог иметь ни помощи к исправлению, ни доброго нравственного влияния, могущего уврачевать болезнь его воли. -

Господа судьи! Призывая вас к снисходительности и состраданию для виновного, я вижу в этом снисхождении не слабость, непреложную обязанность справедливых судей, когда они, не довольствуясь одной тенью преступления, но вникая в его нравственные начала, признают и вменяют виновному все то, что стоит в его личности.

Еще раз прошу вас, господа судьи, приняв вас вышесказанное во внимание признать и применить подсудимому смягчающие обстоятельства в высшей их степени.

10 апреля 1890 г.

Пост Александровск

Эдуард Дучинский служил адвокатом в Александровском poste на острове Сахалин. Характерно, что Дучинский стремится сохранить в тайне присылку текста своей речи А. П. Чехову. Такова реакция была и у чи-

новников Главного Тюремного Управления в Петербурге и у писателей художников. Реакция неприятия этого грандиозного путешествия-исследования, непонимания. Что влекло А. П. Чехова через Сибирь на край Российской империи? На этот вопрос пыталось ответить не одно поколение литературоведов. Но документы чеховского архива фонда N331, хранящегося в отделе рукописей Российской государственной библиотеки говорят, что именно факты реальной жизни интересовали писателя на далеком острове, поэтому А. П. Чехов собирал документы и об охоте американских китобоев и речь защитника в суде и многие другие исторические и социально-этнографические материалы.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РУССКИЕ МАРКИ В СОБРАНИИ ДОМА-МУЗЕЯ А. П. ЧЕХОВА В ЯЛТЕ.

Известно, что А. П. Чехов не был филателистом. Но в мемориальном фонде Дома-музея писателя в Ялте сохраняется 30 упаковок почтовых марок и 142 разрозненных почтовых знака. Долгие годы содержание пачек оставалось своеобразной *terra incognita*. Несколько лет назад после решительных колебаний и консультаций со специалистами было решено рассыпать 3 упаковки и провести попредметную научную обработку 1,5 тыс. марок в той последовательности, как их уложил А. П. Чехов. Это дало возможность судить о составе упаковок, датах выпуска, рисунке и государственной принадлежности почтовых знаков.

В пачках оказались марки большинства стран Западной Европы, США, Канады, Японии, отдельных регионов Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии. Подавляющую массу составляют стандартные почтовые знаки Российской империи. Фрагменты штемпелей сохранили названия отделений связи и даты гашения марок.

Довольно интересно и полно в чеховском собрании проявилось филателистическое "лицо" Западной Европы.

Сюжеты 241 знака отразили перемены общественно-политической жизни Франции II половины XIX века. Открывают серию марки Второй империи. Зеленая 5-сантиметровая миниатюра выпуска 1853 - 60 гг. воспроизводит Луи Наполеона Бонапарта III (1808 - 73) с волнистыми волосами, пышными усами и курчавой бородой. На коричневой 30-

сантиметровой марке образца 1863 - 71 гг. голову императора украшает лавровый венок. Почтовые знаки, связанные с Временным правительством Франции 1870 года, отличаются изображением головы античной богини земледелия и плодородия Цереры с хлебными колосьями и гроздьем винограда в прическе.

Основная часть французских марок в исследуемом собрании была издана в период Третьей республики. В их сюжетах преобладает группа аллегории Мира и Коммерции. Перед нами воспроизведение античной богини с масличной ветвью в левой руке и Меркурия в дорожном шлеме и жезлом - в правой. Свободные кисти рук аллегорических фигур соединены в рукопожатии на фоне Земного шара, перед которым щит с цифровым номиналом марки. По фрагментам почтовых штемпелей можно отнести названные знаки к периоду 1889 по 1903 гг.

Рисунки значительного числа французских марок 1900 - 02 гг. (тип Mouchon) пронизаны идеей гуманизма и справедливости. Ее олицетворяет сидящая женщина в пышном одеянии, с лавровым венком на голове. В руках - полуразвернутый свиток с надписью "Права человека". В ряде почтовых знаков 1903 - 04 гг. использован художественный образ сеяльщицы в лучах восходящего солнца. С миниатюр начала XX столетия (тип Blanc) предстают крылатая богиня возмездия Немесиды с весами в правой руке и два целующихся амурчика. Своеобразным символом расцвета Французской республики воспринимаются знаки образца 1900 - 27 гг. (тип Merson), погашенные в 1901 - 04 гг. На них изображена молодая, полная сил женщина в крестьянском одеянии возле лаврового дерева, опершаяся левой рукой в рукоятку воткнутого в землю меча. Ее поза спокойна, *раскованна, величава.

На марках французских колоний Гваделупы, Гвиней и Мартиники преобладают мотивы могущества и процветания их метрополии. В центре

композиции - аллегии Франции с железом в правой руке и Коммерции с Рогом изобилия - в левой. Они восседают на пьедестале со щитом для числового номинала, а свободными руками сжимают древко державного стяга государства.

На 130 миниатюрах Швейцарской Конфедерации употребляется старинное латинское название страны Гельвеция. Девять знаков запечатлели сидящую женскую фигуру в пышном белом одеянии с копьем и щитом, на котором выделяется белый крест. Смешные календарные даты определяют время использования их для франкировки корреспонденции: 1870 - 72 и 1876 гг. Марки образца 1882 - 1904 гг. сопровождает изображение стоящей женщины с теми же атрибутами. Пометы отделений связи датируют эти экземпляры 1897 - 98 и 1900 - 04 гг. Очень широк хронологический диапазон штемпелей на миниатюрах, отмеченных подковообразным медальоном с надписью "Гельвеция" и белым крестом внутри его: с начала 1890 годов до отъезда А. П. Чехова из Ялты 1 мая 1904 г.

Интересны, на наш взгляд, 2 марки 1900 г., посвященные 25-летию Всемирного почтового Союза (1875 - 1900). Аллегорический рисунок весьма удачно передает цели и задачи этой межправительственной организации. На переднем плане выделяется фигура молодой женщины с крылышками у висков. правой рукой она рассыпает письма, а левой держится за телеграфный столб, от которого расходятся линии проводов. Изображение выполнено на фоне Земного шара. Оба знака погашены в юбилейном году.

Довольно многочисленны в публикуемом собрании имперские марки.

218 германских почтовых знаков по художественному исполнению можно подразделить на несколько типов. Для рисунка марки 1872 г. в 1 грошен использован имперский герб - одноглавый орел с короной. Помечена она штемпелем с той же датой.

Эта композиция повторяется в ряде миниатюр 1879 г., на которых следы помет 1884 и 89 гг. Марки с фрагментами почтового штемпеля тех же лет сюжетно обособляет декоративный овальный медальон с цифровым номиналом.

Названные рисунки развиты и упрощены на знаках 1889 - 1900 гг. Аллегория Германии в виде поясной женской фигуры в кольчуге, с короной на голове и императорской мантией на плечах - определяющая особенность миниатюр 1900 г. Даты гашения относят перечисленные образцы к 1890 - 94 и 1898 - 1903 гг.

Набор марок Баварии - второго по площади и населению государства Германской империи - устойчиво повторяет белое изображение королевского герба: двух львов, стоящих на задних лапах и держащих передними овальный щит, увенчанный короной. Если судить по фрагментам почтовых штемпелей, они были изданы в 1890-х годах.

4-шиллинговая зеленая марка 1866 г. с числовым номиналом, наложенным на архитектурное сооружение в рамочке со срезанными углами, олицетворяла вольный город Гамбург - союзное государство Германской империи.

Два почтовых знака выпуска 1890-х годов с цифровым номиналом в рамочке из пары горизонтальных симметрично расположенных подковообразных медальонов принадлежали крупнейшему из немецких союзных государств королевству Вюртенберг. 5-пфенниговая фиолетовая марка с надписью по диагонали "Служебная связь" предназначалась для гербовой службы королевства. 4 октября 1883 г. на ней оттиснут почтовый штемпель.

Германскую серию в музейной коллекции завершает знак почтовой оплаты 1900 г. достоинством в 1 марку красивого карминного оттенка с воспроизведением архитектурной достопримечательности Берлина - здания имперского почтамта. Грязные оттиски штемпеля, датированного 9 мая 1901 г. стирают, к

сожалению, ощущение перспективной глубины от этой изящной миниатюры.

Собрание австрийских почтовых марок насчитывает 136 единиц. В него входят экземпляры всех выпусков с портретом императора Франца-Иосифа I (1830 - 1916). Наиболее ранние представлены образцами 1867 - 80 гг. На знаках 1883 г. выполнен герб Австро-Венгрии - 2-главный орел с короной и щит с цифровым номиналом.

26 венгерских миниатюр периода Австро-Венгерской монархии характеризуют нейтральные сюжеты: белый почтовый конверт с цифровым номиналом в венке из лавродубовых веток под короной или же изображение короны святого Этиенна и парящего над ней орла. Нескольких почтовых штемпелей датированы 1890, 97 и 1901 - 03 гг.

Британские марки (96 экземпляров) особым разнообразием не отличаются. На них преобладают оплечные портреты королевы Виктории (1819 - 1901) и короля Эдуарда VII (1841 - 1910). Лик королевы украшает также знаки почтовой оплаты английских колоний Гонконг, Индия, Маврикий, Новая Зеландия, Тринидад, Цейлон, Южная Австралия, Ямайка, английского доминиона Канада. На марке южноафриканской провинции Трансвааль, аннексированной Великобританией в 1902 г., снова встречаемся с обликом короля Эдуарда VII.

Штат Перак (английская колония Малайя) представлен экземпляром с изображением головы ощерившегося тигра и почтовым штемпелем 1900 г. Аллегорический сюжет миниатюр Мыса Доброй Надежды образца 1892 - 94 гг. отражает специфику британской экономики: молодая женщина в античном платье, присевшая на стержень судового якоря возле виноградной лозы, держит за шею левой рукой тонкорунного барана с закрученными рогами.

Заслуживают внимания, как нам кажется, рисунки почтовых знаков 1888 г. Нового Южного Уэльса. Они

запечатлели черты английского мореплавателя Джеймса Кука (1728 - 79), панораму административного центра штата города Сиднея, характерного представителя австралийской фауны страуса Эму. На фиолетовом и голубом фоне миниатюр 1897 - 98 гг. четко вырисовывается профиль королевы Виктории. На розовой марке в 1 пенни того же выпуска мы видим увенчанный короной щит с крестом, на концах которого по одной 5-копеечной звездочке, а в центре - фигура льва. В изящной позе, с красивым изгибом шеи застыл лебедь в декоративной прямоугольной рамке на розовом знаке почтовой оплаты в 1 пенни, выпускавшемся в 1885 - 93 гг. британской колонией Западная Австралия.

Королевские марки в изученных упаковках А. П. Чехова не столь многочисленны (90 экземпляров). Это своеобразная филателистическая галерея европейских монархов и гербов их государств.

Бельгийское почтовое ведомство увековечило Леопольда I (1790 - 1865) на 20-сантиметровом голубом знаке 1863 г. и Леопольда II (1835 - 1909) в более поздних выпусках. Одна миниатюра погашена 8 мая 1882 г. На марках образца 1869 - 78 гг. в овале внутри прямоугольной декоративной рамки указан цифровой номинал и название денежной единицы. Сверху овал частично прикрыт королевским гербом с короной. Снизу его заслоняет фигура льва, лежащего на пьедестале с надписью "Бельгия". Две марки имеют почтовые отметки: 20 марта 1893 и 9 ноября 1900 гг.

На коричневом полпентовом знаке королевства Нидерландов доминирует государственный герб и просматривается дата гашения 9 декабря 1871 г. (?). Другие миниатюры запечатлевают облик короля Гильома III и черты королевы Вильгельмины (1880 - 1962). Нидерландские марки, в центре которых отсчитут числовой номинал, сохраняют почтовые штемпели от 29 сентября 1893 и 5 апреля 1895 гг. Изображение короля Гильома III воспроизведено также на 25-

центовой марке нидерландской колонии Индии (выпуск 1870 - 86 гг.).

Королевский герб и оттиск числового номинала использовались для оформления миниатюр Дании и ее колонии Санта-Крус. Марки с портретом короля Швеции и Норвегии Оскара II (1829 - 1907) датированы штемпелями от 23.02.1885 и 24.01.1890 гг. Принадлежность к гербовой службе Швеции определила содержание рисунка на коричневой марке в 30 эре: два льва с коронами на головах, поднявшись на задние лапы, придерживают передними увенчанный короной щит с белым крестом через все поле. 20 июля 1883 г. был поставлен на нее круглый штемпель.

Норвежский знак достоинством в 10 эре розовой расцветки включает в круглый завиток почтового рожа под короной свой цифровой номинал и имеет дату гашения "1.VI.93".

Наиболее ранняя миниатюра с гербом конституционной монархии Испании относится к 1874 г. За ней - выпуск 1875 г. с портретом короля Альфонса XII (1857 - 85). А последующие марки сохраняют память о младенце, затем оноше короле Альфонсе XIII (1886 - 1941). На одном знаке мадридский почтовый штемпель от 14 мая 1933 г.

Португальское почтовое ведомство пополнило европейскую портретную галерею изображениями Людовика I (1838 - 89) и Карла I (1863 - ?), итальянское - ликами короля Сардинии и первого монарха объединенной Италии Виктора Эммануила II (1820 - 78), его сына Гумберта I (1844 - 1900) и внука, последнего короля Италии Виктора Эммануила III (1869 - 1947). Румынское ведомство включило сюда погрудный портрет Карла I (1839 - 1914).

К данной группе примыкают марки двух княжеств. Четыре миниатюры из Монако выпущены в 1901 г. и снабжены изображениями князя Альберта I. Болгарские знаки запечатлевают сходящего на задних лапах льва с короной на голове и Ферди-

нанда I Кобургского (1861 - 1948). Их датируют штемпели от 8.10.1895 и 23.05.1903 гг.

На 8 экземплярах греческих марок конца XIX столетия повторяется рисунок головы античного бога торговли, покровителя путешественников Меркурия в шлеме с крылышками. Один знак погашен 18 февраля 1901 г.

Набор американских почтовых марок из 40 единиц в чеховских упаковках посвящен президентам и политическим деятелям США. Он включает выпуски 1870 - 1903 гг. Открывает собрание миниатюра в честь первого президента Д. Вашингтона (1732 - 99). В этой филателистической галерее американской федерации нашли место один из авторов Декларации независимости и Конституции Соединенных Штатов Америки Б. Франклин (1706 - 90), президенты Т. Джефферсон (1743 - 1826), А. Джаксон (1767 - 1845), А. Линкольн (1809 - 65), У. Грант (1822 - 85), Д. Гарфилд (1831 - 81), американский сенатор и госсекретарь Д. Вебстер (1782 - 1852).

Красиво и торжественно оформлены миниатюры из "Серии 1902 г.", объединившей выдающихся представителей американской нации. Сюда вошел борец против рабства в США А. Линкольн. Изображение его выполнено в овальном медальоне. С боков две женские фигуры - аллегории свободы и независимости страны - держат по государственному флагу и ленту, накинутую сверху на медальон. Портрет седьмого президента Андрия Джаксона помещен в помпезную рамку, которая включает двух Атлантов, подпирающих свод с надписью "Соединенные Штаты Америки". Перед ними щит с числовым номиналом знака.

Нельзя не назвать 2-центовую фиолетовую горизонтальную художественную марку "Высадка Колумба", созданную по произведению живописца Ван дер Лина. Почтовое ведомство США выпустило ее в 1893 г. к 400-летию открытия Америки (1492 - 1892).

Единичные экземпляры знакомы с филпродукцией стран Латинской Америки. С них предстает аргентинский президент Б. Ривадавия (1780 - 1845). Довольно колоритно на колумбийской марке 1890 г. выглядит рисунок орла с распростертыми крыльями и змеей (?) в клюве, сидящего на треугольном щите. Создателем двух чилийских знаков почтовой оплаты привлек мореплавателя Христофор Колумб (1451 - 1506). На мексиканскую 4-сентавовую оранжевую миниатюру 1895 г., отражившую бытовую сценку: навьюченного осла и едущего за ним всадника, - наложен почтовый штемпель с датой "21 пов. 98". Сюжет 5-сентавовой голубой марки того же выпуска со статуей Куатемока в центре композиции сохраняет память о верховном правителе ацтеков, борце против испанских завоевателей (1494? - 1525). 22 мая 1897 г. в городе Мериде отметили ее круглой почтовой печатью.

По нескольким образцам можно составить суждение о художественной стилистике марок Востока и Африки. Оттоманская империя (Турция) использовала для этого характерные растительные мотивы и полумесяц. Иран - сочетание восточного орнамента с изображением льва под короной, с кривой саблей в правой передней лапе. Своеобразным символом Египта воспринимаются рисунки сфинкса и пирамиды Хеопса. Знаки солнца, розетки и цветущие растения - неперменные атрибуты марок Японской империи. Китайская миниатюра 1885 г. приносит дань почитания мифологическому чудовищу дракону, олицетворявшему в народном представлении мощные силы природы.

Одна упаковка целиком состояла из стандартных российских марок, использованных для франкировки корреспонденции в 1888 - 1903 гг., затем собранных А. П. Чеховым. Знаки II половины XIX века различного достоинства содержат воспроизведение шапки Мономаха, герба Российской империи и символов

почтовой связи: двух симметрично расположенных рожков и пары переkreшивающихся молний. На них штемпели почтово-телеграфных контор Москвы, Петербурга, Севастополя, Ставрополя, Тамбова, Харькова, Ялты и других административных центров России.

Среди этой стандартной филпродукции выделяется 3-копеечная марка 1893 г. Оргеевской земской почты Бессарабской губернии. На ней уездный герб - дерево с кроной и корона. Она, надо полагать, представляет несомненный интерес.

Имеется также ряд финских знаков почтовой оплаты 1884 - 85 гг. и русско-финляндских марок выпуска 1889 - 95 гг., которые воспроизводят государственный герб Великого княжества Финляндского - автономии Российской империи.

Проведенный обзор свидетельствует о весьма богатом и интересном составе изученных упаковок чеховских марок, определяет их ведомственную принадлежность и хронологические рамки бытования - II половина - XIX - начало XX столетий. Верхняя дата гашения предшествует отъезду А. П. Чехова из Ялты. Следовательно, почтовые знаки были укомплектованы и связаны в пачки в начальные месяцы 1904 г. По размерам миниатюр можно заключить, что оставшиеся 27 упаковок за небольшим исключением составляют российские стандартные почтовые марки того же периода. Вполне реально среди такого большого количества пачек наличие редких экземпляров типа 3-копеечной миниатюры Оргеевской земской почты.

Значительная часть почтовых знаков отклеена А. П. Чеховым с конвертов адресованных ему писем. Отечественная и зарубежная корреспонденция беллетриста составила в настоящее время 12 томов. Часто присылали собранные почтовые миниатюры близкие знакомые чеховской семьи: художница А. А. Хояинцева, переводчица произведений А. П. Чехова на английский язык О. Р. Васильева и другие. Сначала скла-

дывал он марки в вазу, стоявшую возле письменного стола, затем упакowyвал. Когда Антон Павлович систематизировал почтовые знаки восточных регионов, в его памяти, вероятно, оживали экзотические картины, увиденные им по дороге с Сахалина в 1890 г.

"Проехал я через всю Сибирь..., - делился он тогда впечатлениями от поездки с братом Александром, - 3 месяца и 3 дня прожил на Сахалине, был во Владивостоке, в Гонг-Конге, в Сингапуре, ездил по железной дороге на Цейлон, переплыл океан, видел Синай, обедал с Дарданеллами, любовался Константинополем и привез с собою миллион сто тысяч востопинаний" (IV, 153).

Особенно запомнился Цейлон (ныне Демократическая Социалистическая республика Шри-Ланка). В письме к А. С. Суворину беллетрист назвал остров раем, и в этом раю он "сделал больше 100 верст по железной дороге..." (IV, 140). Ему очень понравились мангусты и путешественник привез домой двух замечательных зверьков. О Цейлоне напоминали постоянно четыре фигурки слонов из черного дерева и кости да древняя бронзовая статуэтка китайского божка. Эти сувениры А. П. Чехов хранил на своем письменном столе. И сейчас их можно видеть в кабинете на ялтинской "белой даче" писателя.

С достоверностью можно утверждать, что около 150 западноевропейских марок снято А. П. Чеховым с собственных писем, которые он адресовал родным из-за границы. Писатель ездил туда четыре раза. Наиболее сильные впечатления произвела первая поездка, и письма изобиловали восторженными, эмоциональными описаниями памятников архитектуры и искусства. В последующие путешествия А. П. Чехов был более сдержанным. Лишь изредка сквозь повседневные бытовые заботы прорывалось чувство потрясения от художественного вкуса и одаренности западных мастеров.

Отправился Антон Павлович заграничное путешествие со своим

близким знакомым, петербургским драматургом, беллетристом и издателем газеты "Новое время" А. С. Сувориным вскоре после возвращения с Сахалина. В письме, франкированном австрийской маркой 20 марта 1891 г., сообщал он своим родным о достопримечательностях Вены: "Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни... все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадает не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников" (IV, 199 - 200).

Ряд почтовых знаков сопутствовал чеховским письмам из Италии. В Венеции А. П. Чехов увидел "сплошное очарование, блеск, радость жизни". Сильное впечатление произвел собор святого Марка, "не что такое, что описать нельзя". Но художник слова все же рискнул сделать это 25 марта 1891 г. в письме дяде Митрофану Егоровичу: "... церковь так же стара, как Венеция, и красива так же, как она... Над главными дверями четыре коня из бронзы... Множество скульптурных украшений самой высокой стоимости. Весь храм до такой степени великолепен, что оценить его на деньги невозможно; он выше всякой цены, и местные горожане говорят, что их город не *имеет смысла без этого храма и если бы, положим, неприятели захотели уничтожить город, то для этого достаточно было бы разрушить один храм" (IV, 205).

На память о "голубоглазой Венеции" писатель привез раскрашенную фотографию с видом города. Фотографический снимок в черной раме под стеклом украшает интерьер гостиной на втором этаже мемориального Дома-музея в Ялте.

Почтовые миниатюры для своих писем А. П. Чехов покупал в Болонье, знаменитой "своими аркадами, косыми башнями и картиной Рафаэля "Цецилия", во Флоренции с му-

зьями и церквами, с Венерой Медичейской и памятником Данте, в Риме, где писатель "зачах от утомления", "шатаюсь по Ватикану", храму святого Петра, Капитолию, Колизею и Форуму, и даже посетил кафешиантан, "но не получил того наслаждения, на какое рассчитывал", в Милане, собор которого "так красив, что даже страшно", в Генуе с тьмой кораблей и кладбищем, богатым статуями.

Ряд знаков почтовой оплаты потребовался А. П. Чехову для франкировки посланий из Неаполя. Там им был осмотрен древний римский город Помпеи, засыпанный в 79 г. н.э. лавою и пеплом Везувия. Улицы, дома, храмы, театры и площади изумляли умением римлян "сочетать простоту с удобством и красотою". Он совершил также восхождение на вулкан. Огнедышащая гора произвела на туриста подавляющее впечатление: "Из кратера валит белый воюющий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит и хрипит сатана... Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет дотаккой степени высокую температуру, что в ней плавится медная монета" (IV, 212 - 213).

Серию марок можно связать с письмами из любопытного и располагающего к себе "очага цивилизации" Парижа, пронизанной курортным духом Ниццы, "разбойничьего вертепа" Монте-Карло, "где играют в рулетку". Мягкий, благотворный климат Ниццы показался Антону Павловичу райским и вызвал искреннее удивление. "Как это ни странно, - писал он 15 декабря 1900 г. О. Л. Книппер, но у меня такое чувство, точно я на луну попал. Тепло, солнце светит всюю, ... все ходят по-летнему. Окна в моей комнате настезь; и душа, кажется, тоже настезь" (IV, 152).

На отдельных знаках сохранились фрагменты почтовых штемпелей с датами или наименованиями западноевропейских городов, где именно в то время мог находиться А. П. Чехов.

Мы затрудняемся сейчас говорить о личном отношении беллетриста к филателии. В его записных книжках содержится лаконичная заметка: "Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился" (17, 56). Допустимо предположить, что в будущем он намеревался использовать этот сюжет в своих произведениях.

Пока невозможно с достоверностью утверждать, для кого предназначал художник слова собираемые марки. Однако в письмах А. П. Чехова и его близких неоднократно упоминалось в связи с этим имя художницы М. Т. Дроздовой. Не исключено, что таким образом он хотел материально поддержать бедствовавшую Марию Тимофеевну, которая могла за определенное вознаграждение передать их филателистическим фирмам. Но, к сожалению, не успел при жизни довести до конца своего намерения.

Ю. СКОБЕЛЕВ, главный хранитель Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.

Александр Шевляков

А.П. Чехов на московской сцене (новые постановки)

Нынешний тетральный сезон в Москве прошел под знаком обостренного интереса к творчеству А.П. Чехова. И не только потому, что осенью в столице состоялся Первый Международный фестиваль имени Чехова, который познакомил нас с тремя постановками "Вишневого сада", а в рамках фестиваля работал международный семинар театральных критиков "Вишневы сад. Пьеса, театр, жизнь". Спектакли, показанные театрами Берлина, Праги, Бухареста в который раз заставили говорить о всеобъемности великого писателя: на фестивале мы увидели три непредсказуемые версии одной пьесы. При этом каждая из эстетических систем, представленных постановщиками, в одинаковой мере воспринималась и укладывалась в возбужденных умах и душах любителей театра, хотя и рождала споры.

Московские театры и в прежние годы охотно ставили Чехова. Стоит ли говорить тогда о взрыве интереса к творчеству писателя в наши дни? Оказывается стоит, ибо раскрепощение театра Чехова, высвобождение его из жестких рамок трактовки образов, наблюдаемые сегодня, сделали возможной активизацию режиссерских исканий, принесших интересные плоды.

Начало 1993 года ознаменовалось целым залпом премьер по произведениям Чехова. Словно устав от "Вишневого сада", наиболее репертуарной за последние годы пьесы писателя, деятели театра переклочили свое внимание на другую. Чаще стали ставить "Дядю Ваню". Эта пьеса сегодня несомненный лидер по количеству постановок.

"Дядей Ваней" открылся новый московский театр, получивший неожиданное название: "ЕТ СЕТЕРА"

(в переводе с латыни - "и так далее, и прочее"...), художественное руководство которым возглавил Александр Калягин.

В программе первого спектакля театра напечатано обращение художественного руководителя к своему зрителю. В нем есть такие слова: "Очень часто традиция в театре служит опорой рутине, но Театр полон тайн. Даже самые изощренные теории никогда их не разгадают. И если посмотреть на все эти театральные тайны, то мы поймем - больше шансов проникнуть в них сердцем, чем критически - разумом".

У этого спектакля, поставленного режиссером А. Сабининым, - свои тайны, разгадать которые театр предлагает зрительским сердцам.

В оформлении спектакля (художник Т. Глебова) отчетливо проступают черты модерна. Присущий модерну прием плоскостной трактовки пространства, декоративная выразительность оливково-фиолетовых и бежеватых тонов в деталях оформления и костюмах определяют зрительный образ спектакля. Модерн как бы привносит в реалистическую картину оформления элемент обновления, заложенного в программе театра.

Спектакль насыщен режиссерскими новеллами. Особенно проинкновенно звучит прекрасно сыгранная В. Лановым (Астров), В. Симоновым (дядя Ваня), А. Кузнецовым (Вафля) и Т. Ленниковой (няня), придуманная режиссером сцена из второго акта пьесы, где поют: "Уж как я тебя ждала ..." и "Не искушай ...". Эмоционально усиленная драматическую коллизию действия, сцена эта вызывает теплую, взволнованную реакцию зала.

Музыка вообще интересно и разнообразно использована в спектакле, и прежде всего как компонент, окрашивающий душевное состояние героев.

Режиссер расширяет конфликт столкновения Серебрякова (А. Грачев) с дядей Ваней. В спектакле явственно ощущается непримиримость

противостояния профессора остальным героям.

У дяди Вани В. Симонова, человека физически сильного, но подчас беспомощного и нерешительного, неудачная попытка протеста вызывает депрессию. Глубоко страдая, он не видит выхода из затягивающей его обывательщины. "Все будет по-старому," - спокойно говорит он Серебрякову, хотя днем раньше с ненавистью обреченного палил в него из пистолета.

И все-таки окончательного смирения нет. Легким, едва уловимым штрихом Симонов вводит в характер своего героя вновь затеплившуюся надежду.

Прекрасно играет Серебрякова А. Грачев, безжалостно разоблачая его мнимую интеллигентность и ученость. Серебряков, в исполнении артиста, капризен, наигрывает свои болезни, повелевает окружающими.

Его никто не принимает всерьез. Астров и Вафля пародируют его манеры.

Но что-то необъяснимое удерживает их и дядю Ваню, заставляет мириться с нравственным деспотизмом Серебрякова.

В финале спектакля чистая как ангел Соня (Н. Щукина) размост границы сцены, приблизится к нам, живым, сегодняшним, как и герои пьесы пережившим трагизм собственных будней. От ее легкого прикасновения наполнятся наши сердца болью за тех, кто страдал, за тех, кто страдает, и родится вера, что все-таки "мы отдохнем!"

В дни своего десятилетнего юбилея театр "У Никитских ворот" вновь обратился к Чехову. Вспомним, что первый спектакль этого театра "Доктор Чехов" бережно сохраняется в репертуаре и по прежнему вызывает интерес у зрителя.

На этот раз художественный руководитель театра Марк Розовский поставил Дядю Ваню". Спектакль идет на сцене: "Квартира № 8", в камерных условиях, и интересен в основном необычностью трактовки образов знакомой пьесы.

В центре событий новой постановки оказывается образ дяди Вани, которого С. Десницкий играет человеком глубоко интеллигентным, ясно осознающим свое положение. Действия его иногда смешны, но за всем тем ощущается его тонкий ум, угадывается доброе сердце. Драма дяди Вани состоит в том, что он служит лжекумиру.

Остальные персонажи спектакля сознательно отводятся на второй план.

Серебряков у В. Долинского не лишен определенного обаяния, от чего понятным становится его успех у женщин.

Елена Андреевна (Н. Боронина) - холодна и равнодушна ко всем. Она глубоко безразлична к Соне (ее играют две исполнительницы: О. Лебедева и В. Заславская), едывает своего мужа, не загорается от Астрова. Впрямую оправдываются сказанные о ней слова: "У нее нет обязанностей, на нее работают другие... А празная жизнь не может быть чистой".

Спокойный, лишенный романтического ореола Астров (А. Молотков) за легкой иронией скрывает свое нежное отношение к дяде Ване и Соне. "У меня вдали нет огонька", - говорит он. И кажется, что он находит его здесь, у них.

Своеобразно решен финал спектакля. Закрывающий пьесу текст звучит в музыкальном изложении Рахманинова, записанный на фонограмму в исполнении знаменитого Козловского.

В обзоре чеховских спектаклей достойное место занимает дипломный спектакль актерского факультета Театрального училища имени Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова "Дядя Ваня" - еще одна версия пьесы, реализованная силами молодых, начинающих актеров.

Над спектаклем щукинцы работали основательно (режиссер-педагог Н. Волков, художественный руководитель курса профессор А. Буров), серьезно рассчитывая на внимание зрителей.

Спектакль молодых характеризуют обостренная первичность, острота переходов, напряженная динамика мизансцен, внутренняя "музыкальность" образов.

Тепло и проникновенно ведут свой диалог Соня (Н. Васильева) и Астров (С. Бернадский). Складывается ощущение, будто что-то роднит этих людей, и в следующую минуту они, наконец, протянут друг другу руки.

С той же сердечностью играется сцена прощания Астрова с Еленой Андреевной (О. Афанасьева).

Доброта как исходное качество души прочитывается и в характере дяди Вани (С. Юшкевич), глубоко понимающего никчемность окружающих и смирившегося.

К спорам об "Иванове" привлекли. Они ведутся со дня первой постановки пьесы. Всякая новая сценическая версия приводит к острой полемике. Главную сложность для постановщиков и исполнителей представляет образ Иванова, удивительно многообъемный, трудно поддающийся логическому осмыслению.

В основу замысла спектакля, поставленного режиссером Михаилом Фейгиным в московском драматическом театре имени К.С. Станиславского, положена мысль религиозного философа Н. Бердяева, приведенная в программе спектакля: "Я знал, что в русском народе и в русской интеллигенции скрыты начала самоистребления. Но трудно было допустить, что действие этих начал так далеко зайдет". И дальше: "Принцип "все или ничего" обычно в России оставляет победу за "ничего".

В атмосфере спектакля явственно звучит тревожная нота, утверждающая невозможность примирения, предвещающая трагический исход.

Симультаный тип оформления (художник А. Боровский) соответствует замыслу постановщика, объединившего развитие событий первого и второго действий пьесы, что позволило ему уйти от чистого первого, которое Немирович-Данченко называл "ноктюрном". Такой прием

сразу же обострил напряженность конфликта.

Неожиданно в центре внимания оказалась Саша, сыгранная совсем юной актрисой Е. Кравченко предельно энергично и нервозно.

То же нужно сказать о докторе Львове (А. Пантелеев). От всеокарашающей "честности" этого доктора невольно испытывалось ощущение тревоги и страха.

Е. Симонову, приглашенную на постановку из театра имени Маяковского, смело можно назвать украшением спектакля. Ее Сарра умна, образованна и одинока - никто не может и не хочет ее понять. Эмоциональное воздействие, оказываемое на зрителя игрой актрисы, - ярко и незабываемо.

Выбор М. Филиппова на роль Иванова, на которую он также приглашен из театра имени Маяковского, оказалось малоубедительным. Талантливый актер самой природой предназначен для чего-то иного. Поэтому в спектакле он как-то затерялся в море бующих вокруг Иванова страстей.

Нельзя не упомянуть еще об одном участнике спектакля, придуманном режиссером. Речь идет о Страннице (О. Лапшина). Слово олицетворяя издерганную, истерзанную Россию, она своим присутствием напоминает о вечном.

И еще один "Иванов". Его поставили на выпускном курсе актерского факультета Театрального училища имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ режиссеры-педагоги А. Леонтьев и Е. Миронов.

Отрадно, что спектакль этот ничем не напоминает постановку О. Ефремова, идущую на главной сцене Художественного театра.

В напряженной атмосфере студенческого спектакля живут и страдают герои чеховской пьесы.

В заглавной роли спектакля выступает А. Зуев. Его Иванов - человек отчаянный, нервный, разuverившийся, не ведающий как жить дальше и принимающий смерть как единственно возможный выход.

А. Заворотнюк наделяет свою Сашу сильной, всепоглащающей страстью. Страсть перевернула ее сознание, вселила фанатическую веру в спасение Иванова. Эта вера перерастает у нее, в свою очередь, в разрушающей силы эгоизм. Понимая, что запуталась, она не может остановиться.

Интересно играет Лебедева П. Кондратьев. Его герой умен и образован. Однако до безобразия задавленный деспотизмом жены он постепенно превращается в подневольного раба.

Еще один спектакль, "лица необщим выраженьем" привлечший заслуженное внимание к себе.

Речь идет о спектакле "Огни", который в московском драматическом театре "Камерная сцена" по собственной композиции, включающей в себя маленькие прозаические шедевры Чехова, поставили художественный руководитель театра Михаил Щепенко и режиссер Тамара Баснина.

Удачно найденная авторами форма композиции позволила создать спектакль философского звучания. На первый план здесь выдвигается психологическая сложность действующих лиц, каждое из которых в той или иной мере является носителем какого-либо порока.

Кузьма (А. Уманец) из рассказа "Встреча" выкрадывает у совестливого и честного Ефрема (В. Андреев) деньги и пропивает их, а покаявшись, вновь бросается в разгул. Глава семейства (А. Шарапанюк) из рассказа "От нечего делать", живя с нелюбимой женой (В. Полякова), при случае с удовольствием издевается над ней и беззастенчиво втянутым ею во флирт студентом Ваней (А. Аверин). некто Колпаков (Д. Поляков) из "Хористки" оскорбляет ни в чем не повинную Пашу (Т. Проконина), которая, в свою очередь, бессовестно обкрадывается женой Колпакова (Ю. Щепенко). Строптивая Лизавета (С. Неговская) из рассказа "Казак" не желает поделиться с больным Казаком (А. Сав-

ченко) кусочком пасхального кулича, и возникший между ней и Максимом (А. Аверин) конфликт доводит последнего до беспробудного пьянства и разорения.

Это разнообразие человеческих пороков концентрируется в финальной коде спектакля в характере героя рассказа "Огни" инженера Ананьева, которому, в соответствии с замыслом, предоставляется возможность вместе с остальными персонажами пережить их драмы и стать выразителем основной мысли, венчающей сверхзадачу спектакля: "Что в моем прошлом не порок?"

Стремление создателей спектакля осудить нравственный цинизм как порок, разрушающий духовные и физические нормы связывалось с немалыми трудностями, вытекающими из литературного материала, несущего в себе нейтральный тон повествования.

Тем не менее в спектакле четко обозначилось собственное отношение постановщиков к анализу жизни, столь интересно высветивших его из многочисленных граней многослойной полифонии чеховских созданий.

Главный герой спектакля пессимист Ананьев (С. Прищеп), отрицая смысл жизни, тем самым отрицает смысл существования всякой отдельной личности. Поэтому для него решительно все-равно оскорблена ли им Наталья Степановна?

Обаятельный С. Прищеп сосредотачивает основное внимание роли на демонстрации разрастающегося в Ананьеве цинизма, упуская при этом возможность представить своего героя во всей многомерности режиссерского замысла.

В роли Натальи Степановны ("Кисочки") мы увидели Т. Баснину. Ее героиня, обманутая и униженная, до болезненности понимающая свое положение в отношениях с Ананьевым, вызывает глубокую жалость.

Пытаясь сохранить внешнее спокойствие, Кисочка-Баснина отпускает принявшего в ней участие инженера.

"Весь смысл и вся драма человека внутри", - утверждал Чехов.

Актриса тонко уловила суть прошедшего с ее героиней и сумела точно и убедительно преодолеть неправдливость душевных страданий, на которые обречена ее Наталья Степановна.

Общей художественной выразительности спектакля во многом способствует интересное сцениграфическое решение (художники М. Щепенко и А. Мамонов). В нем четко обозначены контуры белого и черного как противопоставление смешному и печальному, тесно сосуществующих у Чехова.

Легкие тюлевые занавеси, перемещаясь и меняя цветовую окраску, помогают созданию нужного ритма и верной атмосферы.

Новые постановки Чехова, осуществленные московскими театрами, показали, как сложна и многообразна палитра его произведений, как бесконечно одухотворена его мысль.

А значит, что впереди - новые встречи с героями великого писателя. И мы ждем их.

Чеховские конференции. ИРКУТСК

6-10 июня 1993 г. в Иркутске состоялся Международный симпозиум "Сибирские страницы в жизни и творчестве А.П.Чехова".

Идея его проведения принадлежит профессору Р.Джексону, президенту Международного Чеховского общества (США).

В 1890 г., по пути на остров Сахалин, Чехов пробыл в Иркутске с 4 по 11 июня. В его письмах - восторженные отзывы об этом городе: "Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск"; "Иркутск - превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы...". Останавливался он в "Амурском подворье", на Котельниковской улице (ныне ул. Фурье, 1), здание которого сохранилось. Иркутяне мечтают об открытии в нем Литературного музея им. А.П.Чехова. Накануне симпозиума, 5 июня, в иркутской газете "Советская молодежь" об этом писал доцент Иркутского педагогического института В.К.Гайдук ("Прогулка с Чеховым").

Все организационные дела взял на себя Иркутский государственный университет; оргкомитет возглавил заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы доцент А.С.-Собенников.

В составлении программы принял участие профессор МГУ В.Б.Казаев, член Чеховской комиссии (Москва).

Спонсорами проведения симпозиума были Восточно-Сибирский коммерческий банк и экспериментальная школа-лицей № 47.

Докладчики прибыли из России, Японии, США.

Конференцию открыл академик РАЕН Ф.К.Шмидт, ректор Иркутского государственного университета. Вступительное слово произнес профессор Р.Джексон. От иркутян

выступили писатели: Марк Сергеев и Павел Забелин.

Сибирской проблематике были посвящены следующие доклады и сообщения:

"Сибирско-сахалинская поездка Чехова и основные этапы эволюции творчества писателя" (В.К.Гайдук, Иркутск);

"Место очерков "Из Сибири" в творчестве А.П.Чехова" (Н.Е.Разумова, Томск);

"А.П.Чехов и Д.С.Мережковский. Сибирский аспект" (В.Б.Катаев, Москва);

"Сибирские корреспонденты А.П.Чехова" (А.С.Мелкова, Москва);
 ""Три сестры" и "Остров Сахалин"" (П.Н.Долженков, Москва).

Другая часть докладов была посвящена творческой манере писателя, его поэтике:

"Концовка рассказа "Тоска" - ирония или пафос?" (Р.Джексон, США);

"Об антиномиях художественно-философской позиции А.П.Чехова" (А.П.Чудаков, Москва);

"Дорога как семантическая единица пространственного мира А.П.Чехова" (М.О.Горячева, Москва);

"Искренность и риторика в рассказе "Несчастье"" (С.Евдокимова, США);

"Правда и красота в аксиологии Чехова" (А.С.Собенников, Иркутск);

"А.П.Чехов и фольклор. Аксиологический аспект" (А.П.Селявская, Иркутск).

Еще ряд докладов был основан на сопоставительном анализе:

"Андрей Белый о Чехове" (Э.А.Полоцкая, Москва);

"Чеховские мотивы в рассказе Г.Уэллса "Страна слепых"" (И.В.Толконникова, Москва);

"Чехов и Блок. К постановке вопроса" (Р.И.Смирнов, Иркутск);

"Чехов и Набоков" (И.И.Плеханова, Иркутск).

Информационное сообщение "Вишневый сад" и идея вселенной"" сделал профессор Н.Накамото (Япония).

Профессор Р.Джексон выступил и со вторым докладом: "Если забуду

тебя, Иерусалим: о рассказе Чехова "Скрипка Ротшильда".

Многие приглашенные не смогли приехать, но все доклады будут опубликованы в тезисной форме Оргкомитетом симпозиума в Иркутске.

В дни симпозиума участникам была предложена большая культурная программа.

Вдохновенную экскурсию по городу провел директор Дома-музея декабристов Е.А.Ячменев. Постояли на берегу Ангары, на том месте, где были Московские ворота, через которые Чехов, переправившись на пароме через реку, въехал в Иркутск (кстати, их решено восстановить); осмотрели старый центр Иркутска с его соборами, мимо которых проехал писатель; побывали в "Амурском подворье". Недалеко от него, на ул. К.Маркса, 23, находится здание филиала Художественного музея; в 1890 г. там был Восточно-Сибирский банк. В одном из писем Чехов упоминает о нем: "В Сибирском банке мне выдали деньги тотчас же, приняли любезно, угощали папиросами и пригласили на дачу". Проехали и мимо остатков городского сада. Это о нем читаем в письме Чехова родным от 7 июня: "Сегодня в Интендантском саду музыка и гулянье".

Естественно, мы не могли пройти мимо домов декабристов и не могли не посетить их могилы. Приятно было видеть, в каком прекрасном состоянии они находятся, как чтится здесь память об этих благородных личностях, об их высоком душевном порыве.

В Доме-музее С.Г.Волконского, в гостиной Марии Николаевны, музыканты Иркутской филармонии дали концерт из тех произведений, которые любила исполнять и слушать хозяйка дома. Участники симпозиума были покорены изумительным голосом Заслуженной артистки Республики Наталии Головиной.

Неизгладимый след в нашем сознании оставило и посещение Иркутского лицея и знакомство с его директором, Заслуженным учителем Валерием Степановым. Лицейсты

дали в честь гостей прекрасный концерт и показали отрывки из чеховской пьесы "Свадьба".

Следуя по маршруту Чехова, мы отправились к Байкалу. К сожалению, часть его пути ныне погребена под водами Иркутского водохранилища. "Берега живописные. Горы и горы, на горах сплошную леса. Погода была чудная, тихая, солнечная, теплая..." - так писал Чехов 11 июня (ст. стиля) 1890 г. Так же было и 10 июня 1993 г. Как и Чехов, мы "ехали по берегу <Ангары>, доехали до устья и повернули влево; тут уже берег Байкала <...> Зеркало. Другого берега, конечно, не видно: 90 верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесные; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или феоодийского Тохтабеля. Похоже на Крым".

Как и писатель, мы остановились на станции Листвянка (Лиственничная). Нас настиг туман, как и Чехова, дождь, но скоро все изменилось, и "тон у Байкала" стал "нежный, теплый". Недалеко от современной пристани сохранились остатки старой, вероятно, той, от которой "пароходошко" переправил Чехов и его спутников на другой берег Байкала, в Клюево. Сохранились почерневшие от времени деревянные дома вдоль берега Байкала под горой, поросшей лиственницами. В одном из таких домиков снимали квартиру-сарайчик Чехов и его спутники: два поручика, Гуго Меллер и И. фон Шмидт, военный доктор и ученик Иркутского технического училища Иннокентий Никитин. 13 июня Чехов писал оттуда родным: "... не знаем, что нам есть. Население питается одной только черемшой. Нет ни мяса, ни рыбы; молока нам не дали, а только обещали. За маленький белый хлебец содрали 16 коп. <...> Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли..."

Сейчас Листвянка - поселок, в нем - Лимнологический институт СО АН РАН, в котором мы прослушали еще одну вдохновенную лек-

цию - о Байкале, необыкновенном явлении природы. Это о нем писал Чехов 20 июня 1890 г. родным: "Вода на Байкале бирюзовая, прозрачнее, чем в Черном море. <...> сам я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду".

Сейчас в Листвянке санаторий "Байкал", турбаза, гостиница "Интурист", астрофизическая станция СО РАН с солнечными телескопами...

Многочисленные энтузиасты, талантливые, преданные делу, с которыми довелось за несколько дней встретиться в Иркутске и на Байкале, вселяют оптимизм, уверенность в том, что Сибирь спасет Россию и что в Иркутске будет Литературный музей имени А.П.Чехова.

А.С.Мелкова.

Библиография диссертаций о творчестве А.П. Чехова, защищенных в последние годы.

1. **Абрамович С.Д.** Концепция личности у А.П. Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма.: Дис. докт. филол. наук АН Укр. ин-т лит. им. Шевченко. Киев, 1991.

2. **Альван Я.К.** Художественное своеобразие прозы А.П. Чехова 90-х годов.: Дис. канд. филол. наук МГУ. М., 1991.

3. **Джассим Ф.Х.** Отображение личности ребенка в творчестве А.П. Чехова.: Дис. канд. филол. наук Одесского гос. ун-та им. И.И. Мечникова. Одесса, 1991.

4. **Зубарева Е.Ю.** А.П. Чехов в Американском литературоведении и критике 1960-1980-х годов.: Дис. канд. филол. наук МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1989.

5. **Калугина Н.Г.** Жанровое своеобразие комедий А.П. Чехова "Чайка" и "Вишневый сад". Дис. канд. филол. наук МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1990.

6. **Козловская И.С.** Повести А.П. Чехова 90-х годов. (Поэтика характера): Дис. канд. филол. наук Горьковского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Горький, 1990.

7. **Мурзак И.И.** Проблемы женского характера в прозе А.П. Чехова.: Дис. канд. филол. наук Моск. пед. ун-т им. В.И. Ленина. М., 1991.

8. **Набиев И.Г.** Проблема личности в творчестве А.П. Чехова 90-х годов.: Дис. канд. филол. наук Азербайджан. пед. ин-т им. М.Ф. Ахундова. Баку, 1991.

9. **Обухова Ю.В.** Эпистолярная форма литературной критики у А.П.

Чехова.: Дис. канд. филол. наук МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1990.

10. **Подкопаева И.А.** Мирозрение А.П. Чехова. (Историко-философский анализ): Дис. канд. философ. наук МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1989.

11. **Пухова Т.Ф.** Проблемы поэтики повестей А.П. Чехова 1890-1904 г.: Дис. канд. филол. наук Моск. заочн. пед. ин-т. М., 1990.

12. **Сухих И.Н.** Художественный мир А.П. Чехова. (Истоки, границы, принципы, эволюция): Дис. докт. филол. наук ЛГУ. Л., 1990.

13. **Тюпа В.И.** Художественность чеховского рассказа.: Дис. канд. филол. наук. М., 1989.

14. **Шелоник М. А.П. Чехов и И.Н. Потапенко.** Проблемы творческих взаимосвязей.: Дис. Моск. заочн. пед. ин-т. М., 1990.

15. **Яхья К.А.** Художественное своеобразие прозы А.П. Чехова 90-х годов. Дис. канд. филол. наук МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1991.

Составлено Ивашкиным С.Н.



Григорий ШУРМАК

ОБРАЗ ЕВРЕЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. ТАРАС И ЯНКЕЛЬ

22 апреля 1823 года, в первый день Пасхи, в местечке Велиж Витебской губернии обнаружили тело убитого мальчика Федора Иванова, сына отставного солдата. На основании показаний крестьянки Марии Терентьевой и двенадцатилетней крестьянской девочки Анны Еремеевой, прослывшей блаженной (обе занимались нищенством), власти арестовали несколько евреев по подозрению в ритуальном убийстве. В ноябре 1824 года Витебский суд, изучив имеющиеся в деле материалы, на нашел достаточно оснований для вынесения обвинительного приговора и, как значится в "Краткой записке" Правительствующего Сената, постановил это происшествие "предать воле Божьей". Спустя три месяца через Велиж проезжал Александр I, и Терентьева, назвавшись солдаткой, матерью Федора, подала монарху жалобу. Царь повелел произвести "строжайшее исследование". Специально созданная комиссия приняла к рассмотрению еще семь случаев убийства. Под стражу были взяты 42 еврея, мужчины и женщины, которые якобы: в Велиже и его окрестностях умертвили, помимо Федора, еще нескольких крестьянских мальчиков и девочек, а также дворянку Дворжецкую - и опять-

таки в ритуальных целях. На сей раз суд признал вину евреев доказанной, и они долгих восемь лет томилась в остроге, добываясь пересмотра приговора. Разросшееся Велижское дело стало известно широкой общественности. Возможно, под впечатлением этих событий в письмах А.Пушкина возникают "еврейские мотивы". Так жене он сообщал, что в почтовой карете тяготился соседством с литовским раввином. В другой раз упомянул о захаживавшем к Нащокину "перекресте из жидов, обвешанном веригами, представляющем нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках"...

Наконец, в 1835 году Государственный Совет вынес решение о полном оправдании всех подсудимых. Что касается "доказиц христианок", то их, "виновных в изветах, кои впоследствии ничем не могли подтвердить", сослали на поселение в Сибирь, за исключением несовершеннолетней Еремеевой. Последнюю "за вымысел видений и за разглашение себя в простом народе предсказательницею надлежало бы подвергнуть строгому наказанию", но ограничили "отданием ее на священническое увещание на месте ея жительства". 18 января 1835 года Николай I наложил резолюцию: "Быть по сему".

На целое десятилетие Велижское дело, повторяю, приковало к себе внимание всей России. Как мне представляется, своеобразным откликом на него и явилась повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба", которую, с этой точки зрения, можно было бы даже назвать "Тарас и Янкель".

Нет, я не оспариваю справедливость общепризнанного мнения, что эта вещь, прежде всего, знаменита образом казака, беззаветно преданного православной вере, воплотившего в себе героическую широкую натуру восточно-европейского славянина. Но рядом с ним, на протяжении почти всей повести, неизменно присутствует инородец, еврей, и - желал того автор или не желал, - читатель вот уже в течение полутора лет не может не сравнивать представителей двух миров, славянства и еврейства. Любовь Гоголя, его симпатии (на этот счет едва ли у

кого-либо возникнут сомнения) всецело отданы Тарасу Бульбе. Но уж если сравнивать, то надо сравнивать по-настоящему, то есть строго придерживаться сюжетных фактов, оставляя за скобками отношение автора к персонажам...

В повести, как помнит каждый еще со школьной скамьи, интрига, собственно, началась не с момента отъезда полковника Бульбы с сыновьями из дому, а со схода в самой Запорожской Сечи. Прибывший с Волыни казак рассказал: "Уже церкви святые теперь не наши... у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. И если рассобачий жид не положит нечистою своею рукою значка на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя..." А евреи тут же стоят, слушают... В Сечи они, как и везде, торгуют, ремесленничают; после речи казака, "растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа", попытались было спрятаться. Но куда там! Разгневанные запорожцы, переловив их, утопили в Днепре. Иные из "бедных сынов Израиля, со страху даже заползали под юбки своих жидовок, - не преминул подметить Гоголь юмористическую сторону трагической ситуации, - но казаки везде их находили". Спасся лишь Янкель, "высокий, длинный, как палка, жид", которому удалось умолить Тараса Бульбу напоминанием, что именно он одолжил брату Тараса восемьсот цехинов, "когда нужно было выкупиться из плена у турок". Благородный поступок еврея был принят полковником во внимание...

Казачье войско выступило в поход на поляков-притеснителей. А что же Янкель? Он, конечно, в обозе. "Уже разбил ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья... даже калачи и хлебы". Тарас Бульба, и тот удивился: ведь казаки в любой момент могут застрелить еврея, "как воробья"! Между тем "жидок его" (Тараса) доверительно сообщает: "Пусть только пан молчит, между казацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не

продавал". И пан Бульба молча "повидился бойкой жиловской натуре"...

В результате боевых действий, предпринятых запорожцами, "польский юго-запад сделался добычей страха": в панике убегают в Речь Посполитую "толпы монахов (католических - *Г.И.*), жидов, женщин". Осажден город Дубно, и Тарасова жена, старуха-мать, посылает туда, в казачий стан, своим сыновьям, вместе с материнским благословением "по кипарисному образу из киевского монастыря". Но тут внезапно исчезает Андрей. Отец терзается в догадках: где же его младший? Опять-таки выручает Янкель, жалкий, смешной, противный - словом, такой, каким его виляет Тарас Бульба и сам автор.

Да, жид, в отличие от запорожцев, не растерялся! Когда прибывшее польское подкрепление входило в крепость, он быстро, уже на ходу надевая кафтан, проскользнул в городские ворота и там, в Дубно, за крепостными стенами, узнал в предводителе отряда хоружего Гелендовича, которому три года назад одолжил сто червонных. В свою очередь, заметив кредитера, хорунжий повелел повесить Янкеля. Дальше варьируется сцена в Сечи... Еврей пообещал дать еще займы денег, как только пан - обратит внимание! - "поможет собрать долги с других рыцарей". Попутно выясняется, что Гелендович (как, впрочем, и Тарас Бульба) отнюдь не беден: владеет хуторами и четырьмя замками. Тем не менее, снарядить отряд на войну ему помогли "бреславские жида". Попробовали бы те отказаться!

Пусть теперь читатель сам рассудит, обладает ли Янкель присутствием духа в трагических обстоятельствах... В условиях не прекращающейся борьбы украинского народа с католической Польшей евреям, жившим на огромных пространствах между Вислой и Днепром, приходилось иметь дело с обеими враждующими сторонами, но, в каком бы ни находились стане, они выполняли свои обязательства самоотверженно. А ведь в XVI - м веке налаживать экономические связи, а по сути интендантскую службу - не так-то было просто! Для этого требовалось иметь прочные, дружеские отношения с

крестьянством как на западе, так и на востоке, проложить надежный путь к дальним соляным промыслам, пользоваться доверием и украинцев, и поляков, и татар. Притом, быть готовым отнестись со смирением к возможным превратностям судьбы и - всегда платит добром за притеснения. Дать, скажем, деньги Тарасу на выкуп его брата из плена, о чем, кстати, полковник лишь по чужой подсказке вспоминает. То есть не хранит в памяти сердца...

Еврейство в XVI-м веке - неотъемлемая часть инфраструктуры восточно-славянского юго-запада. Люди энергичные, торговые, денежные, они и выступали в роли двигателя экономики. Но и в роли козлов отпущения... Провокационно по-нуждаемые польскими магнатами держать ключи от православных храмов, евреи в обстановке межэтнической напряженности, среди злобных слухов и кривотолков (хотя бы насчет особых знаков, представляемых ими на куличах и пасхах *) евреи, повторяю, целиком зависели от прихоти сильных мира сего. В таких трудных условиях, конечно, крайне рискованно пускать капитал в оборот: от купцов, от банкиров требовались выдержка, изворотливость, взаимовыручка - равно как и почтительное отношение к хозяевам, украинцам и полякам. И не просто почтительное, требовались смирение и преданность.

Тоголю, однако, и в голову не приходит войти в положение евреев. Вместе со своим героем Тарасом Бульбой он великодушно терпит присутствие Янкеля, подобно тому, как Пушкин в почтовой карете терпел присутствие раввина.

Но вернемся к сюжету: повидавшись в Дубно с Андреем, Янкель, снова пробравшись в стан запорож-

* эти чудовищные сделки (арендаторство церковей), навязанные евреям шляхтой, желавшей унижить украинцев, смутить и обратить в свою веру, а заодно и натравить на евреев, чтобы последних привязать к себе покрепче, эти сделки - в общем-то, не лучшая страница в истории восточно-славянского еврейства.

цев, передал отцу слова непутевого сына об отречении от казачьего рода.

- И ты не убил его тут же на месте? - возмущенно спросил Тарас своего жида.

- За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват: там ему лучше, туда и перешел.

Вдумаемся: Андрей - четырежды изменник. Предал отца, товарищество, родину, веру. Он пограл вещи, которые и в глазах сынов Израилевых, познавших и плач на реках Вавилонских, и разрушение Иерусалимского Храма, - святыни. Тем более нельзя не отдать должное мужеству Янкеля (все же чувствующего себя вне борьбы) открыто высказывать свое, особое, независимое мнение, вытекающее из уважения иудеев к личностному началу, которое есть первоальность, "начало вселенское, сверхнациональное" (С. Булгаков).

Спершились страшные события. Пал от руки отца Андрей. Остап в плену. Тяжело ранен Тарас Бульба. Верный товарищ отвез его в Сечь и там нашел - кого бы вы, читатель, думали? - "нашел какую-то знающую жидовку (разрядка моя - *Г.Ш.*), которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше".

Оказывается, не только в делах финансово-экономических, не только в сфере, так сказать, бытового обслуживания, но и в вопросах медицины было трудно обойтись - в самой Сечи! - без услуг иудеев и иудеек.

Встав на ноги, Тарас поспешил - куда? Ну, конечно же в Умань, к Янкелю. Казацкий полковник себе места не находил, тревожась за Остапа, и жил лишь надеждой на свидание с сыном. Для того и понадобилось поскорее встретиться со своим жидом. От кого же еще ждать помощи?!

Янкеля он застал "в нечистом запачканном домишке, у которого небольшие окошки едва видны; труба заткнута тряпкою, и дырявая (разрядка моя - *Г.Ш.*) крыша вся была покрыта воробьями". Купец, финансист - и такое убогое жилье! Уж крышу, по крайней мере, мог бы привести в порядок. Правда, на крыше - туча воробьев, а они всегда

водятся там, где хозяева не голодают... Откуда ж взялось столь убогое жилище? И еще одна несообразность. С момента пленения Остапа его отец вынужденно бездействовал не более двух месяцев. Янкель за этот же, столь короткий срок, оказывается, сказочно преуспел в злодейском обогащении. "Уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружающих панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не осталось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхло, все переписалось, и осталась бедность да лохмотья, как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы еще лет десять так пожил Янкель, то, вероятно, выветрил бы и все воеводство". Во как! Словом, паук, насосавшийся народной крови... Вчера служил запорожцам, сегодня арендаторствует во владениях Речи Посполитой. При этом прибрал к рукам всю округу - от панов и шляхтичей до последнего мужика - за каких-нибудь два месяца. Фантастика! В реальной жизни XVI века он, Янкель, жил бы в добротной хате, как и полагается корчмарю и арендатору. Наконец, за те же два месяца сплотив окрестный люд можно лишь при условии, что последний издавна не придерживался на сей счет строгих правил. Ведь еще Святой Равноапостольный князь Владимир - правда, до крещения - говорил: "Руси есть веселие пить, не можем мы без того быть"...

Сцена, разыгравшаяся в доме Янкеля, заслуживает самого пристального внимания. Тарас Бульба (герой, кстати, наделен фамилией, тогда как еврею дано только имя, звучащее, как кличка) застал "своего жида", молящимся. Новоиспеченный арендатор, выходит, - глубоко верующий человек. Следовательно, он чит десятъ заповедей Иудейско-Христианского Бога. Заповедей, почитаемых с детства и Тарасом Бульбой. Допускаю, что Янкель воспитан не иначе как на Талмуде, согласно которому, еврей, по отношению к гою, то есть язычнику, существу низшего порядка, не обязан связы-

вать себя правилами нравственности? По отношению к гою он может быть свободным в своих поступках - перед лицом сурового Иеговы... Реальная жизнь, однако, ежечасно доказывала евреям в диаспоре обратное: **каждый** человек - создание Божие, **каждый** заслуживает честного и великодушного к себе отношения, и соблюдение именно **такого** принципа - наилучшая гарантия безопасности евреев. И, действительно, Янкель, как с хорунжим Гелендовичем, так и с Тарасом Бульбой, предстает воплощением порядочности и обязательности.

К сожалению, Николай Васильевич Гоголь не посчитал нужным проникнуть в духовный мир Янкеля. Ну о чем мог молиться еврей в XVI веке на Украине? Об этом ни слова. Зато читатель узнает, что едва увидев вошедшего в горницу Тараса, Янкель подумал о **награде**, назначенной польским правительством за голову полковника. **"Но он постыдился** (разрядка моя - *Г.Ш.*) своей корысти и силится подавить в себе **вечную** (разрядка моя - *Г.Ш.*) мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида". Посулив Янкелю за помощь пять тысяч, Тарас не замедлил дать щедрый задаток. "Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им черwonцы". Одну из монет попробовал на зубок: не фальшива ли? По видимому, рыцари-казаки и рыцари-шляхтичи не гнушались расплачиваться медью вместо золота. И тут, сознавая некрасивость своего жеста - накрытие черwonцев полотенцем, Янкель, один-единственный раз потеряв самообладание, приоткрыл душу перед гоем:

- Все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид!

Нет, не ради денег Янкель шел на смертельный риск! Тайно провезя Тараса Бульбу в Варшаву, он с несколькими евреями-сообщниками сумел-таки, подкупив охрану, пробраться с полковником в тюрьму, где томился Остап. И нет его вины в том, что прямолинейность казака-отца, гневливый гордый характер Бульбы помешали тому увидеться с сыном.

Как видим, в Н.Гоголе художник-реалист взял все же верх над укоренившимися в нем предрассудками; поэтому-то предпринятая мною в настоящих заметках попытка разобратся в образе еврея (образе, насколько мне известно, обобщенном вниманием русской критики - от В.Г.Белинского до А.Д.Синявского) опровергает, как мне кажется, авторскую интерпретацию его поведения.

Тарас и Янкель... Даже сами эти имена в повести противостоят друг другу. Тарас, Тарасий в переводе с греческого означает волнующий. Так звали православного святителя, занесенного в святцы. И образ Тараса, борца за православную веру, за свободу своего народа, действительно, волнует, ибо праведен.

Но вот что вспоминает отец Павел Флоренский: в его детстве "в подслушанных разговорах было упоминаемо имя "Янкель" - может быть, в каком-то жутковатом применении, - не знаю почему, но **Янкель**, может быть, и по присутствию "Я" и сладкого "КЕЛЬ", показалось знаменательно-зловещим, каким-то ядовитым, льстиво-коварным и губительным. Мне думается, что тут был отголосок от разговора о жидях-контрабандистах, живших в нашем дворе..."

Комментарии, как говорится, излишни.

Итак, в годы, когда внимание читающей публики было обращено на события в Велиже, Н.В.Гоголь, возможно, сам того не желая, создал два мощных положительных образа - славянина и иудея^{*}, представительей двух народов - коренного и пришлого, соседствовавших и потому сотрудничавших друг с другом на просторах Украины. Там, где вплескании расцветут две культуры: одна - Тараса Шевченко, другая - Шолом Алейхема...

* В статье "О русских повестях и повестях г.Гоголя" В.Г.Белинский, анализируя повесть "Тарас Бульба", только один раз мимоходом упомянул о евреях: "многие запорожцы позадолжались в шинках жидам..." И - все. Янкель - не в счет!

2. ИВАНОВ И РОТШИЛЬД

Беспредел запорожской вольницы и дворянско-помещичий произвол отошли в область преданий. В провинции русские и евреи зажили бок о бок - под охраной имперского законодательства. Наступила эпоха реформ Александра II, и очень скоро еврейство заявило о себе в сфере экономики, торговли, финансов. Реформатором последних стал еще при Николае I еврей граф Е.Ф. Канкрин, стоявший, между прочим, за постепенный выкуп крестьянской земли у помещиков. В Варшаве и Вильно, Риге и Одессе действовали крупные банкирские дома, имевшие прочные международные связи. Но и в Киеве на одиннадцать тысяч евреев, проживавших там в 1885 г., приходилось до трехсот купцов первой гильдии - сила! Евреи адвокаты, врачи, музыканты, издатели пополнили ряды разночинной интеллигенции. Отечественная культура обогатилась именами художников Исаака Левитана и Леонида Пастернака, скульптора Марка Антокольского, поэта Семена Надсона, композитора Антона Рубинштейна и его брата Николая, основавших первые в стране консерватории... Но еврейская молодежь поставляла кадры и для "подпольной России". После трагического 1 марта 1881 года участились нападения обывателей на студентов, на "образованных"; тогда же прокатилась волна еврейских погромов на юге и на западе, то есть в местностях, где давно пересеклись судьбы двух этносов. Для выяснения причин волнений правительство учредило комиссию по изучению еврейского вопроса. Оказалось, 90 процентов евреев Западного края - это "ничем не обеспеченная масса, живущая изо дня в день в нищете при самых тяжелых гигиенических и бытовых условиях"...

Для 90-х годов XIX века характерно дальнейшее уселение экономического влияния евреев - и в ответ новая волна погромов.

1894 год во Франции ознаменовался процессом над офицером Генштаба А. Дрейфусом, обвиненном в шпионаже. Мировая печать широко освещала перипетии сфабрикован-

ного дела, из-за которого в конце концов страна раскололась на противников и защитников евреев. Пристально следивший за ходом процесса Чехов пришел к выводу: "Дрейфус не виноват". В том же 1894 году Антон Павлович и написал рассказ "Скрипка Ротшильда", и может быть, не случайно один из героев носит фамилию (ставшую одиозно нарицательной) известного французского еврея-миллионера.

В городишке, который, по выражению писателя, "хуже деревни" (вероятно, потому что все-таки числится городом), живет семидесятилетний гробовщик Яков Матвеевич Иванов по кличке Бронза. Весь свой век он провел в старой однокомнатной избе - с женой Марфой, верстаком и гробами. Хотя в городке почти нет молодежи и, значит, похорон бывало изрядно, заработки Иванова более чем скромные. Поскольку ленился. То праздник - и грех работать, то понедельник - день, как известно, тяжелый... В результате Яков Иванов всегда пребывал в плохом настроении. Жизнь, по его мнению, состояла из одних убытков. Давным-давно, полстолетия назад, у Якова и Марфы родился "ребенок с белокурыми волосиками". "Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой", - напонила ему жена перед смертью. Бог прибрал дочку во младенчестве, и с той поры гробовщик жил, не замечая жены, стряпавшей, рубившей дрова, терпеливо, с виноватой улыбкой сносившей его брань, его угрозы. Рассказ короткий, но Чехов в нем задал читателям ряд загадок: откуда у Иванова скрипка, и кто научил его игре на ней; какой след оставляли церковные службы в душе человека, часто соприкасавшегося по роду своей деятельности, со смертью? Чтобы хорошо на скрипке исполнять русские песни, нужны не только музыкальные способности, но и известная широта характера, а между тем, Иванов скуп, все подсчитывает по ночам убытки, действительные и мнимые. Правда, скудость и дурное обращение с Марфой - от безрадостной жизни, начавшейся сразу после утраты ребенка. От тяжести на сердце. Лишь когда гробовщик играл на скрипке, "ему становилось легче".

В городишке есть "жидовский оркестр" под управлением лудильщика Моисея Ильича Шахкеса; музыканты - любители, мастерской люда, подрабатывающий на свадьбах. "Больше половины дохода", - отметил Чехов особо, - Шахкес брал себе. Якова Матвеевича, за его мастерское исполнение русских мелодий, часто приглашали играть в составе оркестра. Там ему было тяжело: "жарко и пахло чесноком до духоты". "Мало-помалу, безо всякой видимой причины, он проникся ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильд", флейтисту. Внешность этого музыканта, носившего фамилию известного богача, обрисована, в отличие от внешности Иванова, весьма подробно: "рыжий, тощий, с целую сетью красных и синих жилок на лице". На своей флейте он "даже самое веселое умудрился играть жалобно". Что ж, в еврейской манере веселиться всегда есть изрядная доля печали... Но Иванова такое исполнение раздражало. В видях свадебной мажорной музыки он, по-видимому, искал возможности отвлечься от мрачных дум и поэтому сердился на Готшильда, называя того не иначе, как "проклятым жидом". Раз даже хотел побить.

Плохо знавший русский язык, флейтист - скорее всего по традиции, отец большого семейства - пригнул голову и, как бы уже начавши отбиваться от еще не напавшего противника, замахал руками.

- Если бы я не уважал вас за талант, вы бы давно полстели у меня в окошке.

И - заплакал...

Характерный для еврейской диаспоры прием самообороны! Угрожать (словами), но при этом взывать к лучшему, что есть в человеке. К его таланту. Ну, а слезы - от бессилия, от сознания, что едва ли ему удастся тронуть сердце жидоеда.

После этого инцидента Шахкес стал реже приглашать гробовщика в оркестр.

Смерть Марфы, которую за 52 года супружества он "ни разу не приласкал", выбила Иванова из колен: припомнились молодость, любовь... И взяла Якова Матвеевича "сильная тоска". В эту-то минуту

душевного смятения попался ему на глаза Ротшильд.

- Моисей Ильич, - сказал флейтист, - велели вам зараз приходиться к нам.

- Чеснок! Не приставай.

Сейчас ему был противен весь облик жида, "вся его хрупкая, деликатная фигура".

- Но ви, пожалуйста, потише, а то ви у меня через забор полетите.

Когда же Иванов на него - с кулаками, Ротшильд "помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу".

- Житья нет от пархатых!

Мальчишки увязались за флейтистом, улюлюкая: "Жид! Жид!". Собаки бросились догонять, и одна из них укусила, да так, что "послышался отчаянный болезненный крик". Впрочем, мальчишкам только дай повод подразнить кого-либо. Они и вслед Иванову закричали: "Брызна идет! Брызна!"

Случайная встреча с евреем для Якова Матвеевича имела неожиданные последствия. Придя (впервые за последние 40 или 50 лет) к реке, он поразился красоте пейзажа. Хотя со времен его молодости в окрестной природе многое переменялось (нет когда-то маячившего на горизонте бора), пейзаж пробудил в нем человеческие чувства. "Для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида?" - задумался вдруг он вопросом. И - дальше: "Зачем люди мешают друг другу?" И вероятно, от таких непосильных, непривычных дум он слег. Жизнь подошла к концу своему, и, "думая о пропащей убыточной жизни", гробовщик невольно потянулся к скрипке. Присев на пороге избы, заиграл сам не зная что, но вышло жалобно. В этот-то момент вновь объявился Ротшильд; при виде Иванова, как всегда, "весь сжидился". Но больной старик обратился к нему ласково: "Подойди".

- А вы не бейте меня, пожалуйста! Меня прислал Моисей Ильич. В среду свадьба.

- Захворал, брат, - сказал Иванов, и слезы брызнули из глаз.

Опять в рассказе о мужских слезах! Но это не еврейские слезы, они

не от бессилия; это очищающие от греха слезы. Яков Матвеевич заиграл. Ротшильд слушал - и "испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим"...

Батюшка исповедал умирающего; спросил, не помнил ли за собой "какого-нибудь особенного греха", и гробовщик вспомнил "несчастное лицо жены" и "отчаянный крик жида", укушенного собакой.

- Скрипку отдайте Ротшильду.

Так флейтист переквалифицировался в скрипача. Выступая перед публикой, он старался "повторить то, что играл Яков, сидя на пороге". Выходило уныло, скорбно - "слушатели плакали". Ротшильда стали непрерывно приглашать в дома - исполнять полюбившуюся мелодию.

Иванов умер. Но осталась жить его скрипка - вместе с песней...

Да, жизнь гробовщика исковеркана (им же самим, не какими-то там "реакционными силами"), но зато финал возвышен. В сердечном порыве умирающего - подарить скрипку обиженному - сквозит подлинное раскаяние. И оно тотчас же вознаграждается: мелодию Якова Матвеевича подхватил Ротшильд, а вместе с ним и весь городишко. Ведь свойство хорошей музыки - быстро распространяться... Так предсмертная импровизация Иванова связала крепко-накрепко раусского и еврея, лишний раз подтвердив, что перед лицом Неба мы все - дети рода человеческого.

3. БОГРОВ И АРХАНГОРОДСКИЙ

Но вот до читателя стали доходить разными путями Солженицынские узлы - тома "Красного колеса" - и все стало на свое место. На страницах "повествования в отмеренных сроках", в полном соответствии с русской действительностью первых двух десятилетий XX века, замелькали лица евреев, делающих российскую историю. Овшей Нахамкес - будущий Юрий Стеклов; Александр Парвус - его подлинная фамилия Гельфанд; Николай Гиммер - он же

Суханов... Но не случайно в "Августе 14-го" два еврейских семейства, которым Солженицын уделил много внимания, киевляне Богровы и ротовчане Архангородские, противостоят не России, а друг другу; в зависимости от своего отношения к родине.

Богровы и Архангородские равно встали на путь ассимиляторства, их отпрыски равно придерживаются левых взглядов, но в остальном семья резко разнятся друг от друга.

Дед Мордко Богрова по матери, как и прадед по отцу, - винные откупщики. Правда, "дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор". "Записки еврея Богрова", напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах русской общественностью, а "с еврейской стороны вызвали нападки за выставленные неприглядных сторон местечкового быта". Далее выясняется, что "к старости дед-литератор крестился ради женитьбы на православной (разрядка моя - Г.Ш.), покинул 1-ю семью и умер в глухой русской деревне еще до рождения внука, то есть до 1887 года". Я прочел опубликованные в "Отечественных записках" в течение ряда лет мемуары деда, тогда всего лишь сорокалетнего, и передо мной предстал образ молодого еврея, всей душой потянувшегося к русской культуре. Его женитьба на православной и предшествующее этому крещение - результат его глубокой разочарованности в рутинном строе еврейской общины, обретение в своем сердце - Христа. История деда, изменившего вере предков, безусловно - драма, которая не могла не волновать Мордко, влияла на его мироощущение, тем более что отец - из той, обиженной дедом семьи, где бабка ни на йоту не разделяла житейские и духовные устремления своего мужа. К сожалению, Солженицын не касается вопроса, насколько прочны религиозные устои в семье Богровых (да и Архангородских). Переход в православие, Богрова-деда он истолковывает сугубо в плане практической целесообразности, тогда как аналогичный поступок Алисы, будущей императрицы, подан совсем с иной интонацией, сочувственно, хотя

в обоих случаях людьми руководили Бог и любовь. Кстати, авторское дел-литератор "тоже долго служил по питейному промыслу" - несправедливо работает на укрепление в читательском воображении образа еврея, спаивающего народ. А ведь из "Записок", которые Некрасов считал важным публиковать годами, из номера в номер в своем журнале, ясно следует, как обрыдло евреям по сути навязанное им в условиях черты оседлости шинкарство. Тут бы в самый раз подчеркнуть, что дед - человек, выломившийся из своей среды и притом не воспылавший страстью к революционным бредням, а занявшийся земледелием (о чем мечтал еще в молодости) "в глухой русской деревне"...

Что касается отца Мордко, Герша, то он "оставался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельным присяжным поверенным с миллионным достоянием (мог одновременно пожертвовать на больницу 85 тысяч), владельцем многоэтажного доходного дома". Опять-таки, факты Солженицыным собраны, но никак не прокомментированы. Прежде всего бросается в глаза весьма значительное улучшение правового положения евреев в пореформенной России: оставаясь иудеем, Герш, тем не менее, получил высшее образование, стал влиятельным адвокатом, был принят в члены Киевского дворянского клуба, далеко не чужд был благотворительности. Перед нами состоятельный буржуа, часто выезжавший с семьей за границу. Младший сын Мордко также окончил университет, ведет образ жизни, свойственный золотой молодежи: "любил лошадей, лодочную греблю, играл в карты, посещал клубы..." Его отец, несомненно, либерал, чутко реагировал на притеснения евреев, стремившихся упрочить свои позиции в российской действительности, и замечание Солженицына: "Со столыпинского времени... евреев стало охватывать настроенное уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования", - полностью относится к семье Богровых. Но ведь именно так попытку Столыпина вос-

принимала вся либеральная, вся социал-демократическая общественность: считала ее реакционной и по отношению к коренному населению. В этом ключ к пониманию, каким образом буржуа Богровы, отец и сыновья, оказались смело в оппозиции - с той лишь разницей, что Мордко был по молодости радикальнее отца и потому сблизился с революционным подпольем.

2.

Богровым противопоставлены Архангородские. Родословная этой семьи, к сожалению, отсутствует...

Глава семьи Илья Исакович зато обрисован, так сказать, художественно.

Его внешность: "полноват, невысок, несловоохотлив, без жестов, очень тщателен в костюме", с "пригладом темных усов" - свидетельствует об основательности натуры. В отличие от киевского единоведца (Архангородский также не отказался от иудейства), он не миллионер, но состоятелен и, главное, всей душой слит с Россией. Перед нами - тип еврея-созидателя своего Отечества. На первом месте у него не извлечение доходов из своей деятельности, а общественное благо. "Я инженер, а не купец", - любит он повторять жене. И верен этому принципу. "Он мог бы изменить направление деятельности, покупать дома и землю, но чисто инженерство ушло от него". И друзья у него подстать: с ними - в Питере ли, в Харькове ли - поддерживает самые тесные отношения. На юго-востоке страны им поставлены 200 паровых и электрических мельниц. По совместительству Илья Исакович еще и представитель Коломенского машиностроительного завода. Недаром блестящий инженер Ободовский, "известный своими книгами на немецком языке по общей экономике..., о путях концентрации промышленности, о перспективах торгового общения России с Европой", считал своим долгом посетить в Ростове талантливого собрата. Встретившись, оба, конечно, ушли с головой в беседу на близкие им инженерные дела, "потом поехали смот-

реть два любимых ростовских создания Архангородского - новый городской эlevator и... мельницу с миллионным годовым оборотом". Русского и еврея, пишет Солженицын, "общий инженерный дух, как сильное невидимое крыло, поднял... понес и сроднил". Правда, по сравнению с нервным, увлекающимся оптимистом Ободовским Илья Исакович, со своим взглядом, "Неизменно спокойным, оценивающим", более реалистичен. На восторженное заявление Ободовского о скором освоении Сибири и прогнозе Менделеева, что к середине XX века "население России будет много больше трехсот миллионов", "маленький ладный осторожный Архангородский" замечает: "Это в том случае, Петр Акимович, если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки". При всем при том Илья Исакович не чужд страстей: женился на темпераментной красавице, хотя и понимал, что не в красоте счастье. От всего его облика веет цельностью, гармонией.

Среди ростовского еврейства Архангородский не одинок в своих гражданских чувствах. Вот как Солженицын описывает "патриотическую манифестацию" евреев в 1914 году в Ростове:

"Манифестация началась... в хоральной синагоге, где Илья Исакович показывался лишь по праздникам, по традиции, имел там почетное место на восточной стороне, но верующим не был и уж на манифестацию легко мог не пойти, - а пошел. Синагогу убрали трехцветными флагами и портретом царя, началось с богослужения о победе русского оружия в присутствии военных, держал речь равин, потом полицмейстер, пели "Боже, царя", потом тысяча двадцать евреев с флагами и плакатами "Да здравствует, единая Россия" и с отдельным отрядом записавшихся добровольцев еще пошла по улицам, митинговала у памятника Александру Второму, еще приветствовала градоначальника, слала всеподданнейшую телеграмму царю..." А на следующий день "в двух киноматографах стали показывать хронику этой демонстрации".

Своей дочери, симпатизировавшей левым, Архангородский гово-

рит: "Конечно, легче кричать и занятней делать революцию, чем устаривать Россию... Не думайте, что без монархии вам сразу наступит хорошо. Ваш социализм для такой страны, как Россия, еще долго не пригодится". И - дальше: "Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я - твой? Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Но если да - надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать..."

За обедом в честь приезда Ободовского дочь Софья укоряет отца в наивности его русского патриотизма: "В этой стране, - говорит с жаром, - патриотизм сразу становится погромщиной! Вон читай, на курсы сестер принимают - только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать!" Прижатый к стенке серьезными доводами дочери, Илья Исакович стоит на своем: "И все равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только "Союз русского народа..." А на крик дочери: "Черной сотней ты кланяться ходил, а не родине!", - "дрожа голосом", ответил растерянно:

- С этой стороны - черная сотня! С этой стороны - красная сотня! А посредние - десяток работников хотят пробиться - нельзя! Раздавят! Расплюют!

На мелодраматичный крик дочери - крик души. Но он уже относится не к одному еврейству, а ко всем, чья деятельность направлена не на разжигание межнациональной или классовой вражды, а на созидание демократической России.

3.

Отцы... Не симптоматично ли? Герш Богров и Архангородский принадлежат к противоположным течениям в еврействе, тогда как их дети одинаково преклоняются перед революционной борьбой! Впрочем, Софья и круг ее сверстников дальше

эмоций не идут... Зато ярким представителем "Красной сепии" предстает Мордко, сын Герша. Несмотря на процентную норму он, конечно, без труда принят в привилегированную гимназию (где учился и Михаил Булгаков) и, "как все гимназисты того времени, жадно вживается в либеральные и революционные учения". В пятом классе уже не просто "читает литературу", но "агитирует сам - булочников, каретников". Точь-в-точь, как подросток Маяковский. В спорах с отцом Мордко "отстаивает путь... полного уничтожения основ государственного порядка", "сочувствует эксам и террористическим актам". Восемнадцатилетним юношей он восторженно встречает революцию 1905 года. Вот тут-то сразу и обнаруживается, что поступками сына богача движет отнюдь не классовая ненависть, а уязвленное чувство национального достоинства. Он погрязен еврейским погромом в Киеве, в родном городе. Потрясены и товарищи по анархо-коммунистическому подполью: Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-я Михельсон и Роза 2-я, Хана Буриянская, Берта Скловская, Ривка Бергер, Наум Гириш, братья Городецкие, Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский... Сплошь соплеменники! Для значительной части еврейской молодежи, в обстановке погромов и нагнетания ненависти к инородцам, идеи социализма, марксистский клич: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" стали особенно привлекательны как форма реабилитации своих национальных чаяний, как способ избавиться от комплексов неполноценности. Мысль о терроре недаром впервые возникла у юноши Богрова "в ответ на стеснения евреев и разные киевские эпизоды с ними после разгона вот уже Второй Думы".

Отец-адвокат осуждал радикальные взгляды "умного сына", но в то же время "не сомневался, что тот очнется" во имя радостей жизни с ее театрами, скачками, европейскими курортами, игрой в рулетку. Ну, а к Столыпину отец и сын относились с трогательным единодушным отрицательно. Вот размышления будущего убийцы: "Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже

провел некоторые помягчения, но все это - не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет русские национальные интересы". Любый шаг Столыпина в защиту русского купечества, русских адвокатов, промышленников воспринимается Мордко Богровым не только с обидой, а как очередной "удар в душу". Еврей "не может стать сразу присяжным поверенным"? Удар в душу! Исчисление еврейского процента распространяли и на экстернат? "Пинок болезненный в грудь, разбудивший задремавшую душу". И зреет, зреет желание наказать "главных виновников", "черносотенных вождей".

Уже опубликованы зловецкие "Протоколы сионских мудрецов" и не кто иной, как Столыпин, объявляет их фальшивкой, и Государь, с аргументированной подачи своего промьера, соглашается с этим, а в Киеве еврей-молокосос с новеньким значком императорского университета вынашивает черный замысел...

"Не страдания пролетариев, - приводит сочувственно Солженицын отклик газеты "Новое время" на свершившееся злодеяние, - подняли руку убийцы, сына миллионера, а ЧУВСТВО ЧЕЛОВЕКА СВОЕГО ПЛЕМЕНИ, которое стало встречать преграду своим захватам".

Под последним словом здесь подразумевается та необычайная деловая активность, которую развили евреи в российских городах. Вот демографическая статистика по Киеву, родине М.Богрова. В год его рождения в городе было всего 3263 еврея. Через два года их уже 11 тысяч, еще через два года - 16 тысяч. А к 1910 году, то есть накануне убийства Петра Алексеевича Столыпина, в Киеве проживало около 60 тысяч евреев, что составляло примерно четвертую часть всего населения.

"Передайте евреям, - сказал в тюрьме Богров, - что... я боролся за благо и счастье еврейского народа". И Солженицын отмечает: "Это было - единственное несменное из всех его показаний".

После сцены казни семья Богровых исчезает из "Красного колеса".

Но не семья Архангородских. Мы видим ее в феврале-марте 1917 года. Илья Исакович, личный почетный гражданин, гласный городской думы, среди всеобщей эйфории, охватившей ростовчан (в их числе и его детей) по поводу известия об отречении Государя, пророчески заявляет: "Теперь-то и начинается самое опасное. Потому что: -Революции имеют коварное свойство раскатываться". Инженер Архангородский верен себе: все его помыслы о России... И уж его-то дочь и сын, при всех своих заблуждениях, остались чистые сердцем...

А. Солженицын подвел читателя к бездне - на ее краю и оказалась Империя в семнадцатом году. В Российском обществе, под влиянием физических и духовных потерь, произошел раскол. Это же случилось и в еврействе, отягощенном воспоминаниями о погромах, о всего лишь недавно отмененной "черте оседлости". В революции пути русских и евреев пересекутся - и неисчислимые страдания обрушатся на оба народа. Большевики захватят власть - и прогремят выстрелы Фанни Каплан. И опять в главу правительства. В Ленина. В того самого, приходу к власти которого, в конечном счете, способствовал Мордко Богров, убив П. Столыпина.

Два террориста. Мужчина и женщина. Две еврейские фигуры в русской истории на протяжении короткого отрезка времени. Один стрелял в того, кто воплотил в себе надежды России на счастливое будущее, другая - в разогнавшего Учредительное собрание...

4. ЗАБЫТАЯ КНИГА

В учительской, на одной из полков, пылилась книга. Хозяин не находил. Я полюбостествовал: Михаил Светлов, "Стихи". Издание 1932 года. Редактор Э. Багрицкий. Стихам предослан портрет автора. Молодое лицо семита. Длинный чувственный нос. Тонкая усмешка... В метро по дороге домой стал выискивать в книге то, что у Светлова прежде не встречал. И убедился: в двадцатые годы он писал не только о граждан-

ской войне. Нечто другое также занимало его ум.

Вот начало стихотворения:

Девушка моего наречья,
по-вечернему тиха и смутла,
приходила ко мне под вечер
быть любимой и не смогла.
И глаза ее темные-темные
древней грустью цвели-цвели...
Я ж люблю, чтобы лил в лицо

мне

светлых глаз голубой прилив.
Так всегда... После первой встре-

чи,

по любимой затосковав,
к девушке чужих наречий
тянутся мои слова.

О чем здесь? О еврее, отвергающем соплеменицу. В принципе. Но -дальше! Светлые глаза русской девушки, заранее столь любезные поэту, оказываются тем магическим кристаллом, в котором можно увидеть былое. "Я чувствую: под ногами не тот шевелится век", -немного на одесский манер поясняет Светлов. И рисует малороссийскую картинку из времен, примерно, гоголевских. "На снежном бездорожье одинокая корчма", где его, Светлова, "дед... мечется от стойки к пану", а последний, "на дно стакана уронив свирепый взгляд", "веселой забавы ради рвет и щиплет дедовский пейс". Хотя лодобные воспоминания, полагает поэт, могут в еврее вызвать лишь озлобление, сам он, однако, устроен тоньше. Дословно: "И не пляшет, не свистит злора в затуманенной голове". Затем, наконец, следует красноречивое признание:

Оттого ли, что жизнь моя отдана
дням беспамятства и борьбы,
мне, не имевшему родины,
родину легче забыть.

И при первой случайной встрече
так легко мне совсем забыть,
так легко мне не полюбить
девушку моего наречья.

Итак, все дело сводится к забыванию. Своих истоков, своих корней, своей корневой среды. Что ж, в двадцатые годы и впрямь ставилась задача переплавить любое национальное сознание (как еврейское, так и русское) в пролетарски-интернациональное. Но верно и то, что евреи подходили для этого больше других. Им было легче, как объясняет Мих. Свет-

лов на собственном примере. Давай-те еще раз внимком: во имя чего поэт перечеркивает в себе еврея? "Жизнь моя отдана дням беспамягства и борьбы (курсив мой, - Г.Ш.)" Не правда ли, знакомый лексикон? Россия - поле приложения известной теории. Россия - арена борьбы за высокие идеалы... Косноязычие светловской лирики в данном случае происходит не столько от смешения жаргона "черты оседлости" с русским языком, сколько от душевного волнения: поэт открыл для себя трагическую тему (вообще-то саму по себе далеко не новую) пересечения судьбы своего народа с судьбой России. Трагизм - в пересечении. Одной из ветвей еврейского рассеяния с великим народом, с его страной. Охваченный беспокоеством, Светлов надеется на растворение (чуть ли не сиюминутное) наций в абстрактном "освобожденном человечестве", по крайней мере, той его части, которая обитает на одной шестой земшара.

Но недаром в поэме Маяковского "Хорошо!" русский (обозванный "национальным трупнем") тревожно спрашивает:

у вас и имя Россия утеряно...

Какая нация у вас? Коминтерни-на?

В этом клубке противоречий и русскому, и еврею неуютно. Но еврею неуютнее. Особенно, если у него, как у Светлова, сердце не в ладах с собственным идеологизированным умом.

Снова и снова поэт обращается к волнующей его теме в поэме "Хлеб". Ночью на одном из фронтов гражданской войны молодой боец Иван Можаяв признается своему сверстнику и земляку Моисею Билерзону: "Никогда не думал я, братишка, что могу я жидка полюбить..." И еще:

Я тебя своей любовью грею,

я с тобою мучаюсь тут,
потому что на земле евреи
симпатичной: нацией живут.

В ту же ночь оба красноармейца погибают: "Утомленная спит Россия без Ивана и Моисея". Но не спят их отцы. Давние своеобразные отношения связывают Игната Можаява и Самуила Либерзона:

За изнасилованье дочерей,
за разбитый ящик вашего комода

я очень извиняюсь, товарищ еврей,

бывшая жидовская морда.

Либерзон настроен примиритель-но: "Допускаю возможность, что погром случайность... что вы по натуре - почти еврей". И вообще: "Извиниться перед евреем - значит, стать его лучшим другом".

В их репликах - обоюдные неловкость и смущение. Но в словах Либерзона еще к тому же слышится торжество. Ведь обстоятельства переменились, и тот, кто вчера был не прочь примкнуть к погромщикам, сегодня братается с шархатыми. Поэтому что видит: они нередко задают тон...

В двадцатые годы поэзия Светлова и явилась выражением надежд, страхов, рхностей, опасений того весьма тонкого слоя евреев, которые комиссарии на Руси.

У Светлова идея всегда насилует жизнь. Его знаменитый герой "хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам огдать". В Испании, однако, земельный вопрос давно решен без нашего участия. Самого же "мечтателя-хохла", останься он жив, скорее всего раскулачили бы. Тем не менее, "Гренада" манит своей туманной, но красивой мечтой! А вот в стихах Светлова о судьбах восточно-славянского еврейства мечта одинаково и несбыточна, и некрасива. После революции тысячи образованных русских, как и тех евреев, которые уже давно участвовали в устроении русского бытия, либо эмигрировали, либо лишились гражданских прав. Возник вакуум. И его не в последнюю очередь заполнили обитатели бывшей "черты оседлости", вдохновленные обретенным равноправием. Хлынув в города, они быстро приспособились к новой действительности. Наряду с той частью правящих кругов, которые были еврейского происхождения, они, подобно Либерзону, лелеяли надежду благоденствовать - а кто и лидерствовать! - в лоне советско-интернационального государства. Несомненно, какой-нибудь зав. учетным сектором по фамилии, предположим, Блейман или прославленный комдив Якир упивались самонадеянными светловскими строками:

Я ведь видел, как ты
пронеслась по России,
сбросив Бунина...

А теперь подо мною
влюбленно и пылко
ты качаешь боками,
твой огонь не погас...

Так вперед же, вперед,
дорогая кобылка,
дорогая лошадка - Пегас!

Впрочем, время поставило все на свое место. Через несколько лет национальный вопрос был объявлен решенным. Светлову ничего не оставалось, как стать певцом счастливой комсомольской юности. В качестве такового ему и воздвигнут памятник в Днепропетровске. На его родине.

История же России, равно как и русских евреев, сложилась иначе, чем это себе представляли автор "Гренады" и, вообще, люди двадцатых годов.

Пройдя через неслыханные испытания, через искусство тотального интернационализма, и русские, и евреи равно пришли к осознанию своих национальных начал. К этому в 1924 году призвала своих соплеменников группа еврейских общественных деятелей-эмигрантов, издавших сборник "Россия и евреи". Один из авторов, Д.Линский, писал: "Господь вернет нам отечество, Россию, родину и русских, и евреев. Но мы все должны, евреи и не евреи, основательно очиститься перед тем, как вернуться в отчий дом". Г.Ландау, Д.Шуб и другие призывали евреев помнить, что не они хозяева Земли Русской...

Смею утверждать, что подавляющее большинство российского еврейства - будь то иудеисты, агностики или весьма многочисленные в двадцатом веке евреи-христиане, то есть те, кто пришел к истине Нового Завета, - и впредь желают быть с Россией в беде и в радостях, стремясь к демократическому обновлению Отечества - земле предков.

В своей библиотеке я сначала книгу М.Светлова определил в раздел редкостей. Потом раздумал. И переставил на полку, где собраны книги курьезные.

Руслан КИРЕЕВ

НЕЧАЯННАЯ ТАЙНОПИСЬ "ОСОБЕННОЙ ПОВЕСТИ"

*"Часть приходит неистовое
желание превратиться в один нос".*

Н.В.Гоголь - М.П.Балабиной

В феврале 1835-ого года живущий на чердаке Гоголь ("выгнат из прежней квартиры по случаю переезда дома") сообщает в письме к М.П.Погодину: "... пишу для "М.н. особенную повесть".

"М.н." - это журнал "Московский наблюдатель", а "особенная повесть" - не что иное, как будущий "Нос".

Помню, как поразил меня этот эпитет - "особенный"; поразил своей точностью, ибо у Гоголя вещь эта стоит особняком, что автор, выходит, понимал с самого начала. Но я ошибся. Слово "особенный", столь уместное в определении самого загадочного, самого экстравагантного, самого автобиографического (я попытаюсь доказать это) произведения Гоголя, употреблено им, оказывается, не в нынешнем значении, когда оно синоним непохожести на другое, необычности (именно этот смысл современные словари выдвигают на первый план), а как - цитирую Даля - "отдельный, опричный, невместный, не общий". Ныне это толкование дается с пометкой "устар." - у Даля же оно идет как главное, что полностью соответствует контексту гоголевского письма: "Из "Вечеров" ничего не могу дать, потому что "Вечера" на днях выйдут. Но я пишу для "М.н." особенную повесть".

Отдельную, стало быть. Не в цикле "Вечеров на хуторе..." Опричь "Вечеров..." Но постепенно словечко это обрело новый, теперь уже современный смысл.

"Нос" и впрямь повесть особенная, как, впрочем, и судьба ее. Если не ошибаюсь, это единственная гоголевская вещь, которую не хотели печатать, и причиной тому была отнюдь не цензура, хотя цензура и показала коготки, а соображения эстетического характера. Так, "Московский наблюдатель", свидетельствует Белинский, "отказался принять в себя повесть Гоголя "Нос" по причине ее пошлости и трививальности".

Ну, ладно, пошлость, тут, в конце концов, дело вкуса, но трививальность? Это о самой-то дерзкой, самой безудержной фантазмагории, герой которой то раскатывает по Петербургу, то пребывает в свежеспеченном хлебе, то бежит, обзаведшись паспортом, в Ригу, то, пережавленный бдительным полицейским, водворяется в носовой платок, дабы быть возвращенным хозяину. Этакое не снилось даже Кафке.

Почему же, в таком случае, трививальность? А потому, оказывается, что тема носа широко варьировалась в тогдашней литературе. Но все это была, в основном, шуточная апология носа ("Похвала носу" Цюокке, "Панегирик носу" Карлгофа) - мотив, впоследствии блистательно увенчанный знаменитым монологом ростановского Сирапо де Бержерака, тема же отделения носа, его суверенизации, как сказали бы мы теперь, если где и присутствовала, то разве что у самого Гоголя. Вспомните спену из "Невского проспекта". "Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа", - в раздумии, выполнить ли требование приятеля: "Я не хочу носа! режь мне нос!" Собственно, эпизод этот не что иное, как зачин, пролог, сюжетная завязка "особенной повести", первые черновые наброски которой были сделаны в так называемой аксаковской тетради как раз в это время.

Другое дело - тема разделения человека на две самостоятельные и при том антагонистические личнос-

ти (а ведь именно это происходит с майором Ковалевым), то есть тема двойничества. Тут уж Гоголь, надо признать, первооткрывателем не является. Таковым в русской литературе принято считать А.Погорельского, выпустившего в 1828 году сборник "Двойник, или Мои вечера в Малороссии". Но вот что пишет десятилетиями раньше другой русский литератор, судьба которого в некотором роде сходна с судьбой Гоголя: "В нем два человека: один - добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил... другой человек - злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, упрямый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, испостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия... Оба человека живут в одном теле. Как это? Каким странным образом здесь два составляет одно?.."

Это - Константин Батюшков. И хотя приведенные строки опубликованы через тридцать лет после смерти поэта, именно Батюшкова, по справедливости, следует признать автором первого в российской словесности портрета (автопортрета) двойника. То был не литературный эксперимент, не художественный изыск, а хирургическое, причем без наркоза, исследование собственной души, завершившееся бесстрашным диагнозом, который, увы, подтвердился. И диагноз, и прогноз, причем прогноз дальний. "Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума".

Гнедич, в письме к которому обронены эти слова, вряд ли придал им значение. Да и кто бы придал, замороженный классически ясной формой элегий и посланий genialного юноши! А между тем, в них различимы первые тревожные всполохи будущей катастрофы. Так, в элегии "Гезиод и Омир, соперники", которая является вольным переложением французского поэта Мильвуа и которую так высоко оценил Гоголь в своей не изданной при

жизни "Учебной книги словесности для русского юношества", есть стих прямо-таки пророческий: "Ты роком обречен в печалью кончить дни". А в примечании к элегии Батюшков прямо заявляет: "Нам Музы дорого таланты продают!" Дорого!

Говоря о сходстве Батюшкова и Гоголя, я имею в виду не медицинский аспект, а психологический и - отчасти - творческий, вплоть до совпадения частностей. Уже в первом дошедшем до нас стихотворении Батюшкова "Мечта" значительное место занимают итальянские - точнее, римские - мотивы; с того же начинается и Гоголь, первой (правда, безымянной) публикацией которого было стихотворение "Италия", увидевшее свет в мартовском, за 1829-ый год, номере "Сына отечества".

Но это, возможно, и впрямь совпадение. Куда существовней в данном случае как раз **несовпадение**, но уже ни одного писателя с другим, а странное, тревожное, достаточно редкое в литературе несоответствие того, что писалось ими "на публику", и того, что для публики не предназначалось.

О Батюшкове я уже сказал. Между стихами его и записями частного характера мало что общего. Кажется, писали их разные люди. Но ведь у Гоголя то же самое! Сравните его письма, даже самые ранние, времен Нежина или первого петербургского года, когда уже создавались "Вечера..." с самими "Вечерами...", и вы увидите колоссальную разницу. Будто - повторюсь - писали их разные люди.

Ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у Чехова ничего подобного нет. В письмах молодого Толстого - я уж не говорю о дневниках - вы легко узнаете автора "Детства" и "Севастопольских рассказов"; взвинченные торопливые послания Достоевского как бы выхвачены из его прозы, а сдержанная ирония беллетриста Чехова освещает всю его переписку. Но, читая серьезные, чинные, подчас высокопарные эпистолы Гоголя, можно ли вообразить, что из-под

пера этого зануды вышли "Ночь перед Рождеством" или "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"! Только раз в письме восемнадцатилетнего Гоголя мелькает лукавая физиономия будущего автора "Мертвых душ". "Баранов, - информирует Гоголь товарища по нежинской гимназии Г.Высоцкого, - находится в собственном благоприобретенном и родовом своем поместье; пресосторожно, прехитро, прейнтересно ловит мух, сажает в баночку, обшивая полотном, запечатывает фамильным потомственным гербом и рассматривает при лунном свете". Точно солнышко выглянуло на миг, бросило чудесный луч, осветив картинку выпуклости и яркости необыкновенной, и спряталось обратно. Но это один Гоголь - Гоголь "Ганца Кюхельгартена", ученых статей и "Избранных мест из переписки с друзьями", - другой же тем временем строчил такое, от чего первый моргал в изумлении глазами. "Я, признаюсь, не могу постичь, как я мог написать это".

Сей игривый пассаж отсутствует в окончательном тексте "Носа", но в первом варианте он был. А еще в первом варианте благосклонного читателя уверяли, будто "все это, что ни описано здесь, виделось майору во сне".

Не во сне... К тому же, превращение человека в нос, с последующим его отделением, произошло не вдруг, а исподволь подготавливалось за пределами повести, и процесс этот, его начальная, во всяком случае, стадия, зафиксирована. "Лоб не опускался прямо к носу, но был совершенно покат, как ледяная гора для катанья. Нос был продолжение его - велик и туп. Губы, только верхняя выдвинулась далее. Подбородка совсем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. Это был треугольник, вершина которого находилась в носе..." Так заканчивается один из набросков незавершенной "Страшной руки", и сама медленность, сама постепенность превращения отра-

жаст медленность, постепенность раздвоения.

Когда началось оно? По-видимому, еще в нежинской гимназии, из воспоминаний о которой встают два весьма разнящихся друг от друга Гоголя. Один - неопрятный, золотушный, с грязными ушами, из которых вечно текло что-то, грызущий постоянно медовые пряники, подозрительный, недалекый, замкнутый, - соученики избегали его и даже, утверждает один из них, старались не касаться книг, которые побывали у него в руках, - но это один Гоголь, а другой - живой, общительный, остроумный, наблюдательный и, главное, великодушный комедийный актер. Два штриха, однако, в этих столь не схожих портретах совпадают: феноменальная лень и абсолютная неспособность к наукам. Последнее, впрочем, не совсем подтверждается аттестатом, где лишь по греческому отсутствует отметка и лишь одно - по математике - "средственно", остальные же предметы сданы на "хорошо" и "очень хорошо", а естественная история и немецкий - "на превосходно". Отсюда следует, что нежинским мемуаристам не следует так уж доверять, тем более что свидетельства их, в большинстве своем, даже не записаны собственноручно, а дошли до нас в пересказе.

Но еще ведь дошли и письма самого Гоголя тех лет, и письма эти тоже рисуют двух разных людей. Один бодро сообщает маменьке, что "еще никогда не был в таком хорошем состоянии, как теперь: весел, радостен", другой хандрит и канючит. Где же истина? Видимо, в другом письме, позднем, написанном В.А. Жуковскому за четыре года до смерти и чуть ли не слово в слово повторенном в "Авторской исповеди": "... бывши в школе, чувствовал я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического". В том же письме Гоголь признается, уже не в первый, кстати говоря, раз,

что никогда не собирался "быть сатирическим писателем и смешить моих читателей". Не собирался, но стал и, с удивлением следя за тем, что творится водимое им перо, пожимал плечами: "... не могу постичь, как я мог написать это".

Что "Ганца Кюхельгартена" написал, пусть даже впоследствии и преданного огню, - постичь мог: именно "Ганц...", эта "идиллия в картинках", как определяет автор жанр своего сочинения, и должен был выйти из-под пера меланхолического юноши; что первой литературной работой чиновника 14-ого класса Гоголя-Яновского был перевод с французского статьи "О торговле русских в конце XVI и начале XVII века" удивительного тоже нет, поскольку собирался посвятить себя юстиции, а вот что вдруг полезли на бумагу фантастические фигуры и фантастические сюжеты, вовсе не малороссийских очертаний, явилось для их автора сюрпризом полным.

"... мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, - признается Гоголь в "Авторской исповеди", - хотя мне всегда казалось, что я сделаю человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная". Но, может, это позднейшее свидетельство - абберрация памяти? Может, Гоголь и тут фантазирует, принимая желаемое за действительное? Не скажите. Вот что пишет восемнадцатилетний гимназист своему двоюродному дяде П.П. Косяровскому: "Еще с самых времен прошлых, с самих лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужную для блага государства". Ну ладно, перед дядей, положим, рисовался, тем более, что тот поступал как раз на военную службу, что не могло не вызывать у молодого Гоголя особого уважения и особого доверия. Но вот - маменька, в письмах к которой просвечивает почти детская нежность и почти детская искрен-

ность. "Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству". Кто пишет это? Автор "Ганца Кюхельгартена" и "Тараса Бульбы", тоже "идиллии в картинах" ("история Украйны, - метко замечает Брюсрв, - только поддала повод Гоголю рисовать картины какой-то героической эпохи, мечтавшей ему"), - или автор "Ревизора"? Если угодно, и автор "Ревизора", но лишь финала его, когда "приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует... сей же час к себе" всех действующих лиц.

От том, как страстно грезил молодой Гоголь Петербургом, говорят письма Г.Высоцкому, восторженный, подчас экзальтированный тон которых дает основание заподозрить руку незабвенного Ганца. "Твое письмо блеснуло для меня звездой радости. Из стороны чуждой льдистого севера, но где так же, как и здесь, воображение греет нас (где уже осуществилась - в мечте - жизнь будущая для меня), мне казалось, я услышал родные звуки сердца..."

Подобно Ганцу, его создатель вырывается наконец из провинциальной глуши и - подобно опять-таки Ганцу, заскучавшему в Афинах, - быстро разочаровывается в столичной жизни. "Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее..." Романтический герой Гоголя выразился несколько выпендренной, но, по существу, сказал то же самое:

Пускай бы в мыслях обитали

Сии воздушные мечты!

- после чего "грустно, медленной стопой" возвращается восвояси.

Гоголь тоже возвращается, но не физически, а в малороссийских своих сочинениях. Но тут не только ностальгия, тут еще и утилитарный расчет. "Здесь так занимает всех все малороссийское... - И дальше, в другом письме: - Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статью для г. журналистов, и потому вы не сердитесь, моя великодушная мамень-

ка, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии или что-нибудь подобное. Это составляет мой хлеб". Впрочем, запрашивает новоиспеченный петербуржец не только сведения, но и нечто сугубо материальное: "древние монеты и редкости, какие отыщутся в наших местах, стародавние, старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики, а особливо стрелы... Сделайте милость, пришлите их. Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи".

Вельможа, о котором идет речь, - издатель "Отечественных записок" П.П.Свиньин, у которого в начале 30-го года Гоголь-прозаик дебютировал "Вечером накануне Ивана Купала" и на которого спустя полтора года набросал злой да еще обобщающий шарж в предисловии к книжному изданию повести: "... писакки они не писакки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц..." Так мечтательный и патетичный малороссийский парубок начал как-то неожиданно для себя превращаться в злоязычного сочинителя. "... я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня..." Не думал... Изумляло... Нет, патетический мечтатель, поклонник Италии и ярый государственный не растрворился в саркастичном авторе, целехонек остался, просто от него неведомым образом отделилось некое самоуправное существо и принялось, разгуливая по садам российской словесности, выкидывать такие коленца, что бедный владелец пера, подобно герою своему, бывшему владельцу носа, "не знал, как и подумать о таком странном происшествии". "Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева..."

Видите, тоже изумление... Что же касается ужаса, то, настанет час, он обует Гоголя, в смятении взирающего на сотворенные им (или отделившейся частицей его) диковинные образы. Для него они, обронит под конец жизни автор "Мертвых душ", так и остались загадкой, ибо заключали "в себе некоторую часть переходного состояния моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться".

Это слова из "Авторской исповеди", и они доказывают, что Гоголь лучше всех своих критиков, как современных ему, так и будущих, улавливал происходящее с ним. Хотя некоторые были весьма близки к истине. Так, разнося в пух и прах "Избранные места...", Белинский, заметьте, настаивает, что публике нет дела до того, как относится автор к своим сочинениям. Отржется? На здоровье, нам-то что! Будто это уже и не его, Гоголя, дитища...

Или и впрямь не его? Интуиция, как видим, не подвела гениального критика, хоть и с оговорками, но принявшего - и это уместно вспомнить здесь - "Двойника" Достоевского, но цельная, высеченная из единого куска натура неистового Виссариона не соглашалась признать, что существует два Гоголя, причем тот, который ему столь не по душе, и есть Гоголь подлинный.

Зато Розанову, в отличие от Белинского, этот подлинный Гоголь был очень даже близок, вот только написанные им, подлинным Гоголем, куски, в которых и "скорбь художника", и "великая жалость к человеку, так изображенному" (обратите внимание на это безличное, на это отстраненное "так изображенному" - будто он, номинальный автор, ни при чем здесь), - вот только изумительные куски эти, по мнению Розанова, появились *вставкою* в окончательный текст, то есть когда собственно *рисующая* работа была уже окончена". (Курсив Розанова). Надежный безусловным художественным чутьем Гоголь отдает должное

этой "рисующей работе", как отдает должное аристократизму сбежавшего, отделившегося носа несчастный майор, но он же "ее презирает, ненавидит". Как опять-таки презирает и ненавидит Ковалев великолепного самозванца. А еще, добавим мы, побаивается и завидует. Нос-то и чином повыше его, и побогаче, а уж об известности и говорить нечего: все вокруг только и судачат о носе майора Ковалева, в то время как до самого майора со всеми его страданиями нет никому дела. Словом, нос оказался счастливей своего хозяина - точь-в-точь, как имя Гоголя оказалось счастливее его носителя. Что он, помним мы, и предсказывал.

Сбывается и другое гоголевское пророчество, закодированное, разумеется, бессознательно в "особенной повести": мы начинаем мало-помалу различать истинное лицо великого трагического писателя - именно лицо, а не одну лишь часть его, пусть даже и самую заметную. Повесть-то чем заканчивается? А тем, что нос "очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте".

С. В. Глушков

Первые чеховские чтения на тверской земле

Тверской край до недавнего времени оставался белым пятном на карте чеховской России. Конечно, исследователям, да и большинству поклонников Чехова было хорошо известно, что Чехов несколько раз приезжал в Тверскую губернию, навещая своих друзей - прежде всего И.И. Левитана и А. С. Суворина, что тверской уроженкой была "несравненная Лика", многие из своих писем Чехову писавшая из этих мест. Покойный Ю. К. Авдеев еще двадцать лет назад пришел к выводу, что главное в "Чайке" родилось именно во время поездки Чехова к Левитану на озеро Островное, под Удомлей, летом 1895 года. И все же Тверь как-то мало обращала на себя внимание чеховедов, привычно тяготевших к Таганрогу, Ялте, Мелихову. Заявили о себе в последнее время Сумы, Калуга торжественно отметила столетие пребывания Чехова в Богимово, а вот Тверь о себе не напоминала.

Однако в самой Твери интерес к Чехову заметно вырос. В Тверском университете это выразилось в появлении целого ряда посвященных Чехову исследований местных ученых. С другой стороны, вырос и интерес к Тверскому краю у чеховедов из других мест: так родилась идея Чеховских чтений в Твери. По замыслу организаторов, первые чтения должны явиться прелюдией к столетнему юбилею пребывания Чехова в Тверской губернии, приходящемуся на 1995 год. Если связать эту дату с созданием "Чайки", то одновременно может быть отмечено и столетие современной драматургии, берущей свое начало, по общему мнению, от этой чеховской пьесы.

Открылась конференция в Твери докладом А. П. Чудакова, посвященным научно-религиозному мен-

талитету Чехова, а завершилась весьма интересным выступлением А. С. Мелковой - единственным чисто "тверским", посвященным многочисленным связям Чехова с Тверской губернией и тверитянами. Как ни парадоксально, но пять выступлений тверских ученых были гораздо дальше от "тверской" тематики, что подчеркивает достаточно широкий характер чтений, которые в будущем могут стать традиционными. Выступления чеховедов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Екатеринбурга касались поэтики, литературных связей, особенностей драматургии и других проблем, связанных с творчеством А. П. Чехова.

Остается добавить, что внимание к Чехову в Твери проявляют не только филологи. Тверские краеведы, сотрудники музеев и библиотек, тверские театры (включая Тверской драматический, известный далеко за пределами области постановками именно чеховских пьес) вместе с Комитетом по делам культуры администрации Тверской области готовятся достойно отметить памятную дату.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ АЛЬМАНАХА!

Редакция литературного альманаха Межрегионального Чеховского общества, выходящего четыре раза в год, объявляет подписку на альманах в 1993-1994 году.

Для оформления подписки Вам необходимо направить письмо, написанное в произвольной форме, по адресу: Российская Федерация, 121069, Москва, улица Герцена, дом 50/5, комната 44, редакция альманаха "Дядя Ваня". Тел: 2919713.

В письме необходимо указать Ваш точный почтовый адрес для пересылки Вам альманаха по почте наложенным платежом.

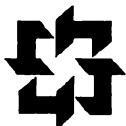
Редакция альманаха продолжит в 1993-1994 годах публикацию произведений известных писателей и молодых авторов, посвященных теме подвижничества - уникального проявления русского национального характера, позволившего сохранить нашу национальную самобытность и культуру на протяжении столетий. Альманах остается единственным в мире изданием, публикующим списки адресов отечественных и зарубежных ученых-исследователей творчества А.П.Чехова, аннотации их работ, сведения о новых публикациях о А.П.Чехове, новых постановках его пьес.

Ориентировочная цена одного номера альманаха для рублевой зоны в 1993-94 годах - 750 рублей, включая НДС, без учета дополнительных расходов на почтовую пересылку.

Цена одного номера для иностранных подписчиков - 7 американских долларов, включая стоимость почтовых расходов.

Получив Ваше письмо-заказ с просьбой о подписке на альманах редакция сообщит Вам номера банковских реквизитов для взаимных расчетов.

Международный акционерный коммерческий
"ЧАСПРОМБАНК"
ПРИГЛАШАЕТ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ



ChasPromBank

ОТКРЫВАЕМ рублевые и валютные счета
юридическим и физическим лицам.

ПРИНИМАЕМ:

рублевые вклады - срочные на 3, 6, 9 и
12 месяцев с выплатой
дохода до 220%
годовых;
- текущие - 60%
годовых;

ПРОДАЕМ акции по цене 50 тысяч рублей
или 100 долларов США. Дивиденд
начисляется ежеквартально - в среднем
150 и 12% годовых, соответственно.

Москва, Часовая ул., 24/1;
Тел. (095) 151-70-84



К читателям!

Следуя традициям российского предпринимательства, рожденным в знаменательную эпоху расцвета великой русской литературы, ставшей духовной колыбелью поколения Мамонтовых, Морозовых, Бахрушиных, Третьяковых, концерн **"Гермес"** направляет свои усилия на достижение высокой и благородной цели экономического обустройства и духовного возрождения России.

Наряду с инвестированием нефтяной промышленности, **"Гермес"** вкладывает средства в осуществление культурных, социальных и благотворительных программ, придерживаясь убеждения, что только в процветающей России будут достойно жить ее граждане. Такой истинно российский стиль концерна **"Гермес"**, связывающий воедино бизнес и духовные ценности, обеспечивает сохранение и приумножение вложенных в

нефть сбережений, обуславливает улучшение окружающей нас действительности, возрождая экономически сильную и духовно процветающую Россию.

***В.Неверов,**
председатель Совета директоров
концерна "ГЕРМЕС"*

Справки по телефонам: **242-99-07, 242-99-08.**

Заключение контрактов, операций с приватизационными чеками, продажа акций в Московском **НТЦ "ГЕРМЕС"** по адресу:

Москва, ул. Каланчевская, 2/1 (проезд до ст. метро "Красные ворота", в здании Информационного центра) **262-79-48, 262-88-21.**

“Дядя Ваня” – литературный альманах Чеховского общества

Первый номер альманаха “Дядя Ваня” вышел в 1991 году и сразу привлек внимание читательской публики и серьезной критики - на появление этого нового издания откликнулись практически все крупные газеты, первая программа радио и телевидение. Их внимание привлекла тематическая направленность альманаха: русское подвижничество, не утасаживающее ни в прошлые ни в теперешние смутные времена. Подвижников - людей, старающихся не для себя, а для Отечества, в России много, но мы о них мало знаем.

О них-то и рассказывают авторы альманаха: Юрий Аракчеев, Юрий Нагибин, Вячеслав Кондратьев, Владимир Максимов, Вячеслав Пальман, Надир Сафиев, Иван Твардовский, Георгий Вирен, Василий Литвинов, выступающие под постоянными рубриками: “Очарованные странники”, “Повести временных лет”, “В поисках украденной жизни”, “Вокруг Чехова”, “Горечь былого”. Вышло в свет 6 номеров альманаха.

Принципиальной для альманаха является чеховская тема, связанная с этим великим гражданином и художником слова, во многом еще неизвестном читателям из-за хрестоматийного глянца, наведенного на этого замечательного человека и писателя официальными “чеховедами”.

Основной целью работы Чеховского общества, издающего альманах “Дядя Ваня”, является возвращение читателю подлинного Чехова, возрождение России и оказание помощи чеховским музеям, переживающим сегодня не лучшие времена.

Альманах “Дядя Ваня” и Чеховское общество нуждаются в помощи Правительства, общественных организаций, коммерческих структур и добровольных помощников-энтузиастов, готовых донести альманах до каждой семьи, до каждого дома, до каждого читателя.

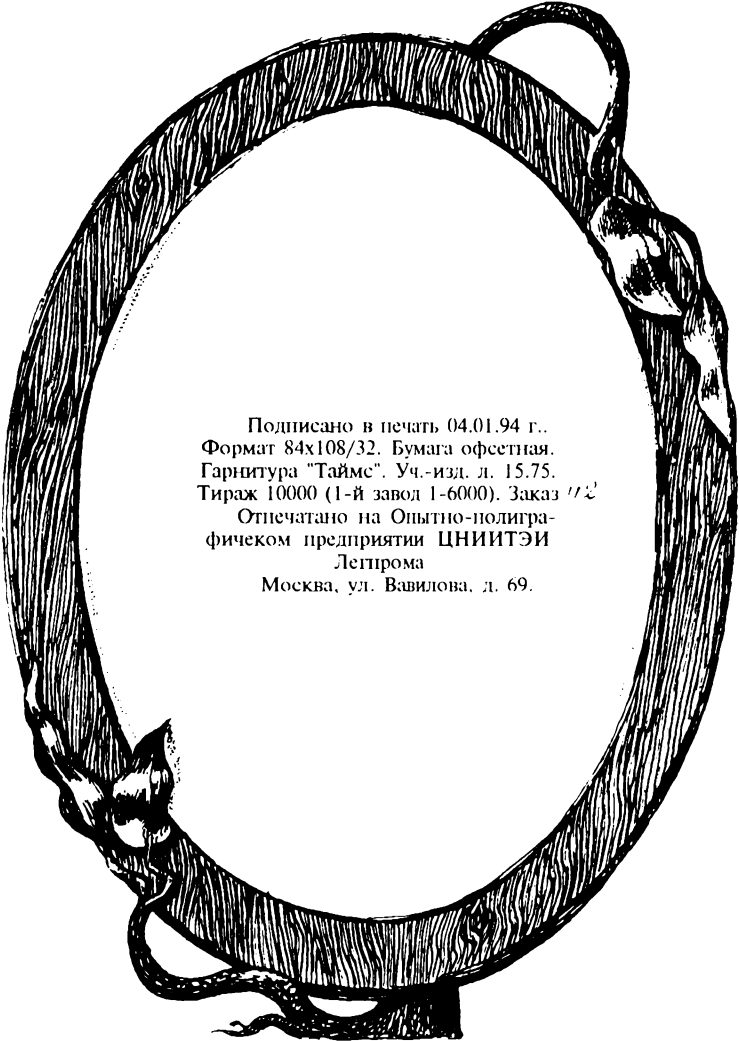
Вступая в члены Общества, вы становитесь участниками его благотворительных и просветительских программ, направленных на возрождение России.

По всем вопросам подписки на альманах и вступления в Чеховское общество обращайтесь по адресу и звоните по телефону:

**121069, Россия, Москва, улица Герцена, дом 50/5, комната 44.
Телефон Дирекции Чеховского общества: (095) 291-97-13.**

Редакция литературного альманаха Чеховского общества “Дядя Ваня” и его многочисленные читатели благодарят за помощь и поддержку в издании альманаха:

- Министерство печати и информации Российской Федерации;
- Руководителей финансовой группы “МОСТ” Владимира Александровича Гусинского и Сергея Александровича Зверева;
- Председателя МКБ “ЧАСПРОМ-БАНК” Марка Борисовича Подноса
- Управляющую Хорошевским отделением Мосбизнесбанка в г. Москве Тамару Ильиничну Волкову.



Подписано в печать 04.01.94 г.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура "Таймс". Уч.-изд. л. 15.75.
Тираж 10000 (1-й завод 1-6000). Заказ 112
Отпечатано на Опытно-полиграфическом предприятии ЦНИИТЭИ
Легпрома
Москва, ул. Вавилова, д. 69.

ДЯДЯ ВАНЯ

Этот номер альманаха посвящен 90-летию со дня смерти А.П. Чехова и 100-летию первой постановки его пьесы "Вишневый сад".

Блестящим образцом русской прозы является рассказ **Ю. Красавина** "Хуторок"

Интерес читателя вызовут последняя повесть совсем недавно ушедшего из жизни замечательного писателя **В. Кондратьева** "Покушение", новая рубрика альманаха "Заметки о российской словесности", содержащая эссе **Г.Шурмака** "Образ еврея в русской литературе".

С материалами, посвященными жизни и творчеству А.П. Чехова в альманахе выступают **И.Бражников, А.Турков, М.Роговская, Л.Хейфец, С.Ивашкин, Ю.Скобелев, А. Шевляков**

This issue is devoted to 90th anniversary since A.P. Chekhov's death and to the centenary of the first performance of his play "Cherry Orchard".

Short story "**Khutorok**" (Farm-stead) by **Y.Krasavin** is a brilliant example of Russian prose.

"**Assisination Attempt**", the last story by recently deceased remarkable author **V.Kondratyev**, and a new heading "Notes on Russian Literature", which contains an essay by **G.Shurmack** "Image of Jew in Russian Literature" will also be of great interest to the readers.

The issue also includes articles presented by **I.Brazhnikov, A.Turkov, M.Rogovskaya, L.Kheyfets, S.Ivashkin, Y.Skobelev, A.Shevlyakov** on A.P.Chekhov's life and literary work.